

К 1290425

ec

Валерий Есипов

**Провинциальные споры
в конце XX века**



Вологда

Валерий Есипов

**Провинциальные споры
в конце XXвека**



**Вологда
«Грифон»**

ББК 83.3 (2 Рос - Рус)

Е 83

УДК 882



Есипов В.В. Провинциальные споры в конце XX века. - 240 стр.
Художник Д. Медведев.

Книга посвящена любимым предметам автора - русской истории и русской литературе в их взаимодействии. Рассматривая литературу как "поле битвы за сердца людей", автор анализирует произведения Ф. Достоевского, В. Шаламова, А. Солженицына и других писателей. Прослежена судьба забытого русского ученого, автора "Истории кабаков в России" И. Прыжова. Критическое исследование некоторых литературных мифов прошлого и настоящего соединено с размышлениями о сегодняшнем дне России, о жизни провинции.

ISBN 5-87913-020-7

© Издательство "Грифон", 1999

© Есипов В. В.

Сыну Виталию

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ (Вместо предисловия)

«Здесь человек лишь снится сам себе».

Ф. Тютчев

У каждого человека к определенному рубежу жизни накапливаются чемоданы разного старья, с которым жаль расставаться. Складывается все это куда-нибудь на чердак, до лучших (скорее, по-русски, худших!) времен - авось, пригодится, если не себе, так другим. Известный вологодский «чердачник», искатель старины по заброшенным домам Геннадий Петрович Белинский раскопал таким образом целые богатства. Не золото - его в паутине не прячут, а письма, рукописи, архивы безвестных людей с удивительными судьбами!

Сколь ни романтичен такой исход, мне бы не хотелось, чтобы мой собственный архив ждал той же участи. Особой ценности в нем, может быть, и нет, но кое-чем я дорожу и надеюсь, что кому-то оно, это кое-что, прилещет «маленькую пользу», как говорил один из героев Чехова.

Конечно, журналистика - сфера товаров скоропортящихся, «газета живет один день», а телевидение, где я сейчас работаю, и того меньше. Но мне и не приходило в голову копить тот поденный словесный хлам, который составляет одно из неизбежных зол нашей чернорабочей профессии. Другое дело - статьи, написанные по серьезным поводам и касающиеся любимых предметов - русской литературы и русской истории. Была готова вчера и книга, о которой речь впереди. Написано в итоге, оказывается, немало, хотя опубликовать в свое время удалось не все. И теперь, когда такая возможность появляется, надо сказать о смысле этих полуподпольных, мало кому известных штудий.

Когда-то, в пору «пробуждения самосознания» (проще говоря, в молодости) меня сильно испугали слова любимого и доньше Салтыкова-Щедрина: «О, провинция! Ты растлевашь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!» Жил я в местах, удивительно подходящих щедринскому Крутогорску - в Никольском районе нашей области, где тогда, в конце 60-х годов, все способствовало тому, чтобы спиться. Там еще не везде было электричество. Шлепая во мраке по неопишущей никольской грязи в японских броднях, заброшенных туда по тогдашнему бартеру (и прозванных в народе

презервативами за непрактичную тонкость резины), я не мог не оценить глубины мысли писателя, жившего сто лет назад: «Сон и водка - вот истинные друзья человечества». Естественно, дашь отдавалась и тому, и другому. Тем более, что работа в газете в те времена была невозможна без искусственного поддержания оптимизма. (Газета в этой глухомани называлась «Авангард», и когда-нибудь я напишу воспоминания под названием, которое напрашивается само собой - «Как я был авангардистом»).

Короче говоря, чтобы сохранить душевное здоровье, надо было вести какую-то другую жизнь. Благо, я стал студентом-заочником и два раза в год имел счастье переноситься самолетом в иной, блистающий мир и, смеясь обувью, шлепать не по грязи, а по Невскому проспекту. Ленинградский университет послал тогда имя Жданова, в городе правил Романов, по вольнодумцев здесь хватало, и, посещая театры-музеи, «Академкингу», отделы грампластинок и новейшие бары, я был искренне благодарен советской власти, партии и правительству за придуманную ими форму обучения трудящихся без отрыва от производства. Все свободное время в Никольске отпын я отдавал исключительно науке - и теории, и истории, и практике. А поскольку тему для дипломной работы я взял необычную, очень отвлеченную от текущего момента - «Проблема народного **пьянства** в русской публицистике 1860-1880-х годов» (на тему эту навело чтение не только Щедрина, но и Достоевского, Толстого, Глеба Успенского, Ивана Прыжова), то без погружения в жизнь «под говор пьяных мужичков» никак пельзя было обойтись. Именно наука, пусть и такая специфическая, была моим спасением. Как я понял позднее, прочтя Фрейдя, это был род сублимации - вытеснение порока посредством его постоянного внутреннего исследования.

Первая научная работа не принесла мне никаких лавров. Оппонентом при защите диплома выступал сухой, похожий на Сулова человек по фамилии Барабохин. По виду он был трезвенник и не мог прочувствовать глубины предмета. Между прочим, в дипломе была такая фраза: «Автор далек от актуализации каких-либо сторон материала столетней давности. Разумеется, пьянство в самодержавной России периода развития капитализма имело другие причины, нежели в нашей стране развитого социализма, вступившей в эпоху научно-технической революции». Может, это-то меня и подвело. Я рассчитывал защититься на «отлично», с блеском и рукоплесканиями, а получил только «хорошо», без всякого шума. Зато отметили мы диплом с моим научным руководителем, профессором и фронтовиком Николаем Петровичем Емельяновым вполне достойно: зашли в рюмочную на 1-й линии Васильевского и выпили по сто граммов. Он хотел протащить мою работу в какой-нибудь сборник, но это, видимо, оказалось слишком трудным. Даже не знаю, сохранился ли сейчас мой 100-страничный трактат - говорят, дипломные работы старых лет в университете периодически сжигают, а от второго экземпляра в моем архиве остались только разрозненные пожелтевшие листы...

Дальнейшие скитания по газетам, градам и весям проходили под тем же знаком раздвоения личности: дневная служба и вечерне-почные бдения. Это не пово в жизни - раньше, то есть в советское время, почти каждый уважающий

себя газетчик писал что-то «для души». Были примеры просто поразительные. Я всегда восхищался Игорем Александровичем Дедковым, жившим в Костроме: читая его великолепные статьи в московских журналах, невозможно было поверить, что он, лучший литературный критик России, служит в цитадели догматики и наущничества - в областной партийной газете. Когда мы встретились в 82-м году (напоминает о дате книжка, подаренная им), он сказал: «А что удивляться? После работы у меня остается еще 12 часов...» Вот человек, который на все 100 % опроверг Щедрина с его мыслью о том, что провинция «охлаждает порывы сердца!» Но умер Дедков слишком рано, и не в Костроме, а в Москве, куда все-таки переехал. И над этим печальным фактом стоит серьезно поразмышлять.

Двойную или «двойственную», как выражались в старину, жизнь вел и главный герой документальной книги, которую я тогда задумал, - Иван Гаврилович Прыжов, полузабытый русский ученый 19 века. Автор «Истории кабаков в России» всю жизнь до своего ареста и ссылки в Сибирь служил мелким чиновником, одновременно - и очень благоговейно - служа музею истории Клио. Я изначально, еще работая над дипломом, чувствовал в нем родственную душу... У меня есть его портрет, и когда спрашивают: «Кто это?», я обычно отвечаю: «Дальний родственник». Это почти правда, потому что, смею уверить, я положил на своего героя полжизни. Я знаю о нем все - и его слабости (в том числе, увы, к водке), и достоинства ученого. Знаю, как звали его жену и как звали его собаку. Недавно открыл после долгих поисков, что он был все-таки не маленького, а высокого роста и нескладен. Как Дон-Кихот. Тут еще один ключ к его характеру и ко всей истории, в которую он попал...

Истоки этой давней страсти - чисто гуманистические. Мне было просто жаль бедного, оклеветанного Прыжова. Пожалуй, никто из персонажей русской истории так не пострадал от повышенного внимания художественной литературы, как он, несчастный. Начиная с Достоевского (роман «Бесы») и кончая целой когортой современных беллетристов, - все поливали его грязью. Об этом читатель узнает в первых главах книги. Могу добавить, что эта работа мне многое дала, многому научила. Посчастливилось испытать вкус настоящего фанатичного архивокопания и встретиться с интереснейшими людьми. Я застал еще в живых старика Моисея Семёновича Альтмана, автора первой книжки о Прыжове - он жил в Питере на улице Пестеля и показывал мне свою уникальную картотку литературных прототипов; к другому легендарному старику - краеведу Евгению Дмитриевичу Петряеву я заехал как-то раз по пути из Сибири в Киров, он был врач по профессии, а по эрудиции стоял вровень с академиками, и теперь в его память проводятся научные чтения. Были регулярные сидения за чашем у вологодского профессора, мудреца и труженика Петра Андреевича Колесникова - вечная ему память! Спасибо московскому историку Льву Никитичу Пушкареву, который открыл сибирские рукописи Прыжова, считавшиеся утерянными (между прочим, открыл еще в 1950 -м - в год моего рождения), и благословил меня на эту книгу.

Судьба моего героя, маленького человека, с неизбежностью ввергла меня в мир Большой Истории. Ведь Прыжов был замешан в печальном деле, а

Нечасв - фигура знаковая, один из вдохновителей (истинных, доморощенных, не масонских!) нашего русского коммунизма, в том виде, в каком этот коммунизм у нас получился - со всеми миллионами «врагов народа» (любимое словечко Нечасева), с лагерями и ненавистью ко всему «буржуйскому». Вокруг личности Нечасева сломано уже много копий, выросли Мопбланы литературы, но главного, пожалуй, не сделано - не прослежена история мифа о нем. Я пытался в своей книге, насколько это возможно, раскрыть загадки этой темной истории, и буду рад, если таким образом внесу скромный вклад в научное освоение темы.

Вообще говоря, болезнь под названием **mania grandiosa**, столь же распространенная в провинции, как алкоголизм (следовало бы сказать: **mania grandiosa provincialus**), обошла меня стороной. Спасло, видимо, опять же увлечение наукой, давшее понимание относительности всего сущего. Тем не менее я был польщен, когда мне сказали, что одна из моих статей о нечасевщине была отмечена в журнале «Континент», имеющем выход в Европу. Но найти этот журнал не удалось - мы ведь живем в провинции, где, несмотря на появление Интернета, по-прежнему «от мысли до мысли шесть тысяч верст», как писал друг Пушкина П. Вяземский. Но вот Александр Исасвич Солженицын откликнулся на вышедший в Вологде очередной «Шаламовский сборник», к которому я причастен, и это утешает: значит, есть прогресс, и не зря коптим небо...

Кто-то из читателей этой книги может упрекнуть автора в непочтительности к авторитетам. Но область мысли и область знаний - к счастью, те единственные сферы, где нет места чинопочитанию, где не умирают, чихнув печаяшно на лысину высокопоставленной особы. Истина дороже! Поскольку в мире со времен Гутенберга мифы и утопии рождаются главным образом посредством печатного слова, с одной стороны, и легковерия, с другой, то скепсис по отношению к определенному рода литературе вполне понятен. В последнее время этот скепсис все чаще распространяется - не только у меня - и на некоторые признанные имена нашей отечественной словесности - особенно когда писатель в ущерб искусству становится проповедником-моралистом и начинаст, по бессмертному выражению Н. Гумилева, «пасти народы».

Не знаю, было ли известно это выражение Варламу Тихоновичу Шаламову, но он был в данном пункте еще более радикален. «Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои дела, ломает чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых ничего не понимает», - это из рассказа, действие которого происходит на Колыме, в лагере. Место для предъявления счета великой русской литературе самое подходящее, истинно «De profundis». Шаламов и в послелагерные годы не устал повторять: «Русские писатели-гуманисты второй половины 19 века несут на душе тяжкий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в 20 веке»... Ни у кого из тех, кто сидел за партой в советской школе и начинал свое приобщение к родной словесности с «Филлипка», с «Крестьянских детей», таких мыслей, естественно, никогда возникнуть не могло. «Даже Томас Манн называл русскую литературу святой!» - воскликнет образованный оппонент. А может все-таки стоит задуматься,

почему писатель-лагерник пришел к своей мрачной философии? И почему она так близка выводам других очень неглупых людей - Н. Бердяева, В. Розанова, И. Ильина и остальных, заговоривших о вине литературы (нажимая прежде всего на Л. Толстого) сразу после 1917-го?

Как закоренелый материалист не могу согласиться с тем, что сознание (литература) определяет бытие (социальную жизнь с ее катаклизмами). Исходя из того, что события 1917-го - это слишком сложный параллелограмм сил, я не склонен переоценивать влияние отдельных властителей дум на конкретные мозги. Тем не менее, когда советские литературоведы попытались выяснить, в чем же состоит главное национальное своеобразие русской литературы, они пришли к выводу, что это - антибуржуазность. И очень гордились своим открытием: раз тот же Щедрин был якобы против капитализма, Колупасевых и Разуваевых, значит он - за рабоче-крестьянскую власть! Так что в этом плане литературоведы от КПСС оказались вполне солидарны с ярыми реакционерами Бердяевым, Розановым, Ильиным и Шаламовым. (Будь напечатаны его мысли в советское время, он обязательно удостоился бы этого титула. Недаром один из бывших партийных философов недавно заявил, что Шаламов осуждал русскую литературу будто бы за ее «критическую направленность и демократизм». Но писатель имел в виду исключительно другое - см. одну из статей в разделе, посвященном Шаламову).

Мне оказался очень близок этот суровый, мощный писатель, которого стали печатать так оскорбительно поздно. В меру своих сил я принял участие в увековечении его памяти в Вологде, много писал о нем. Книгу? Для книги о таком человеке надо созреть. Насколько позволит бурнотекущая, суестьливая жизнь, буду «дозреть». Но главное - чтобы общество наше чаще читало и перечитывало Шаламова. Одна итальянская журналистка, побывавшая в его музее, сказала: «Если вы в России хотите, чтобы у вас все по-настоящему изменилось, вы должны относиться к Шаламову так, как относитесь к Пушкину» (она имела в виду, разумеется, не юбилейный год Пушкина).

В этих словах что-то есть, не правда ли? «Чтобы по-настоящему все изменилось»... «Все» - это значит и бытие, и сознание. Поскольку я специализируюсь больше на втором, то не могу не заметить, что в головах многих моих современников - истинная каша. Какой-то калейдоскоп из последних откровений кумиров ЦТ и бульварной прессы, прочитанных давно классиков марксизма и не дочитанных до конца богословов и мистиков. Вся российская история - в каких-нибудь хлестких постмодернистских строчках вроде коржавинских: «Какая сука разбудила Герцена!» Последнее, в силу устоявшихся интересов, задевает особенно. Я уважаю поэта Коржавина, но когда я увидел эти стихи на обложке программы одной местной демократической ячейки, члены которой не знают, что такое «Былое и думы», - мне сделалось плохо. (Это к вопросу о прегрешениях русской литературы перед народом).

Один современный француз в парижской газете «Либерасьон», которая до нас не доходит, но иногда пересказывается в «Независимой», огласил миру одну гениальную максиму, достойную Паскаля: «Будущее не может двинуться

вперед, пока в движении прошлое». У нас в России это прошлое, особенно 19-й и 20-й век, в отдельности и в своих взаимосвязях, - не просто в движении, а в хаосе, в броуновском движении! Очень много тут постарались, на мой умеренно либеральный взгляд, пламенные и непоколебимые борцы с коммунистической идеологией, вместе с водой (огненной, кровавой - тут споров быть не может), выплеснувшие и ребенка (в буквальном смысле: каждый ребенок, рождающийся на земле - это стихийный социалист, поскольку требует кушать и менять пеленки, то есть требует социальных гарантий). В связи с этим, наверно, понятно, почему я отдаю предпочтение, например, не Солженицыну, а Шаламову - он глубже понимал человеческую природу и не имел претензий ее исправлять.

«Человек оказался гораздо хуже, чем о нем думали русские гуманисты. Да и не только русские», - писал Шаламов. Может, с этого и пачать, чтобы «постоящему все изменилось»? Может, вместо планов очередного переустройства и обустройства России подумать прежде всего о человеке - таком, каков он есть, со всеми «почесываниями», как выражался другой писатель?

Да, чтобы дождаться перемен к лучшему, у нас надо жить долго. Особенно в провинции, где темп жизни - словно в реке Вологде в пору межени. Это и благо, и печаль. Я не разделяю мнения тех, кто видит в провинции - и только в ней - залог нашего выздоровления. В устах многочисленных столичных шуток, заглядывающих к нам на дедок-другой, это обыкновенное фарисейство. Конечно, я очень верю в то, что наши розовощекие, выросшие на молоке и свежем воздухе девушки (особенно те, что приезжают в Вологду из районов), нарожают со временем много таких же здоровеньких детей. Но что будет у этих детей в головах - вот вопрос. Тут, как говорится, много факторов, но на первый план я бы поставил культуру - не массовую, ширпотребную, а исключительно индивидуальную, желательную лучшей пробы. Человек, вкусивший такого изысканного, благоуханного плода, никогда не будет чувствовать себя одиноко ни в какой «дыре». Он будет видеть насквозь всех дилетантов и шарлатанов, которыми так обильны и провинция, и метрополия. Его не проведешь на мякине фальшивых денег и фальшивых идей. Познакомившись с великой русской литературой, он поймет, что герои Гоголя, Щедрина, Сухова-Кобылина, Чехова - не умерли, они ходят по улицам, ездят на иномарках и «москвичах», участвуют в митингах партий, движений или сидят дома, читая газеты: кто «Сегодня», а кто - «Завтра»...

Стоит ли с ними бороться? Так бороться, как уже было - не стоит. Мирно, спокойно, педантично - другое дело. С помощью знаний, интеллекта, чувства юмора и некоторого напряжения душевных сил, которое называется волей или характером.

Иногда от усталости, недовольства собой и объективной реальностью, которая так упорно сопротивляется прогрессу, может возникнуть отчаяние. Тогда лучше всего взять в руки лопату. Мир абсурден, но надо возделывать свою грядку! Вот, если хотите, главный закон жизни в местности, отдаленной от столиц сотнями километров.



ЖИТИЕ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА
(Из книги об Иване Гавриловиче Прыжове)

Предубеждение, по слову М. Булгакова, - «страшная вещь». Тем более если оно принадлежит к категории застарелых и грозит превратиться в вечное...

Размышляя над причинами живучести подобного рода предубеждений, автор натолкнулся однажды на поразительно глубокую (хотя отчасти и парадоксальную) мысль. Она принадлежит историку Н. Костомарову - современнику нашего героя, некоторым образом причастному к его судьбе. Мысль такова:

«Во всяком важном историческом событии надобно отличать две стороны: объективную и субъективную. Первая составляет действительность, тот вид, в котором событие происходило в свое время; вторая - тот вид, в котором событие запечатлелось в памяти потомства. И то и другое имеет значение исторической истины: нередко последнее важнее первого».

Как было и как запечатлелось в памяти потомства - две грани исторического сознания. Одну, если упрощать, представляют строгие научные факты, другую - легенды и предания. Все это очевидно: такова структура наших представлений о прошлом (да и настоящем) - всегда изрядно мифологизированных.

Но не парадокс ли: «И то и другое имеет значение исторической истины: нередко второе важнее первого»?

Не станем спорить со знаменитым историком, который сам энергично боролся против разного рода мифов, особенно официальных. Недаром его постоянный оппонент в науке, другой знаменитый историк С. Соловьев признавал эти суждения Костомарова «вполне верными». Тем более, что в конкретном случае, вокруг которого они полемизировали, речь шла о явлении особом - о народном предании, освященном веками.

То, с чем имеем дело мы, представляет собой феномен, рожденный цивилизацией, новым временем. Его можно назвать литературно-художественной мифологией. Литература пользуется огромным влиянием на умы, особенно в России, где доверие к ней всегда было безгранично. Скажу сразу: недобрую молву, которая сопутствовала и продолжает сопутствовать моему незадачливому герою, создали предвзятость и прихотливая фантазия многих писателей. Именно эта «субъективная» сторона давних событий запечатлелась прочнее всего в памяти поколений.

Имеет ли она основание претендовать на историческую истину? Не знаю. Моя задача - рассказать, опираясь на документы, **как было**.

Надо сказать, что основные главы этой книги были написаны к 1991-му году. Теперь мы живем в другую эпоху - пока непонятно какую, но другую, со своими достоинствами (маленькими) и бедами (большими). Переделывать что-либо «применительно к случаю» я не стал - возможно, поэтому мои подходы кому-то могут показаться старомодными. Единственное, о чем забочусь - чтобы это повествование было интересно читателю.

Здесь, в силу ограниченного объема, публикуются не все, а только ключевые главы книги. Те, кто знаком с творчеством Достоевского, сразу угадают источник ее названия и поймут, почему потревожена великая тень Федора Михайловича....

ПРИГОВОР

«Жертвы валяются здесь...»

Гете

Когда подсудимому дают сказать последнее слово, он не думает о суетном. Он думает о небе и звездах. О том, ради чего жил и страдал. В России - так повелось издавна - жили и страдали за идею...

«Что мнения мои о любви к народу, этому несчастному русскому народу, не пустые слова - доказательством тому вся моя прошедшая жизнь, вся моя деятельность...»

Эти слова, звучавшие как клятва, были произнесены летом 1871 года в душном, переполненном зале Санкт-Петербургской судебной палаты.

Говоривший - высокого роста худой человек в круглых очках с изможденным лицом и поседевшей бородой - стоял за барьером, отделявшим скамью подсудимых от зала.

Все, кто присутствовал на суде, еще с первого заседания - одни со злорадством, другие с недоумением, третьи с сочувствием - отметили резкую черту, отличающую его от остальных подсудимых. Он был намного старше всех их, в большинстве своем двадцатилетних студентов.

«Отставной коллежский секретарь Иван Гаврилов Прыжов, 42 лет», читали в эти дни в газетах по всей России. И тоже недоумевали: как мог он, пожилой уже - значит, многоопытный, остепенившийся - оказаться в компании каких-то мальчишек, к тому же стать соучастником злодейского убийства?

«Да он сам должен был остановить их, если человек порядочный!» - возмущались столичные и провинциальные обыватели. Кто хотел дойти до корня этой вопиющей безнравственности, жадно вчитывался в строки судебных отчетов «Правительственного вестника» и других газет, отыскивая подробности его жизни.

Узнавали: литератор, писал какие-то книжки о темных сторонах народного быта, вращался среди подонков общества. И вот дописался - до прокламаций, доворачался - до разбоя!

«Странная личность. Человек, славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного)», - подвел итог писатель, которого считали великим психологом и защитником униженных и оскорбленных.

Тут было не до психологии и сострадания. По горячим следам судебного процесса завершался роман. Автор не был на суде, не видел своих героев - романисту не пристало быть рабом действительности, - считал он всегда. И теперь не скрывал своих намерений: «Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Им нужна плеть, окончательная.»

В петербургской квартире по ночам долго горела свеча, освещая лихорадочный бег пера-плети...

Человек, стоявший за барьером в судебной палате, продолжал свое последнее слово. Оно было кратким. Прыжов давно уже обдумал все случившееся с ним. За эти полтора года в мучительном одиночестве Московской полицейской части, а затем Петропавловской крепости были страшные минуты. Постепенно все отстоялось, прояснилось. Повторял уже не раз и сановному следователю - сенатору Чемадурову, и судьям:

«Виноват только в том, что дал себя обмануть».

И теперь говорил прямо, с достоинством, не лукавя ни перед Фемидой, ни перед маташкой-историей:

- В моем прошедшем была разрушена почти вся моя будущность. Виною этому не я, а самые сложные обстоятельства, раскрыть которые, милостивые государи, не нам, а нашим потомкам.

И заключил он - по старой своей привычке цитировать любимое - а для всех неожиданно:

- Вы извините меня, почтенные судьи, если я позволю себе привести здесь слова величайшего германского поэта Гете, которые как будто прямо относятся к настоящему, крайне прискорбному для всех нас делу:

*Жертвы валяются здесь -
не телячьи, не бычьи,
но неслыханные жертвы -
человечьи...**

«Подсудимый рявкнул стихами», - оповестили лакейские «Московские ведомости».

Может, и в самом деле Прыжов произнес последние слова громче, чем обычно говорил. Он сильно заикался с детства, и всякая речь ему давалась с трудом. А эта - тем более.

Но «рявкнул» было цинизмом - оно задело, вошло в историю. «Только палач способен остановить человека сказать последнее в жизни, в физической или политической», - откликнулись недвусмысленно некрасовские «Отечественные записки».

Прыжов не читал о себе ни того, ни другого. Но он чувствовал, как с первого дня суда в публике, заполнившей зал до отказа, нарастает понимание. А оно было важнее, чем слезное сочувствие. Дамских истерик - когда молодому Алексею Кузнецову пришлось рассказывать подробности убийства в гроте, - больше не случилось. И разговор постепенно, как и верилось, переключался с этих мучительных подробностей на другое, самое важное - на причины, подтолкнувшие всех их к человеку с мандатом из-за границы, от Бакунина.

Адвокаты оказались молодцы, как на подбор.

Кто бы мог подумать, что князь Александр Урусов, этот эпикуреец и театрал, способен на столь смелую, дерзновенную речь? Заявил без обиняков:

«Возникновение тайных обществ, начиная с 1861 года, указывает на такое патологическое состояние страны, которое, по-видимому, не устранено, несмотря на самые энергические меры».

«Патологическое» - в самую точку. Прыжов писал о том же в «Исповеди», предназначенной для своего защитника К. Арсеньева: «Ненормальная жизнь влечет за собой ненормальные последствия... Страшно и скверно все, что принес этот Нечаев, но если так дело пойдет и дальше, то явится, пожалуй, что-нибудь еще пострашнее: молодые радикалы скоро перецеголяют Неронов. Так нельзя ли вместо того, чтобы только бить, отнестись, наконец, по-человечески?..»

Иван Гаврилович думал о том, что только бы дали малейшую возможность продолжать любимые книжные занятия. Жить хоть где, хоть в Иркутске или в Чердыни, но иметь условия писать. Познаний накопилось много. И замыслов полна

* "Коринфская невеста" на раннехристианский сюжет. Источник этой цитаты для Прыжова скорее всего - известная книга Герцена "С того берега", где стихи Гете о "жертвах человеческих" стояли эпиграфом к одной из глав ("Концы и начала").

голова. Довершить «Граждан на Руси», «Историю свободы» иначе - уже полдела. Никто об этом не писал - ни Карамзин, ни Соловьев, ни даже многоуважаемый Костомаров. Да и мудрено отыскать слово «гражданин» в анналах летописных. «Презренный раб бьет челом» - этого хоть отбавляй. Но были все же истинные граждане на Руси! Не все целовали руку царскую - ту, что на дыбу посылала, заставляла ноздри рвать и кнутами сечь. Высекут боярина, измордуют, а он окровавленными губами к той руке тянется, милости просит... Он, Прыжов, эту руку никогда не поцелует. Сознаться виноватым, когда преступники они, с первого до последнего шага они - ни за что!

В зале умолкли, дамы попрятали веера. Председатель суда Любимов, выйдя из совещательной комнаты, прошел к своему креслу и положил на красное сукно стола вербовую папку с приговором.

Прозвучало в полной тишине: «На основании... статей... Уложения о наказаниях... судебная палата определяет: подсудимого Прыжова лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы в крепостях на 12 лет, затем поселить в Сибири навсегда».

Прыжов побледнел и усмехнулся. Да это было ясно с самого начала: не суд, а скандал. Признали, значит, еще и уголовником. Да, если раскопали «тайное общество» - железная колесница сомнет всех без пощады, без разбора. Не он первый, не он и последний. История свободы продолжается...

Мелькнуло в зале лицо жены. По-бабы закрылась руками, уронила голову на колени. Видел ободряющие взгляды незнакомых людей при выходе. Конвойные торопили в крепость.

Что было потом? Удалось разыскать письмо жены Прыжова к Александру II, датированное второй половиной 1871 года. В формулировках чувствуется помощь адвоката, ибо Ольга Григорьевна никогда раньше не писала кассационных жалоб.

«Всемиловитый государь!

Муж мой, отставной коллежский секретарь Иван Прыжов, присужденный справедливым, но строгим приговором суда к тяжкому уголовному наказанию, не решается утруждать Ваше Императорское Величество всеподданнейшею просьбою об облегчении участи его, но я осмеливаюсь прибегнуть за него к милосердию Вашему, Августейший Монарх, в полном уповании, что нет такого преступника, которого оно не могло бы коснуться.

Жизнь, исполненная бедности, горя и лишений, преждевременно немощные физические силы моего мужа сделали его неспособным к тяжелой работе, ожидающей его на основании приговора суда.

Всемиловитый государь! Я призываю Вашу благость не на убийцу, не на заговорщика, и молю не о прощении моего мужа, но о замене для него уголовного наказания другим, сравнительно легчайшим. Я призываю благость Вашего Императорского Величества на человека, в силу несчастного стечения обстоятельств сделавшегося страдательным соучастником двух тяжких преступлений и молю о Всемиловитейшем разрешении ему окончить жизнь на поселении в Сибири и освобожденным от каторжной работы, не совместимой с его расстроеным здоровьем.

Вашему Императорскому Величеству

верноподданная Ольга Прыжова.»

Две вещи важны в этом письме. Во-первых, мы теперь знаем, что сам Прыжов не стал «утруждать» себя жалобой - и это в его характере; во-вторых, жена и Арсеньев подчеркивают: «страдательный соучастник», «в силу несчастного стечения обстоятельств». К этому мы еще не раз вернемся.

В большом мрачном тюремном зале осужденных заковали в кандалы. Сереньким осенним утром на Конной площади, по обычаю, состоялась гражданская казнь.

Со времени позорного разламывания шпаги над головой литератора Чернышевского столько народу на петербургских площадях, пожалуй, не собиралось.

«Государственных преступников» привезли в повозке привязанными к столбам, установленным на ней. Священник подходил к каждому с крестом. Молодые поцеловали крест, а Прыжов, как пишет свидетель, «махнул на него рукой и, подобравши цепи, первым взшел на эшафот». Когда кончилась нудная речь чиновника, читавшего приговор, они сошли с эшафота, и «целая толпа молодежи бросилась пожать им руку и затем бежала за каретой, кланяясь и махая шапками, пока, наконец, все не были оттиснуты крупами жандармских лошадей». 2

Потом была, в ожидании этапа, Виленская тюрьма, где Прыжову, как писал один очевидец, пришлось исполнять средневековое наказание для строптивых - рыть и закапывать яму. Рыть, закапывать и снова рыть. Весной 1872 года он с товарищами в большой партии каторжан - как повелось, и политических, и уголовных вместе - был отправлен в Сибирь.

Зимой гнать туда арестантов не рисковали - видимо, боялись, что слишком много перемрет в пути. До Нижнего Новгорода везли в вагонах по железной дороге, отстроенной недавно, оттуда до Перми по Волге и Каме - на больших баржах по пятсот человек в трюме, до Тюмени - на подводах, запряженных тройками, и дальше все на перекладных.

«Надо погодить, и всплывет наверх многое. Всплывут тюменские этапные инспекторы в палевых лайковых перчатках (1872), у которых массы арестантов гибли на баржах, как негры на негритянском корабле... всплывут инженеры, исправники и всякие чины, имевшие в своей власти арестантов, всплывут вещи, от которых у людей встанут волосы дыбом», - так вспоминал Прыжов свой этап в одной из сибирских рукописей. Будем считать это дополнением к «Архипелагу»...

В Иркутске въезжали по скованной морозами грязи. На последней подводе, в хвосте большого обоза, сидела вместе с другими немногими женами, следовавшими за мужьями, Ольга Григорьевна. Сопроцессник Прыжова А. Кузнецов вспоминал: «Прыжов смотрел прежде на свою жену свысока (она - малообразованный человек, но с золотым сердцем), теперь, видя, сколько бедствий перенесла из-за сибирских морозов это тепличное растение, начал ее боготворить. Приезжая на станцию, он высаживал жену из тряской телеги и осыпал поцелуями не только ее лицо, руки, но и ноги. Другим казалась приторной и смешной такая сентиментальность, но я видел только раскаяние». 3

В Иркутске, в знаменитой пересылке - Александровском центре - долго, почти целую зиму, ждали высочайших распоряжений. В феврале узнали - кого куда. Алексею Кузнецову с Николаевым выпал Нерчинск, рудники (туда же позже будет доставлен Петр Успенский), а Прыжову - Петровский Завод.

С товарищами попрощался: «Если хотел нас Нечаев спаять кровью, значит, спаяны навеки. Занимайтесь своим ремеслом и не падайте духом, коли живы останетесь. А я как-нибудь буду тянуть до могилы. Назад мне отсюда пути нет. Одно устает - места исторические. Идем по стопам благороднейших людей...»

Пятидесятиверстный зимник по байкальскому льду промчался быстро. Потом был Верхнеудинск - маленький заснеженный казачий городок, последний, куда доходил телеграф от столицы. Дальше связь старинная, фельдъегерская, дальше воистину: закон - тайга.

Через две сотни верст, когда измученные подъемом в таежный хребет лошади стали осаживать на задние ноги, чуя крутой спуск, ездовой показал плеткой вперед: «Вона дымит, родимый. Считаю, приехали».

Прыжов разглядел столбы дыма, поднимающиеся в голубое мартовское небо над сопками. Чугунолитейный завод, названный в честь Петра и основанный «благодарной» Екатериной, - это он знал. Далеко дотянулась державная десница, далеко доскакал всадник, попирающий ехидну. И подумал: в этой яме, глухой и угрюмой, одни ехидны, должно быть, и водятся.

Но когда подъехали ближе и показались серые ряды изб со ставнями и завалинками, каких нагледелся по всей Сибири, он стал напряженно смотреть вперед. Там, у подножия большой сопки - подсказали еще иркутские острожные старожилы - должно быть кладбище с белой часовней, а в часовне должна гореть лампада. В память святейшей женщины - Александры Муравьевой, жены декабриста. Если горит - добрый знак, сердцу облегченье. Если нет - не обессудь, хлебнешь горя сполна до конца дней.

Вечерние сумерки сползали с сопки. Белела часовня среди черных крестов на кладбище. Лампады не было видно.

Через девять лет, в 1881 году, Прыжов выйдет на поселение.

Но пожить спокойно вместе с женой в маленьком домике, снятом ею на берегу речки с бурятским названием Мыкырт, пришлось недолго. В 1883 году (или в 1884, точной даты установить не удалось) после тяжелой болезни Ольга Григорьевна умрет. Виной и непривычный климат, и нужда, и постоянный страх за мужа и за себя.

Она была украинка, урожденная Мартос. Это немного, что мы о ней знаем.

Знаем еще, что Прыжов называл ее в «Исповеди» «редкой женщиной, каких он не встречал в течение всей своей жизни». Можно попытаться представить их встречу в середине 1860-х годов в Москве: наверняка красивая, как могут быть красивы только украинки в молодости, и он, уже помятый жизнью, в единственном засаленном сюртуке для службы, без какого-либо прочного положения в обществе. Возможно, кто-то из друзей, зная об особой любви Ивана Гавриловича ко всему украинскому, познакомил их. Во всяком случае в той же тюремной «Исповеди» он писал, что «в последние годы ему явилась громадной поддержкой девушка, на которой он женился», что она «вместо неустроенной квартиры, где кроме книг почти ничего не было, устроила добрую хату, радостно вбивая гвоздики в стену...»

Звания она была простого, некоторые считали ее даже «совсем не развитой». Не будем отвергать это свидетельство, принадлежащее сестре известной Веры Засулич - Александре Успенской. Она, молодая, с ребенком-младенцем, тоже последовала в Сибирь за своим мужем Петром. В сердечном «развитии», верности и долге превосходство одной из этих женщин определить трудно...

В 1908 году, издавая «Исповедь» Прыжова, писательница Рахиль Хин замечала:

«Пока была жива его жена, одна из тех неведомых русских героинь, жизнь которых представляет сплошное самоотвержение, - Прыжов, несмотря на крайнюю нужду, еще кое-как держался. После ее смерти он окончательно пал духом, запил и умер».

«Окончательно пал духом» - значит, уже падал? Это не совсем верно. Точнее,

даже в корне неверно. Об этом еще придется говорить. Но характеристика жены глубоко соответствует истине - тут нельзя сомневаться. Недаром единственную книгу о Прыжове, изданную в 1932 году, литературовед М. Альтман посвятил Ольге Григорьевне Мартос - зная ее не более, чем мы...

О нем помнили и жалели его только немногие истинные друзья. Один из них, профессор Московского университета, первый в России ученый шекспировед Николай Ильич Стороженко считал, что в лице Прыжова «варварски загублена крупная научная сила». Он говорил это, передавая Р. Хин переписанную им «Исповедь» своего друга и письма из Петровского Завода. Сам находясь на пороге смерти, Стороженко умолял:

«Сделайте из этого роман, драму, что хотите, только не дайте моему бедному Прыжову пропасть бесследно...»

Следы остались. Есть и романы, и статьи.

Но обо всем по порядку.

Еще в 1920-е годы, когда открылись архивы III отделения, и ученые Советской республики с жадностью бросились на изучение истории освободительного движения (до истории ВКП(б) тогда еще не дошло), имя Прыжова довольно часто мелькало на страницах «Былого», «Каторги и ссылки», «Красного архива», других журналов и сборников тех лет.

Чаще всего - в связи с участием Прыжова в нечаевском деле. Эта сторона его биографии много освещалась в статьях и публикациях Б. Козьмина - историка честного и строгого, хотя и испытывавшего всю жизнь давление новой идеологической инквизиции. Пожалуй, Козьмин был единственным, кто знал полную правду о Нечаеве. Но ему все время затыкали рот.

Поднималось на свет и полузабытое литературное наследие «нечаевца» Прыжова, его публицистика, исторические и этнографические работы. Итогом этого стала книга «И. Г. Прыжов. Очерки, статьи, письма», изданная в 1934 году издательством «Academia» (в котором подвизался опальный тогда Л. Б. Каменев) с предисловием и комментарием М. Альтмана. Эта книга и сегодня остается самым полным «собранием сочинений» ученого-разночинца. В ней частично опубликованы материалы следствия и суда, но выводы комментатора, увы, слишком подчинены схеме, пронизаны восхвалением Нечаева в духе «классового подхода».

Считалось, что другие работы Прыжова безвозвратно утеряны. Исключение - книги «История кабаков в России», «Нищие на святой Руси», «Житие Ивана Яковлевича», издававшиеся в 1860-е годы, имевшие скандальную известность, но ставшие библиографической редкостью.

После Отечественной войны, участвуя в разборе архивов, вернувшихся из эвакуации в Москву, молодой ученый Лев Пушкарев обнаружил толстую пачку рукописей с надписью «Фонд Благовещенского». Это было открытие - неизвестные работы Прыжова, которые он писал в Сибири под псевдонимом. Но они были мало кому нужны, хотя в них шла речь о декабристах, которые всегда были в почете. Эта тема была в те годы монополизирована «железной леди» советской историографии, академиком М. Нечкиной и, вероятно, ей и ее ученикам не могло понравиться, что сообщает Прыжов о личной жизни декабристов и их жен.

Когда мы встретились со Львом Никитичем Пушкаревым в 1983 году, он был уже сед, как лунь. Он работал в институте истории Академии наук и занимался в основном своим любимым XVII веком - веком Аввакума и Юрия Крижанича. Но о Прыжове

он не забывал никогда, сделал несколько ценных публикаций, в том числе издал малым тиражом ту самую работу о декабристах.

- Больше никто ко мне с Прыжовым не обращался, - сказал он. - Так что примите эстафету, молодой человек.

В самом деле никто нашим героем серьезно, то есть научно и **лирично**, больше не занимался. Правда, Василий Григорьевич Базанов, один из последних крупных филологов старой школы, член-корреспондент Академии наук, посвятил ему главу в своей книге «Русские революционные демократы и народознание» (Л., 1974). Спасибо Базанову за термин «народознание» - очень это необходимая отрасль науки, пожалуй, главная для России. Но с Прыжовым он много напутал, назвал его по инерции «нечаевцем», хотя и с «народническим уклоном».

Может показаться, что все это не столь уж важно и интересно. Ведь речь в конце концов идет о деятеле не самого крупного масштаба. Но, полагаю, уточнение этого и других вопросов имеет принципиальное, я бы даже сказал - фундаментальное значение. Почему?

Иван Гаврилович Прыжов был необычайно яркой и характерной фигурой своего времени - знаменитых «шестидесятых годов» XIX века, когда, по зацитированному выражению Толстого, в России «все переверотилось». Именно в этой эпохе - истоки и корни будущей трагедии огромной страны, дважды в течение одного XX столетия менявшей свой курс на прямо противоположный и удивившей тем весь мир. О том, почему **так**, а не по-другому сложилась наша история, до сих пор идут споры, и не только провинциальные или российские, но и мировые. И следуя за судьбой нашего героя, мы, мне кажется, сможем хоть чуть-чуть обновить или освежить аргументацию в этих спорах, приблизиться, пусть на миллиметр, к недостижимой никогда истине.

И здесь пора перейти к роману, который своим библейским и земным пафосом, своим пугающим, понятным на всех языках названием («Бесы» по-английски «Demons», т. е. демоны, дьяволы, злые духи, искусители, черти - все одно и то же) продолжает будоражить умы на разных континентах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 РГАЛИ, ф. 128, оп. 5, ед. хр. 29. Копия, снятая рукой Н. И. Стороженко.

2 Воспоминания И. Деникера. Каторга и ссылка. 1924. № 4 (II).

3 Сб. Памяти А. К. Кузнецова. Чита. 1929. С.13.

4 Хин Р. Исповедь Прыжова. Минувшие годы. 1908. № 2.



ЗАКРУЖИЛИСЬ «БЕСЫ»...

*«С одной стороны, являются лица, полные жизни и правды,
с другой - какие-то загадочные марионетки,
сделанные руками, дрожащими от гнева».*

Щедрин

От Вологды до Москвы - рукой подать, ночь в поезде, но в последние годы мне редко удавалось вырваться в столицу. Что же больше всего поразило, когда я, наконец, не спеша после большого перерыва прошелся по знакомым и дорогим местам?

Памятник Достоевскому над гранитной лестницей Российской государственной библиотеки! Вот где не ожидал его увидеть! «А в общем-то неплохо придумано, - был первый импульс. - Есть глубокая символика». Не в том дело, что Достоевский вытеснил Ленина - бывшая «Ленинка» еще долго будет называться таковой, да и служила она скорее инакомыслию - я сам впервые прочел здесь многое недоступное. А в том дело, что воздано, наконец, великому писателю, который как никто олицетворяет читающую Россию с ее вечными «русскими мальчишками», так жаждущими постичь конечные цели человечества...

Правда, смутило в памятнике куполообразное высоколобие Достоевского - гипертрофированное, как у даунов: никак не могут наши скульпторы соблюсти чувство меры. Сразу вспомнились некоторые памятники Ленину. Впрочем, нынешний «достоевскоцентризм» в мыслях, в головах людей тоже отчасти гипертрофирован, так что скульптор, может быть, и реалист.

Из всех памятников Достоевскому мне больше нравится меркуровский, на Божедомке, где родился писатель. Впервые я добрался сюда в 1981 году, когда выпал случай жить в Москве целый месяц. Видно, что Сергей Меркуров любил Достоевского, но не был им придавлен: памятник просто красив. Он принадлежит искусству, а не идеологии. Мне это всегда ближе.

Тогда, весной 1981-го, у меня трагически сорвалась одна важная встреча - с Юрием Валентиновичем Трифоновым. Писатель, которым я зачитывался, дал согласие на интервью знакомому мне журналисту, и я немедленно «примкнул» к нему. Уже был назначен день, но в последний момент нам сообщили: Трифонов заболел. Досада вскоре сменилась настоящей болью: писатель умер... А я-то так хотел с ним поговорить! Помимо прочего - о Прыжове, ведь Трифонов тоже серьезно им интересовался. Гриша Ребров в повести «Долгое прощание» (1971 г.) читает «книжку Алтмана» и «Былое», и при этом - «сам не знает, зачем ему нужен этот совершенно бесполезный и давно всеми забытый дядя, незадачливый бунтовщик, историк, благороднейший человек, бытописатель народного житья, живший сто лет назад». «Зачем-то нужен!» - восклицает Трифонов, и в этом узнается он сам со своим увлечением и возможными замыслами.

Нам было бы о чем поговорить, но - не судьба! Осталось только согреть себя мыслью, что если такой замечательный писатель распознал в Иване Гавриловиче «благороднейшего человека», то отступать некуда - надо идти дальше...

Тем временем читались и перечитывались «Бесы», вдоль и поперек штудировалась литература о нечаевском деле, я влез в архивы - и в отдел рукописей Ленинки, и в газетный фонд в Химках, и в ЦГАЛИ, и в ЦГАОР - тогдашний архив Октябрьской революции, ныне просто - Российской Федерации. Как-то не верится сейчас, что можно было свой законный отпуск посвятить сиденью над старыми газетами, часами крутить пленку с фотокопиями документов, переписывать их целыми страницами (ксероксов еще не было, а лишних денег - никогда). Помню, спросил в курилке

ЦГАЛИ девушку-сотрудницу: «Какое у вас тут профессиональное заболевание?» (думая про силикоз от пыли или что-нибудь подобное).

- Шизофрения! - мрачно ответила она.

Обрадовала, спасибо. Но людям со слабой психикой в науке в самом деле нечего делать - Кашенко уготован (по-вологодски - Кувшинново).

Тут самое время перейти к Божедомке, улице, где находился «божий дом», богадельня - Маринская больница для бедных.

«Не знаю, есть ли еще такая счастливая больница», - с горькой иронией писал Прыжов в «Исповеди».

Он имел в виду эту самую Маринку, где родился в 1827 году, а за шесть лет перед этим - Достоевский.

«Счастливой» же Прыжов назвал эту больницу потому, что им обоим суждено было идти в Сибирь на каторгу. Сыну лекаря «петрашевцу» Достоевскому - в 1849 году, сыну больничного писаря «нечаевцу» Прыжову - двадцать лет спустя...

Отцы их были добрыми приятелями, и мальчики иногда встречались на прогулках в больничном дворе. Правда, дружбы у них не могло получиться, т. к. слишком велика была разница в возрасте, шесть лет - это не год-два. И если Прыжов писал в «Исповеди», что он «помнит немного Федора Достоевского», то у последнего, конечно, не могло остаться никаких воспоминаний о карапузе, которых было много в богадельне и вокруг нее. Да и фамилия Прыжова могла затеряться в закоулках памяти писателя. Во всяком случае, никакого теплого, родственного чувства не шевельнулось в его душе, когда он встретил эту фамилию в газетных отчетах о нечаевском процессе летом 1871 года. (Прыжова это чувство родства с Достоевским, как увидим, сопровождало всю жизнь).

Первые сообщения об убийстве студента Иванова в гроте Петровско-Разумовской земледельческой академии появились в «Московских ведомостях» в декабре 1869 года. Достоевский, находясь за границей, внимательно следил за этой газетой и всей русской прессой. В глазах писателя это событие концентрировало в себе доведенное до логического конца новое направление русской жизни - нигилизм...

«Нигилисты и западники требуют окончательной плети», - с такой предельной определенностью (в письме к Н. Страхову) сформулировал он свой замысел на первом этапе работы над романом.1

Потом был другой этап, чуть менее ожесточенный, но роман был уже запущен у Каткова в «Русском вестнике», и первые главы, вышедшие еще до начала судебного процесса, в январе-апреле 1871 г., были посвящены как раз «отцам» нигилизма - русским либералам. До Петеньки Верховенского было еще далеко, и на сцене фигурировал один Степан Трофимович с его знаменитой покаянной фразой: «Мы надевали лавровые венки на вшивые головы» (она аукнется в русской истории еще много-много раз).

К русским либералам умеренного толка, скажу сразу, я всегда относился очень хорошо. Мне и доныне непонятно, почему Достоевский воспылил такой ненавистью к Тимофею Николаевичу Грановскому, профессору всеобщей истории Московского университета, которого и не знал лично, и почти не читал. Может, Страхов ему наябедничал или кто другой про «чистого западника», которым якобы был Грановский. Но в России никогда нельзя было быть «чистым западником». Уж на что Чаадаев отрицал русскую историю, а верил в Россию! И Грановский дружил, переписывался с Иваном Киреевским, Иван Аксаков его уважал, и сам Грановский на своих лекциях говорил вполне искренне: «Скептицизм, отличительный признак стареющих, усталых обществ, не коснулся нас. Мы сохранили свежесть сердца и теплоту понимания».

Между прочим, Прыжов в молодости слушал лекции Грановского и настолько благоговейно относился к его памяти, что регулярно в годовщину смерти, 4 октября, приходил на его могилу и обметал опавшие листья (сцена с метлой запечатлена в воспоминаниях одного из современников). Возможно, Прыжов слушал и знаменитую речь Грановского в «Татьянин день» в 1852 г., когда профессор, помимо прочего, сказал:

«В самых позорных периодах жизни человечества есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного перед судом современников сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство».

Мне очень дороги эти слова, я их целиком разделяю и вдохновляюсь ими, думая и о своем герое, и о многом другом. Еще мне очень нравится сентенция с цитатой из писем Грановского:

«Хаос в нас, в наших идеях, в наших понятиях - а мы приписываем его миру... «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно», - говорит Гегель. И это едва ли не величайшая истина, сказанная им».

Когда я читаю в «Бесах» истерические монологи Степана Трофимовича Верховенского, прототипом которого, как давно установлено, был Грановский, мне делается не по себе. И просто негодую, когда перечитываю строки из письма Достоевского наследнику престола, будущему Александру III, от 10 февраля 1873 г.: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева».2

Ну, ладно, Белинский - куда ни шло, вечный забияка, социалист и «Христа ругал по матерну» (как жаловался сам Достоевский Страхову), но Грановский-то причем! Потому что либеральные идеи высказывал и любил культурную, ухоженную Европу, по которой в молодости походил пешком изрядно? Но и сам Достоевский любил Европу - сколь вдохновенно писал он о ее «камнях», дорогих русскому сердцу. Почему же тогда в том же письме 27-летнему цесаревичу, вместе с экземпляром «Бесов», только что вышедших отдельным изданием, такое назидание:

«В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложный закон исторический, состоящий в том, что без подобного **высокомерия** о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нацией и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так «высокомерны»...

Почему же обязательно высокомерие, а не спокойное достоинство - то, что больше подобает и человеческим отношениям? И зачем задирать нос перед другими нациями и государствами, когда в своей стране беда на беде? Этого я никогда не мог понять. Полагаю, что не одинок с такими вопросами.

В годы нашей «перестройки» в журнале «Вопросы литературы» напечатали диалог о Достоевском двух неожиданных оппонентов - посла США в СССР Дж. Мэтлока и литературоведа Л. Сараскиной. Любопытно было узнать, что думают прагматичные американцы (а Мэтлок, хотя и славист, и доктор философии, но прежде всего дипломат, а, значит, прагматик вдвойне) о писателе, который для них олицетворяет «загадочную русскую душу».

Вот что сказал Мэтлок: «Если мы возьмем цитаты, в которых Достоевский утверждает права России на Константинополь в качестве защитницы православия, и заменим «православие» на «научно обоснованный социализм», а «Константинополь» на «социалистическое дружество», мы получим что-то похожее на брежневскую доктрину...»³

Сараскина возмутилась: как можно такое сравнивать? Апелляции Достоевского к православию, по ее словам, просто «наивны», а брежневская доктрина - это «хвастливое лицемерие, ложь и демагогия». Никак не захотела уважаемая наша специалистка по Достоевскому признать, что Мэтлок прав, находя в идеях автора «Карамазовых» (из «Дневника писателя») то, что он называет «русским мессианским национализмом».

«Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь», - господин Мэтлок знает эту нашу поговорку, и, конечно, не может считать наивным писателя, который, обращаясь к обществу через газету «Гражданин», многократно изрекает такую воинственную тираду: «Константинополь должен быть наш!» Хочешь-не хочешь, а подобные слова откладываются в умах, ведь не ребенок пишет, а уважаемый литератор, «властитель дум». И, между прочим, не случайно озаботился Достоевский Константинополем в 1877 году, во время русско-турецкой войны - он еще в 1854 году, в разгар крымской, на исходе своей каторги в Сибири написал очень созвучное стихотворение:

*«...Звучит труба, шумит орел двуглавый,
И на Царьград несется величаво!»*

Сопоставив все это с письмом будущему Александру III, легко понять, что мысль о национальном высокомерии у писателя очень далека от простодушия, она - один из краеугольных камней его политической философии. Выражаясь современным языком, типичное имперское сознание. И писатель, коль скоро он сменил полифонию романа на газетный монолог, неизбежно превращался в пропагандиста этого сознания.

Чего стоила России царьградская мечта вкупе с защитой православия в Европе, напоминать, видимо, не надо: первая мировая война и революция как ее следствие слишком саднят и кровоточат в нашей памяти. Если даже разумнейший П. Милюков, министр иностранных дел Временного правительства, развивал «константинопольскую» доктрину, можно догадаться, сколь глубоко она въелась в российскую подкуру...

Но Мэтлок высказал и еще более смелую мысль касательно нашего кумира: «В той мере, в какой Достоевский пользовался влиянием, это влияние скорее способствовало взрыву 1917 года, нежели тем переменам, которые могли предотвратить его». Жестокий американец! Мы-то считаем как раз наоборот: Достоевский только и думал, мучился, как остановить этот зреющий взрыв - пророчествовал о нем, предупреждал грозно! («Костью лег», - как выразился один литературовед). А Мэтлок будто бы Ленина начитался: Достоевский способствовал революции потому, что «связал свою судьбу с непримиримыми реакционерами».

Тут мы снова в «Бесов» упираемся - никак эту книгу не объедем.

Для наших литературоведов (и не только «ведов», но и «едов», т.е. литераторов и читателей) этот роман с определенного момента - книга книг, род Евангелия, малый Апокалипсис. «Роман-предупреждение» - кто это первым произнес? Ю. Карякин, кажется. Точно не Л. Сараскина, не Б. Тарасов и не И. Волгин - они в ту пору, в наши 60-е годы, еще не были «достоевскоцентристами» (т.е., как разъясняет И. Волгин этот свой термин, не соотносили все сущее с кругом идей Достоевского).

Впрочем, о приоритете тут спорить бессмысленно и даже кощунственно. Сама жизнь российская, начиная не с 1917-го, а еще с 1905-го, заставляла наших

соотечественников то и дело хвататься за голову от внезапного осознания гениальной прозорливости Достоевского. Петруша Верховенский всплыл на поверхность уже в начале века - в первых эсеровских бомбах и «эксах». Бердяев в Петрограде в 1918 году свидетельствовал: «Когда в дни осуществляющейся революции перечитываешь «Бесы», то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было так все предвидеть и предсказать». Тут Петрушу Верховенского уже потеснил Шигалев - «военный коммунизм» сделал реальностью его теории. Шаламов после сталинской Колымы (а скорее всего Колыме) пришел к мысли: «Достоевский - единственный писатель, который много угадал». Но даже тот, который много угадал, добавляет Шаламов в «Четвертой Вологде», - «прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса». Кому не понятна горчайшая ирония автора «Колымских рассказов», могут перечесть эти рассказы, - они как раз про «практическое решение», про то, как «день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы», про то, как «человек становился зверем через три недели», про карцер в ледяной скале и другие вещи, которые не могли пригрезиться даже Шигалеву в его бреду...

Но вопрос, **почему получилось так, а не иначе**, - неподвластен слабому человеческому уму. Шаламов прав, что такой исход невозможно было определить «ни в каком политическом клубе». И разгадывать загадки на тему: «Что было бы, если бы к предупреждениям Достоевского прислушались, если бы «Бесы» стали настольной книгой в каждой русской (и не только русской) семье» - занятие малопродуктивное. Между прочим, есть данные, что роман этот давали читать в царских тюрьмах революционерам. Каков был результат такой педагогики, смог ли роман привести к «перерождению убеждений» кого бы то ни было, - неизвестно. (Вообще случаев резкого «перерождения», или попросту ренегатства в истории освободительного движения не так уж и много: кроме бывшего народовольца Л. Тихомирова с его исповедью «Почему я перестал быть революционером» да В. Кельсиева, поколением раньше, громких сенсаций не отмечено). Кстати, Тихомиров и не упоминал о «Бесах» как источнике своего прозрения - оно произошло в эмиграции, и сам он писал, что «чрезвычайно обязан наблюдению французской жизни, которая показала мне и действительно драгоценные стороны культуры, и ничтожную силу революционных идеалов».

Зато есть великое множество данных о том, что среди массы читателей «Бесы» при своем появлении на свет вызвали прямо-таки страшное раздражение и негодование. То есть, было что-то в самом характере романа, что не могло его сделать настольной книгой. Что же?

Возьмем мнение критика, в меру консервативного, писавшего в ту пору в уважаемых «Санкт-Петербургских ведомостях», В. Буренина. «Нервическая злость мешает много роману, - сделал он вывод. - Нервическая злость на многое, что вовсе не должно бы вызывать злости».

Тон был непривычен, нехорош, вот в чем дело! Тон враждебности, ненависти ко всему, что несло на себе печать либерализма, не говоря уж о социалистических мечтаниях. Иного и трудно было ожидать от романа, задуманного как памфлет, как «плеть». Но факт остается фактом: Достоевский во многом сам виновен в том, что его роман не прочли как должно, не прислушались, не поняли, наконец. Больше того, «нервическая злость» автора вызвала резкую адекватную, как теперь принято говорить, ответную реакцию в виде неприязненного или открыто враждебного отношения к нему самому и к его роману - в первую очередь среди революционеров.

Я убежден, что «Бесы» стали тем ферментом, который не ослабил (как желал автор), а наоборот, намного усилил революционное брожение в российском обществе! Энергия отрицания, заложенная в романе, послужила в итоге недоброму службу, взрастив не одно поколение радикалов. Главный пример - на поверхности: «Архискверный роман архискверного Достоевского» (Ленин). Учитывая эмоциональность лексики, можно сделать вывод, что «Бесы» «перепахали» вождя большевизма не меньше, чем «Что делать» - со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Так что господина Мэтлока можно еще и дополнить в части того, что «Достоевский способствовал взрыву 1917 года». Все это относится к вопросу о **стиле полемики**, который наш проницательный современник Григорий Соломонович Померанц считает более важным, чем **предмет полемики**. Такова, видимо, судьба всех литературных произведений, написанных, по словам Померанца, «с пеной на губах», т.е. пронизанных пресловутой российской одержимостью какой-либо идеей, - при всех благих целях они дают не столько положительный, сколько отрицательный эффект, расширяя трещину раскола в умах.

Короче говоря, «Бесы», на мой взгляд, немало повинны в рождении реальных «бесов», разумея радикальных российских левых (и правых, впрочем). Вывод этот может показаться слишком рискованным, и потому я был рад, найдя единомышленника в лице очень уважаемого мною Андрея Георгиевича Битова, у которого, оказывается, тоже «двойственное отношение к великому роману». Правда, Битов (в своем «Комментарии к общеизвестному», дополнении к «Пушкинскому дому») считает, что Достоевский вызвал к жизни «бесов» тем, что сделал им, так сказать, рекламу - «просветил, как рентген, явление, еле зачавшееся, еще ничтожное», после чего они и вышли наружу: «Значит, мы есть, раз о нас пишут!» Мне же кажется, что все дело в агрессивности нападок Достоевского, - в том, что они задевали слишком болезненные струны общества. Но Битов, безусловно, прав, замечая: «Копаться в силах - это вызывать их к действию»...

Вся эта затянущаяся преамбула - для того, чтобы высказать мысль достаточно простую: «Бесы», несмотря на гениальные пророчества, требуют критичного к себе отношения. Достоевский - но в меру, как говорил Томас Манн. В конце XX века, наверное, пора найти такую меру и в России. У нас ведь еще не написан труд, подобный тому, что написал тот же Манн после второй мировой войны - «Философия Ницше в свете нашего опыта» (т.е. в свете пережитого фашизма). А нам, в свете **нашего опыта**, разве не полезно подвести хотя бы предварительные итоги споров о Достоевском, о тех идеях, которые он защищал и которым дал движение? Такой глобальной задачи на себя взять не могу, но история моего маленького героя, может быть, кое-что прояснит.



Читал ли Иван Гаврилович роман Достоевского - твердых данных нет. В рукописях, сохранившихся от сибирской ссылки, есть упоминания о писателе, на основе чего можно сделать вывод, что историк следил за судьбой Достоевского, например, очень сочувственно отозвался на его смерть в 1881 г. (сам он умер в 1885-м). В Петровский Завод доходили и книги, и некоторые журналы, к которым имел доступ сырьный, и в одной из публикаций* я позволил себе немного пофантазировать,

* Журнал "Байкал". 1986. № 3.

как Прыжов читает «Бесы», напечатанные в «Русском вестнике», и с негодованием узнает свои черты в образе «некоего Толкаченко»...

Это сразу бросилось бы ему в глаза - и основными деталями, которые подчеркнул писатель («странная личность, ходивший нарочно по кабакам»), и фамилией, перетолковавшей его украинские симпатии (Прыжов был большим поклонником Шевченко и много писал на темы украинской истории).

«Формально правильно, а по существу издевательство», - так оценил соотношение образа и натуре М. Альтман, посвятивший теме «Прыжов и Достоевский» специальную статью.⁶

К этому выводу исследователь пришел, подробно разобрав каждую деталь портрета Толкаченко: «щеголявший дурным платьем, смазными сапогами, прищуренным хитрым видом и народными фразами с завитком».

В самом деле, «щеголял» дурным платьем Иван Гаврилович вынужденно, из-за крайней нищеты, а «прищуренный хитрый вид» ему вовсе был несвойствен: щурился он только по близорукости и был в высшей мере бесхитростен.

За утрированными чертами не стояло ничего, что хотя бы отдаленно напоминало истинный характер Прыжова, его помыслы и его действительную роль в нечаевском обществе.

Стоит задержать внимание на основных эпизодах романа с участием Толкаченко (кстати, М. Альтман их не анализировал).

Вот как рисовал Достоевский поведение этого героя накануне убийства Шатова в гроте (Шатов - значительно усложненный по сравнению И. Ивановым образ):

«Толкаченко был нахмурен и озабочен, вся напускная и нахально-хвастилая решимость его исчезла. Он почти не отходил от Петра Степановича (Верховенского - В. Е.) и, казалось, вдруг стал неограниченно ему предан; часто и суетливо лез с ним перешептываться, но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, чтоб отвязаться...»

Ничего подобного на самом деле не было! «Нахально-хвастилой решимостью» действия Прыжова в обществе не отличались никогда, а тем более перед трагической развязкой. Вероятно, «перешептыванием» автор хотел показать близость Прыжова к Нечаеву, но ее к тому времени не осталось и в помине.

До предела оглупив своего героя, Достоевский делает далее самый решительный шаг к его «развенчанию» - приписывает ему едва ли не самую активную роль в убийстве.

Шатов вошел в грот. (Он был приведен Эркедем, в котором воплотились некоторые черты другого «нечаевца» - Николаева, - и этот эпизод романа в целом близок реальности). «В эту самую минуту, - пишет Достоевский, - бросился сзади на него из-за дерева Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти. Липутин накинудся спереди. Все трое тотчас же сбили его с ног и придавили к земле. Тут подскочил Петр Степанович со своим револьвером...»

Камни к телу Шатова привязывал тоже Толкаченко, нес его к пруду - тоже он, т.к., по замечанию Достоевского, «был сильнее всех».

Все насквозь придумано в этой сцене! Дело даже не в том, что она абсолютно не соответствовала действительному ходу событий. Прыжов был самым слабым и вообще не принимал участия в убийстве, не входил в грот и не прикасался к Иванову: и первое, и последнее «касания» принадлежали Нечаеву. Прямо-таки

паразительна неестественность деталей у художника, который всегда с такой достоверностью рисовал сцены **убиения** - вспомним хотя бы Раскольников.

Как можно броситься в грот из-за дерева?! Логичнее, «профессиональнее» было бы находиться, поджидая жертву, внутри темного грота - как находился там в самом деле Нечаев. «Бросился сзади», по мысли автора, подчеркивает подлый характер нападения. Но может ли броситься сзади на жертву еще и второй человек и схватить ее при этом за локти?!

По-разному можно относиться к этим небрежностям великого художника. Или же они сознательны и должны были, по его замыслу, подчеркнуть бестолковость членов нечаевской «пятерки» и фарсовость всей сцены. Или же... живой материал настолько сопротивлялся намерениям писателя, что преодолеть его можно было лишь путем таких натяжек.

Плоды прихотливой фантазии Достоевского видны и в описании поведения Толкаченко после ареста:

«Арестованный где-то в уезде, десять дней спустя после своего бегства, он ведет себя несравненно учтивее, не лжет, не виляет, говорит все, что знает: себя не оправдывает, винится со всю скромностью, но тоже наклонен покраснобайничать; много и с охотой говорит, а когда дело дойдет до знания народа и революционных (?) * его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта...»

Знал бы автор о тех муках, которые переживал после ареста потрясенный случившимся Прыжов! Во всяком случае, он никуда не убежал, на следствии вел себя мужественно, никого не оговорил - наоборот, наговорил на себя лишнего; не лгал, не вилял - это точно (но Достоевский дает понять, что он лгал и вилял раньше, и от этого, как говорится, не легче).

Что же касается краснобайничанья, позы и жажды эффекта, то это опять же утрированные черты своеобразной, возвышенной манеры речи Прыжова. Недаром возникло: «Рявкнул стихами»...

Почему же так произошло? Почему Прыжов (как и другие рядовые участники дела) был изображен в столь откровенно сниженном и позорном виде?

Ответ надо искать, полагаю, не только в изначально тенденциозной сверхзадаче «Бесов». Многие могут объяснить обстоятельства создания романа.

Следует прежде всего внести полную ясность в самый, может быть, важный момент творческой истории «Бесов».

В свое время Л. Гроссман, один из виднейших советских достоевцев, выдвинул версию о том, что писатель якобы лично наблюдал за ходом нечаевского процесса. «Вполне возможно, что Достоевский посещал судебную палату и видел главных обвиняемых, ставших героями его романа», - утверждал исследователь в своей известной биографической книге, выпущенной массовым тиражом. **

Тем самым как бы повышались основания для доверия к фактической стороне романа: раз писатель был и «сам видел», значит, он имел веский повод изображать дело так, а не иначе...

Между тем, по всем имеющимся данным, Достоевский на процессе не присутствовал.

* Осторожный вопросительный знак принадлежит тексту романа. (Прим. авт.)

** Гроссман Л. Достоевский. М. 1965, серия ЖЗЛ. С. 461. Версия эта не подвергалась критическому анализу. Автор другой биографической книги о Достоевском, вышедшей в той же серии в 1985 году, Ю. Селезнев вообще не углублялся в эти важные детали. К сожалению, обойдены они и в обширном комментарии к «Бесам» в новом академическом собрании сочинений Достоевского.

Напомню, что он вернулся в Петербург после длительного, четырехлетнего пребывания за границей, 8 июля 1871 года. Процесс был в самом разгаре и, кажется, писатель затем и стремился скорее в Россию, чтобы своими глазами увидеть героев начатого романа. Но... посещения зала суда в летописи его жизни не зафиксировано.

Самый добросовестный регистратор событий жизни писателя - его жена - такого факта не отмечает.⁷ Нет никаких сведений об этом и со стороны современников, присутствовавших в судебной палате. А среди них находились, как установлено, Ф. Тютчев и Н. Лесков, хорошо знавшие своего собрата по литературе. Достоевский был слишком крупной и заметной фигурой, чтобы его посещение прошло без внимания! Тем более, что публика проявляла повышенный интерес к новому роману, печатание которого уже началось в первых номерах «Русского вестника» за тот же 1871 год.

Заглянуть же в судебную палату «на минутку», с задних рядов, было практически невозможно. Ажиотаж вокруг процесса был так велик, что желающие попасть на него занимали очередь с 4 часов утра.⁸

Объяснение всего этого может быть довольно простым. Достоевский и «на минутку» не мог оставить жену, уставшую с дороги и находившуюся на последнем месяце беременности (сын Федор родился 16 июля, т.е. неделю спустя после приезда и через день после завершения суда над основной группой обвиняемых).

Кроме того, в эти дни было много хлопот, связанных с подыскиванием подходящего жилья, приемом родственников и т.п. Наконец, писатель, как явствует из воспоминаний жены, просто боялся попасть на глаза своим кредиторам, давно ожидавшим его возвращения.

Помимо всех этих причин действовала, как представляется, еще одна, наиболее существенная, имеющая объяснение в особенностях психологии творчества писателя. Известно, что Достоевский в своих романах никогда не стремился к фотографически точному отражению жизненных фактов, подчеркивая, что надо «давать поболее ходу идее».⁹ Поэтому отживаюсь даже на такое заключение: писатель и не желал попасть в судебную палату, более того он сознательно не пошел туда, чтобы живые впечатления не нарушили уже сложившийся - твердо и определенно - замысел...

Где же тогда черпал автор романа сведения о своих героях?

Еще в начальный период работы над «Бесами», в октябре 1870 года, Достоевский сообщал М. Каткову, что «ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме, как из газет».¹⁰

С учетом вышеизложенного мы вправе сделать вывод, что единственным источником сведений о деле и его участниках для писателя были и остались газеты.

Многое в авторе «Бесов» выдает внимательного, даже скрупулезного читателя газетных отчетов - десятки мелких штрихов и подробностей переключались из стенограмм процесса в роман. Но отбор деталей был строго подчинен общей предвзятой идее развенчания «нигилизма». Все, что не вписывалось в схему, отменялось. Причем Достоевский целиком следовал за официальной точкой зрения, заявленной в обвинительном акте и развивавшейся в публицистике охранительного лагеря.

Среди других газет предпочтение отдавалось «Московским ведомостям» М. Каткова. Как справедливо отмечают современные комментаторы «Бесов», позиция «Московских ведомостей» и специфический тенденциозный подбор материалов о Нечаеве и нечаевцах вне всякого сомнения сыграли большую роль в памфлетной направленности романа.

Все это не было случайностью. Период работы над «Бесами» - пик сближения Достоевского с Катковым. Об этом свидетельствует переписка и факт их встреч. Но еще красноречивее один малоизвестный штрих.

В 1872 году, продолжая работать над романом, Достоевский давал сеансы художнику В. Перову для своего портрета, ставшего впоследствии знаменитым. При этом они откровенно беседовали. Об одной из таких бесед Перов сообщил в письме П. Третьякову:

«Достоевский и Майков (поэт, друг Достоевского - В. Е.) находят, что для вашей галереи необходимо иметь портрет старика Тютчева, как первого поэта-философа, которому равных не было, кроме Пушкина, и который выше Гейне, - и Каткова, как первый ум в России. Даже Достоевский выразился так, что не имея их портрета, можно сказать себе: слона-то я и не приметил. Одним словом, они Каткова считают гением»...¹¹

Ирония Перова весьма показательна: Катков как одиозная фигура, сам называвший себя «цепным псом самодержавия», вызывал неприязнь даже очень умеренных людей.*

Не исключено, что при доверительных беседах Достоевского с Катковым в Москве могла зайти речь и о Прыжове. Судя по некоторым данным, редактор «Московских ведомостей» неплохо знал Прыжова, читал его книги. Не он ли пересказал Достоевскому, например, черты внешнего облика Прыжова? Ведь в судебных отчетах об этих чертах ничего не сообщалось.

Впрочем, рисуя портрет Толкаченко («щеголявший дурным платьем, смазными сапогами» и проч.), Достоевский скорее всего пользовался ходульным штампом, к которому часто прибегали в тогдашней прессе при изображении литераторов-этнографов.

Как бы то ни было, автор «Бесов» крайне неприязненно относился ко всем, кто помимо него самого претендовал на «знание» народа. Отсюда, несомненно, его пренебрежительное, точнее - издевательское - определение Толкаченко: «знаток народа». Оно несколько раз мелькает в романе, долженствуя подчеркнуть шутовской облик героя (как и «народные фразы с завитком»).

Надо напомнить, что знаменитая формула Достоевского: «русский народ - богоносец» впервые прозвучала именно в «Бесах» (в устах Шатова). Разумеется, автор такой формулы никак не мог найти общего языка с автором книги «История кабаков в России в связи с историей русского народа».

Наделала много шума и острая сатирическая брошюра Прыжова «Житие Ивана Яковлевича». Известный московский юродивый, которого многие верующие считали «святым» и «пророком», предстал в ней во всей наготе обитателя дома для умалишенных. Достоевский (не через Каткова ли?) ознакомился с этой брошюрой. Как доказал М. Альтман, автор «Бесов» в подробностях знал «Житие Ивана Яковлевича» и по-своему полемизировал с Прыжовым, нарисовав в романе сцену посещения «нигилистами» юродивого с созвучным именем Семен Яковлевич. ¹²

* Не цитируя Ленина ("бешеное черносотенство" т. д.), сошлюсь на свидетельство еще одного художника - И. Репина. В комнатах студентов Академии художеств, где он учился в 60-е годы, в обычае было размещать фотографии "излюбленных" и "ненавистных" лиц. «Ненавистные лица, вырезанные из фотографических карточек, болтались на виселицах на особо устроенном эшафотике. Лица эти были Катков, М.Н. Муравьев (Вешатель) и Наполеон III", - писал Репин (Далекое и близкое. М. 1964. С. 203).

Атеизм, тем более столь «кощунственный», всегда вызывал резкое неприятие писателя. Так же, как и запах алкоголя... (извиняюсь за невольное сопоставление столь разных материй).

Достоевский ведь не упустил случая подчеркнуть, что Толкаченко «ходил нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного)», т.е. дал понять, что он склонен к известному пороку. Этот штрих нес большую «идейно-художественную нагрузку» - в глазах писателя он служил еще одним доказательством моральной ущербности «нигилиста».

М. Альтман замечал по этому поводу:

«От творца Мармеладова и Снегирева, от великого бытописателя «пьяненьких», мы вправе были ожидать более глубокого и вдумчивого подхода к этой стороне своего героя и его прототипа...»

С выводом исследователя нельзя не согласиться. Но почему все же «творец Мармеладова», так горячо сочувствовавший этому герою «Преступления и наказания», оказался столь нетерпим, когда дело коснулось другого частого посетителя трактиров?

Ответ надо искать не только в общей идее «Бесов» (трудно требовать «вдумчивого» подхода, когда в ходу плеть). Нельзя судить об отношении Достоевского к «пьяненьким» и их слабости только по его широко известным литературным образам. К реальным людям, своим современникам, писатель был гораздо более пристрастен.

Вот характерная запись, появившаяся в дневниках Достоевского в 1876 году:

«Все эти души - стертые пятиалтынные, прежде чем жили - все эти Демерты, Помяловские, Шаповы, Курочкины... Когда другие страдают, они пьют, т.е. наслаждаются».13

К личностям, упомянутым здесь, легко присоединить и Прыжова. Их объединяло многое. Не только «слабость», известная современникам, но и нечто более важное. Да и нельзя считать лишь «слабостью» то, что носило характер социального явления и имело под собой вполне осязаемые причины. На это указывал в своей книге и В. Базанов, сославшись на воспоминания Н. Лейкина:

«...Это было какое-то бравирование, какой-то «надсад» лучших людей 60-х годов. Неделанные реформы только разожгли желания широкой общественной деятельности, не удовлетворив их в той мере, в какой требовала душа. Наиболее чувствительные, наиболее отзывчивые в обществе писатели видели, что та свобода, которая им рисовалась в их воображении, вовсе не такова в действительности, что личность по-прежнему порабощена, что произвол по-прежнему гуляет по всей матушке Руси рядом с самым беззастенчивым, самым гнусным насилием... И эти умные, эта соль русской земли, вся поголовно молодая и жизнерадостная, стала с горя пить чару зелена вина».

Тема знакомая, развивавшаяся потом на разные лады: пьянство в русскую литературу принес писатель-разночинец... Мне кажется, что юморист Лейкин все же не смог передать истинной сложности и трагичности этого явления. Воспользуюсь поэтому другим свидетельством, принадлежащим Глебу Успенскому - писателю обостренной чуткости, большому знатоку проблемы «больной совести» русской интеллигенции. Тем более, что его свидетельство касается лица, упомянутого Достоевским.

В 1876 году Г. Успенский написал некролог, посвященный памяти Н. Демерта, публициста «Отечественных записок». Вероятно, и дневниковая запись Достоевского была откликом на смерть Демерта, а также историка А. Шапова, скончавшегося в

этом же году в Иркутске (в газетах тогда появилось много откликов и воспоминаний, смаковавших на разный лад «слабость» обоих умерших).

Сопоставим два этих мнения - Успенского и Достоевского - чтобы оценить разницу взглядов на один и тот же предмет и особенности гуманизма (скажем так) каждого писателя.

Вот что писал Успенский:

«Демерт был взят на улице в припадке полного умственного расстройства, в том состоянии, когда человек не знает, где он, что с ним, куда и откуда он идет. Что же довело эту сильную, крепкую, здоровую натуру до такого ужасного состояния? Говорят: «он пил»... Мы, лично знавшие Н. А., смеем утвердительно сказать, что пил он не в силу порока. «Он до смерти работает, - сказал Некрасов про русского мужика, - до полусмерти пьет»... Уж не в работе, не в ее ли свойствах, не в ее ли размерах и задачах корень гибели Демерта?»¹⁴

Далее Успенский пишет о работе своего друга-публициста (он вел в «Отечественных записках» внутреннюю хронику), что она была «убийственнее всякой серы», от которой «мрут на фабриках».

Демерт собирал «**подлинные материалы подлинной русской действительности**» (выделено Успенским - В. Е.), «всю подноготную народной жизни». «Далеко не все, что он знал, он печатал, - писал автор некролога, - но не думать обо всем, не чувствовать всего, чем дышала на него масса материала, он не мог...»

Успенский подчеркивает совесть, честность Демерта. Главная причина его «слабости» и его гибели для Успенского - «ужас общественного деятеля перед ужаснейшей, обезнаденной действительностью, требующей таких сил, каких нет ни в себе, ни в других».

Очевидно, последние слова не нуждаются в расшифровке. Но замечу, что только истинный **деятель** в полной мере ощущал то, что стоит за понятием «эпоха политической реакции». Недаром некролог Н. Демерту не был пропущен цензурой и увидел свет лишь в 1902 году, в первом посмертном собрании сочинений Г. Успенского.*

То, что сказано о Демерте, может быть в полной мере отнесено и к Прыжову. Он тоже работал «до смерти» (сотни страниц рукописей в архивах убеждают в этом), тоже собирал «подлинные материалы подлинной русской действительности» и тоже не мог не чувствовать всего, чем дышала на него эта масса материала. И говоря о причинах «слабости» Прыжова, нельзя забывать, что он пережил **две** политические реакции, т.к. молодость его пришлась на самые мрачные годы последнего николаевского семилетия, когда Достоевский отбывал каторгу...

Брезгливая, высокомерная реплика Достоевского «Все эти Демерты...» объясняет многое, проявившееся в «Бесах».

Замечу, что понятие «стертый пятиалтынный» в приложении к человеку имело у писателя смысл весьма уничижительный. «От почвы-то давно уж отделился...

* Чтобы не показалось, что Успенский оправдывает Демерта из приятельских, либо "лагерных" соображений, приведем еще его некоторые высказывания обинтеллигенции тех лет. В "Автобиографии" он писал, что "пьянство было почти чем-то неизбежным для тогдашнего талантливого человека", а одной из причин называл то, что "все в журнальном мире падало, маломальски видные деятели разбрелись, исчезли (намек на многочисленные ссылки 60-х годов - В.Е.)". В то же время он подчеркивал внутреннюю неспособность многих своих знакомых к сопротивлению, называя их "талантливыми страдальцами" и отмечая, что «даже малейших определенных взглядов на общество, на народ, на цели русской интеллигенции ни у кого решительно не было». Несомненно, что никому из "талантливых страдальцев" Успенский бы не написал такого некролога, как Демерту.

необыкновенно похожий на стертый пятиалтынный: видно, что серебро, а ни клейма, ни года, ни какой нации, французская ли, голландская ли, русская ли монета - неизвестно», - писал он еще в 1861 году в статье «Книжность и грамотность».

Достоевский видел в писателях-разночинцах прежде всего «нигилистов», отпавших от Бога (а это главная ипостась «почвы») и даже их губительную привычку считал, очевидно, следствием утраты веры.

«Пьют, т. е. наслаждаются» - суждение сродни возгласам монахов-аскетов, проклинающих «грешников», - не правда ли? По крайней мере, так мог писать лишь религиозный моралист, не желавший признавать какого-либо влияния действительности на людей. Назовем это заоблачным праведничеством или книжно-евангельским максимализмом. Евангельский эпитаф к «Бесам» не случаен, как не случайно постоянное, навязчивое апеллирование Достоевского к образу Христа - и в этом, и в других романах, и в дневниках, и в жизни... (Это слишком серьезная тема, но недаром у «олимпийца» И. Бунина в раздражении вырвалось о Достоевском: «Совал Христа во все свои бульварные романы»).

Позитивизм, возможно, не лучший метод в познании метафизики Достоевского, но в познании реальностей прошлого без него не обойтись, как и без «ползучего», «низкого» эмпиризма. И потому приведу в завершение питейного экскурса мнение забытого русского историка М. Лемке по поводу некоторых «шестидесятников» прошлого (а может быть, и нынешнего?) столетия:

«Сухой моралист, не склонный к тому же справляться с условиями времени, предал бы их, этих искренних работников прогресса, строгому осуждению, но разве это справедливо? Разве в этом проходила **вся** их жизнь? Разве эти люди **ничего** не дали настоящему и будущему?.. Они сделали все, что могли сделать».¹⁵

Наверное, эта точка зрения должна быть исходной и в оценке Ивана Гавриловича Прыжова. Запомним главное - «справляться с условиями времени»...

В свете вышеизложенного станут, наверное, понятнее скупые строки академического комментария к «Бесам»:

«Достоевский прошел, однако, мимо личной трагедии и драматических обстоятельств жизни, тех фактов, фигурировавших на процессе, которые рисовали личность Прыжова в мягком страдальческом свете. Не попала в роман и одна многозначительная деталь, так часто упоминавшаяся на суде - странный и загадочный выстрел Нечаева в Прыжова (об этом выстреле см. главу «Путь к гроту» - В. Е.). Достоевский ввел в роман лишь некоторые внешние факты, но отказался от углубленной разработки образа, избрав путь карикатуры».

Можно сказать даже, что первый портретист Прыжова не только сгустил, но и просто перепутал краски.

Не повезло нашему герою и со вторым портретом, появившимся в 1908 году. Автор его - польский писатель Станислав Бржозовский. В своем небольшом романе «Зарево» он охватил революционные события в России от нечаевского дела до «Народной воли». Среди десятков персонажей (прототипами их в большинстве были реальные деятели: например, Г. Плеханов фигурирует здесь под фамилией Кирсанова, философ Вл. Соловьев - Воробьев и т. д.) нашлось место и для Прыжова.

Он участвует в некоторых сценах романа, нося экзотическое имя «Эварист Попов». Подстать этому сочетанию и образ, созданный пылким воображением писателя: «смесь Сократа и Фальстафа», как говорит о нем один из персонажей.

Вот образец его речи (обращенной к девушке из простонародья, сидящей с ним в трактире): «В груди Попова всегда жил республиканский дух, и во сне ко мне

взывать голос: ты спишь, Брут? О прекрасная Лесбия, презренная вестница необузданного Эроса, уйди теперь...»

М. Альтман назвал этот образ Прыжова патетическим. Что ж, патетики тут хоть отбавляй. И все же, несмотря на явные преувеличения, особенно в описании «фальстафовских» черт Прыжова, Бржозовский в некоторых моментах близок к истине. Например, его герой накануне ареста говорит: «А вы не думаете, что Нечаев агент? Он, в сущности, сумасшедший». Это, как увидим, во многом соответствует показаниям Прыжова на суде. Можно верить Бржозовскому и в описании последних дней Попова-Прыжова в ссылке. Жена дьячка говорит о нем: «Божиих угодников велел из комнаты вынести. Вот и хоронят его теперь, как неверного - без священника, без молитвы, и в церкви не звонили».

Можно предполагать, что автор «Зарева» знал об этой черте Прыжова, как и о других, не только по судебным отчетам. В молодости Бржозовский тоже участвовал в революционном движении, имел знакомых среди участников восстания 1863 года, сосланных в Сибирь, в том числе в Петровский Завод. Вполне вероятно, что подробности о смерти и похоронах Прыжова он узнал от живых свидетелей, вернувшихся в Польшу...¹⁶

Яркая личность Прыжова не обойдена и в современной литературе. Повышенный и понятный интерес к истории и особенно к истории коммунизма в России, заметный еще в «застойные» годы, породил целый поток произведений, касающихся в той или иной мере нечаевского дела. «Куда ни ткни - всюду Нечаев», - такую знаменательную фразу произнесла на заре перестройки одна журналистка (Е. Лосото).

Казалось бы, современному писателю, взявшемуся за эту тему, - карты в руки. Есть богатейшая литература, сохранились первоисточники в архивах - читай, додумывай, пробуй... Если еще доверяешь марксизму - загляни в некоторые тома бородатых основоположников, которые тоже обратили внимание на это громкое российское дело. Между прочим, основоположники показали себя блестящими аналитиками и очень принципиальными людьми - от них досталось не только Нечаеву, но и Бакунину.

Но ссылаться на основоположников выходило из моды, а на Достоевского - входило. Имею в виду период 1980-1985 годов, когда известная серия «Пламенные революционеры» пополнилась целым рядом отнюдь не ортодоксальных и талантливых книг. В числе их был и роман известного исторического беллетриста Ю. Давыдова «Две связки писем» («Соломенная сторожка»), посвященный Герману Лопатину.

Помню, я читал его почти не отрываясь. Лопатин тут предстал не в официальном мундире «друга Маркса и переводчика «Капитала», а в качестве непримиримого и последовательного противника Нечаева и других провокаторов. Впервые, пожалуй, в советской литературе были протянуты ниточки - очень тонкие, едва заметные - от «Народной расправы» к будущим расправам с народом. И когда грянула перестройка, роман Ю. Давыдова был вознесен на пьедестал - его удостоили Государственной премии СССР 1987 года.

Но у меня сразу же, при первом чтении романа (в 1983 году) возникли и очень большие претензии к автору. Рядовых участников нечаевского дела, в том числе и Прыжова, он изобразил, увы, в духе традиции, явно восходящей к «Бесам».

«Вспомнилось, как ты водил меня в Тимирязевку, к малым прудам, показывал, где эти подлюки скопом одного убивали» (выделенное мною меня и возмущало!). О «подлюках» писал автору его друг, наш современник. Письмо, включенное в роман

и упоминавшее о Тимирязевке - бывшей Петровско-Разумовской академии, выполняло роль «связи времен» и в то же время с головой выдавало пылкого почитателя «Бесов».

Но ведь Ю. Давыдов не первый раз обращается к этой теме, кроме того он - профессиональный историк, с него и спрос иной, не так ли? - думал я, намереваясь даже отправить в Политиздат письмо с протестом против такой версии. Было страшно обидно, что серьезный в общем-то писатель вдруг сорвался и уже от себя лично несет историческую ахинею...

Согласно Ю. Давыдову, именно Прыжов один заманил и привел несчастного Иванова в грот, причем сделал это без больших терзаний, единственно из поклонения перед Нечаевым, который «и сам не отстранился, не умыл рук»... Сцена разговора Прыжова с Ивановым, решившая судьбу последнего, занимает целую страницу романа.* Читая ее, я сокрушался, почему же автор не просмотрел лишний раз хотя бы стенограмму процесса, почему не задал себе вопроса: мог ли вообще русский историк, литератор, человек гуманных занятий, толкнуть другого, ничего не подозревавшего невинного человека на верную смерть?

Увы, все шло по колее, накатанной великим Федором Михайловичем, гением, с которым спорить - ни-ни.

Подчеркивая пресловутую слабость Прыжова и смакуя ее («Иван Гаврилович тихо и трезво отдохнул в кущах Кунцева», «стараясь не дыхнуть перегаром», «как честному литератору без кабака?» и т. д.), Ю. Давыдов словно задался целью не отступать от образа Толкаченко и поставить эту слабость - знак моральной деградации - в прямую связь с участием в убийстве.

Но это еще не все. Автор упомянул, что Прыжов был сыном ополченца 1812 года. В самом деле отец его участвовал в Бородинском сражении, а затем переехал в Москву и стал служить в Марининской больнице. Но что пишет романист после?

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» А может, и даром? Ах, промашку дал Бонапартый, вольную бы объявил, оно, глядишь, и не супротив него Русь бы грнула, а?»

Эти слова вложены Ю. Давыдовым в уста Прыжова. Откуда они? Ни в одном из трудов историка подобной мысли не встречается. Но знатоки Достоевского сразу узнают Смердякова:

«В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила бы к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Вот так: Прыжов на одной ноге со Смердяковым! Это уже целая концепция...

Резко снизив (скажем так) облик Прыжова, автор романа делает его и - вопреки истине - послушным адептом Нечаева. Прыжов у него «проникся к Нечаеву щемящим чувством, аж в горле першило», «молодел, заряжаясь его жаждой действия». Он высказывает готовность выполнить любое поручение руководителя организации: «Прыжов не просил снисходить ни к годам своим, ни к занятиям. У знакомых писарей стибрить казенные бланки или вид на жительство? Можно. Настрочить зажигательную прокламацию и тишком у приятеля-типографа тиснуть? Извольте...» Прыжов, оказывается, знает содержание бакунинско-нечаевского «Катехизиса революционера», наизусть цитирует его: «Соединимся с лихим разбойничьим миром, истинным революционером в России» и вербует в общество обитателей харчевен и ночлежек.

* Давыдов Ю. Две связи писем. М. Политиздат. 1983. С. 39.

Правда, Ю. Давыдов вынужден заметить, что дело это «не шибко двигалось», а ведь еще шаг - и Прыжов бы предстал перед читателем Карлом Моором, шиллеровским разбойником...

Во имя чего же все это? Чтобы вслед за Достоевским - но уже на «документальной» основе - развенчать всех нечаевцев, показать их человеческую несостоятельность?*

Подобный взгляд никак не вяжется с фактами. Не вяжется он, кстати говоря, и со взглядами главного героя «Соломенной сторожки» - Германа Лопатина. Романного Лопатина, а исторического. Романный занят в основном разоблачением Нечаева. Исторический же занимался еще и защитой жертв его обмана, осужденных по этому делу. Жаль, что Ю. Давыдов пренебрег одним важным штрихом биографии своего героя. Речь идет о его предисловии к сборнику «Из-за решетки» (почти «Из-под глыб»), изданному в 1877 году в Женеве. Оно представляет особый интерес еще и потому, что Лопатин высказал здесь свое суждение - весьма резкое - о романе «Бесы». Полагаю, что это один из самых наглядных примеров того, как роман «будил» к революции:

«Он (Достоевский - В. Е.), как шелковичный червь или паук, черпает нити своей волшебной ткани из самого себя и рисует нам эту душу такую, какую она представляется его больному воображению. В его голове - голове художника - возникает образ по поводу последнего политического процесса, и он изливает этот образ, налив на него ярлык «острой злободневности» в виде двух, трех фраз, выхваченных из процесса, или двух, трех черт характерной наружности, подмеченной у кого-либо из подсудимых. Что ему до того, что тут дело касается чужой души, души человека, у которого все, кроме этой души, отнято, человека, который ни сам защищаться, ни настоящих защитников иметь не может! Велик русский человек в холопстве своем!... И если «уважаемый писатель» и «бывший государственный преступник» обращается так бесцеремонно и безжалостно со своими историческими преемниками, то чего же ожидать от заурядных холопов всех шерстей и мастей?»¹⁷

Сегодня слова о «холопстве» Достоевского, вероятно, покажутся несправедливыми. Но резкость автора была оправданной: если Достоевский позволил себе написать, что «русский революционер - человек без чести», то Лопатин во всяком случае под эту категорию не подходил. Он не мог поступить иначе еще и потому, что лично знал некоторых участников процесса и не сомневался в их благородстве.

Нет точных свидетельств, был ли Г. Лопатин знаком с Прыжовым (такое не исключено, т. к. у них был общий знакомый - Ф. Волховский, соратник Лопатина по просветительскому «Рублевому обществу»). Но среди тех, у кого «отнято все, кроме души», легко угадать и нашего героя. О, если бы Ю. Давыдов учел или ввел это суждение Лопатина в свой роман, какими бы настоящими, правдивыми красками он заиграл! Но беллетристические эффекты, видимо, важнее...

С учетом того, что произведения Ю. Давыдова на эту тему вышли массовыми тиражами, они весьма и весьма способствовали укреплению литературного мифа о

* Это намерение Ю. Давыдова отчетливо проявилось уже в его очерке под названием «Омут», опубликованном в 1979 году в популярном журнале «Человек и закон» (№ 7). В этой публикации Прыжов предстал еще более похожим на Толкаченко. Вот как описывает автор его состояние перед убийством: «...Натянуло грозовую тучу: как поступить с Иваном Ивановым? И Прыжов... нет, не воспротивился, этого не было - уклонялся, тряс головой, снимал очки, шурился, шурился...» Видно, что уроки психологии и проникновения в образ автор брал у создателя «Бесов». Вспомним «прищуренный хитрый вид» Толкаченко.

Аналогичный подход к изображению нечаевцев был всецело сохранен автором и в книге «Герман Лопатин, его друзья и враги» (М. 1985).

«бесах»-нечаевцах. Но на этом дело не кончилось. Появились другие авторы и другие книги, которые я начал уже коллекционировать.

Вот и Я. Гордину фигура Прыжова показалась настолько колоритной, что он не смог ее обойти в романе, посвященном **мексиканскому** революционеру... («Три войны Бенито Хуареса» М., 1983). Мексиканские события середины XIX века описаны здесь глазами молодого русского интеллигента, который, как полагает автор, встречался с Прыжовым. Как будто в России тех лет не было более популярной фигуры! Одна из встреч, в октябре 1869 года, объясняет, зачем понадобился автору романа Прыжов (как и П. Заичневский, один из авторов нашумевшей прокламации «Молодая Россия»). Главный герой романа к этому времени «поумнел» и понял - помимо всего прочего - что революционный опыт Мексики, где он побывал, мало подходит для России. Он говорит Прыжову, что здесь, на родине, - «любого, кто хочет действовать, рвут в две крайности. Или правительственный застой - иди туда и зубами держи общество, чтоб не шелохнулось! Или же отчаянный радикализм - гони Россию по ухабам, только ободья с колес летят! И как мало находится тех, кто этому может сопротивляться и звать на третий путь, на котором собираются важнейшие течения самой жизни...»

Мысли очень резонные! Но благодаря им Я. Гордин «подвел базу» под то, чтобы отнести Прыжова к представителям крайности, олицетворяющей отчаянный радикализм. Он и делает это, вкладывая в его уста слова из пресловутого «Катехизиса революционера»:

«Наше дело - полное, повсеместное и беспощадное разрушение... Разбойник - истинный и единственный революционер в России!»

Нет абсолютно никаких данных, что Прыжов знал этот зашифрованный нечаевский устав до суда, где он был публично оглашен. Я. Гордину, воспользовавшемуся некоторыми положениями «Исповеди» Прыжова, следовало бы, наверное, воспользоваться и другими. Например, таким:

«Насколько высоко социальное учение с умственной стороны, настолько же вредно, когда оно обращается к практике, - это тот же деспот, который вертит по своему народную жизнь, бессильный сделать что-либо доброе».

По-моему, великая мысль, хотя высказана маленьким человеком!

Но автору романа захотелось контрастных деталей: если Прыжов у него «отчаялся», то ему одна дорога - заговор, бунт, разбой. Недаром в конце романа герой Я. Гордина «убеждается», что участие Ивана Гавриловича в убийстве - «не вымысел и не случайность».

Просто и ясно. Если бы так было на самом деле...

Два уважаемых современных исторических писателя представили Прыжова апологетом нечаевщины - не многовато ли?

А вот в романе В. Пикуля «На задворках великой империи» Прыжову были посвящены более сочувственные строки:

«Ныне (речь идет о периоде накануне первой русской революции - В. Е.) его книги почти забыты, но придет время, когда потомство перелистает их заново...»

Но подразумевает автор под этими «книгами» лишь «Историю кабаков» и находит знаменательную параллель в том, что историк кабачества, по его заключению, «умер от водки». Ничего более, увы, о деятеле русской науки В. Пикуль сказать не смог...

Наконец, еще один - последний, больше я не коллекционировал - пример эксплуатации биографии Прыжова представляет книга Ст. Рассадина «Никого

никогда не забуду» (М., 1986). Это повесть о декабристе И. Горбачевском. Автор обильно цитирует в ней сибирские рукописи Прыжова, но почему-то стесняется назвать его имя. Прыжов предстает здесь в облике некоего Гаврилы Романовича Кружовникова - бывшего народовольца, разочарованно-меланхолически размышляющего о своем прошлом. Неужели реальная судьба историка уже не представляет никакого интереса?

Совсем не повезло Прыжову в литературе? Так и останется он живой иллюстрацией нечаевского анархизма или, хуже того, - типом трактирного завсегдатая, склонного к фрондерству?*

Нет, нашлось-таки нашему герою чуткое, достойное его внимание. Я уже упоминал Ю. Трифонова. Писатель обладал редким чувством истории, равно как и редким тактом. Его слова «благороднейший человек» по отношению к Прыжову очень много значат.

Возьмем эти слова с собой в дорогу.

На благородстве можно играть, спекулировать, помыкать им, использовать его в самых низменных целях - и примеров тому, увы, тьма в истории человечества. А коль случилось трагическое и непоправимое, чем проверяется благородство? Наверное, способностью к раскаянию. Осознать и пережить свою вину (пусть и невольную, вымученную), пройти достойно чистилище страдания дано далеко не каждому. И если нельзя считать Ивана Гавриловича Прыжова **во всем** достойным подражания, - то не посочувствовать ему невозможно.

Самая запутанная страница биографии нашего героя - его участие в «Народной расправе». О том, как осветили ее литераторы, мы уже знаем. А как же наука?

Одной из самых серьезных по данному предмету считается книга И. Пантина, Е. Плимака и В. Хороса «Революционная традиция в России» (М. Мысль. 1986). Но в ней говорится об «однозной форме деятельности Нечаева и нечаевцев» и участниках «Народной расправы» как «адептах Нечаева». Получается, что историки в этом плане пошли вслед за писателями. Во всяком случае, архивных материалов они практически не используют.

Единственная обобщающая работа о нечаевском процессе принадлежит известному саратовскому ученому Н. Троицкому.¹⁹ Он, кажется, был первым, кто после Б. Козьмина вошел в первоисточники. Но Троицкий не касался личностей подсудимых и к тому же, на мой взгляд, немало преувеличил меру объективности следствия и суда: «Обвинительные акты по делу нечаевцев были сравнительно добросовестны, без видимых натяжек». Что касается Прыжова, то натяжки - это станет ясно - были более чем видимыми.

Беда всех, кто писал о нечаевском деле, в том, что они слишком доверились тексту обвинительного акта, напечатанному в «Правительственном вестнике» и других тогдашних газетах. Это самый доступный источник, но он ведь не исчерпывает судебной (а тем более - исторической) истины...

* В пестрой Москве 1860-х годов не были редкостью личности подобного рода. Участник событий тех лет З. Ралли вспоминал о некоем князе Глинглате - "страшном алкоголике, шатавшемся среди студентов, спавшем летом среди кустов по бульварам и жившем на подаяния от купцов".¹⁸ Этот пропившийся князь, по словам З. Ралли, был "проповедником латинской фразы убийцы Линкольна - "Sic semper tiranis" ("такова участь тиранов" - лат.). Не от этой ли (или подобной ей) пародийной фигуры отталкиваются некоторые бытописатели жизни Прыжова?

Сидя часами в старом газетном фонде в Химках, копаясь в архивах III отделения в бывшем ЦГАОРе и перечитывая много раз «Исповедь» Прыжова (которую М. Альтман почему-то назвал «не вполне заслуживающей доверия»), я сильно досадовал на наших историков, пренебрегающих черновой работой: «Это же ваш хлеб, ребята! Концепции - второе дело!»

А моя собственная концепция выстраивалась не только из фактов и документов. Факты сами по себе - мертвы. Как верно заметил один из современников Прыжова, в его деле самое важное - «осветить, сделать вполне понятными» его **«душевные состояния»** (выделено мною - В. Е.).

Этим современником был Г. Елисеев, грубоватый публицист некрасовских «Отечественных записок». Он посвятил разбору нечаевского дела и роли Прыжова «Литературные заметки», опубликованные вскоре после окончания процесса.²⁰

Задавшись благой целью - защитить героя, известного ему как автора «Истории кабаков» и одного из «писателей-паломников», Елисеев оказал ему вначале поистине медвежью услугу. Он представил Прыжова человеком... «мозговые отправления которого не совсем нормальны», а вопрос об убеждениях для которого якобы вообще «трын-трава». (Защита Елисеева и сводилась в основном к тому, чтобы подвергнуть Прыжова дополнительному медицинскому освидетельствованию).

Тем не менее общая оценка ситуации Елисеевым заслуживает внимания:

«Обыкновенно говорят, что люди почтенных лет эксплуатируют молодежь, вовлекая ее в политические движения: здесь было, по-видимому, наоборот, т. е. **молодежь пришла к своему обществу на живую нитку человека почтенных лет для того, чтобы эксплуатировать его для своих целей** (подчеркнуто мною - В. Е.)».

Некоторые поступки нашего героя и впрямь кажутся труднообъяснимыми, нелогичными, странными. Помимо необычайно сложных, запутанных обстоятельств, в которые он попал, ответ надо искать и в особенностях его характера.

По многим свидетельствам, он был человеком, что называется, экзальтированным, импульсивным, нервным (в чем сказалась, конечно, его тяжелейшая - настойчиво злая - судьба). Но при всем этом близко знавшие Прыжова отмечали, что он отличался редкой добротой, доверчивостью и простодушием.

Академик А. Н. Веселовский, младший из двух знаменитых братьев-филологов, хорошо помнивший историка по своей студенческой молодости, писал, что у него были «две неизменные страсти - безграничная преданность науке и любовь к народу».²¹

Важно, что мемуарист подчеркнул: «страсти». Важно и то, что на первое место поставлена наука. Прыжов в самом деле жил прежде всего наукой - но не академической, как многие его знакомые.

«Я хотел собрать в одно целое не только археологические факты, но и все слезы, весь пот, всю кровь, пролитые когда-либо народом, - собрать и высчитать, насколько вынесет эта наука счисления», - писал он в «Исповеди».

Подобной задачи не ставил перед собой, пожалуй, никто из русских историков. В условиях того времени (да и любого!) она была донкихотством.

И не одно это, а многое в личности нашего героя заставляет вспомнить трагический образ рыцаря из Ламанчи, вступившего в бой с несправедливостью... Обрисовка его «душевных состояний» - дело непростое, но необходимое. Коль скоро легенды о Прыжове создавались с большой помощью фантазии, воссоздание его настоящего облика, казалось бы, исключает такой подход. Но без некоторой доли воображения в этом чрезвычайно сложном деле все же не обойтись.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 томах, т. 29 кн. I. С. 113.
- 2 Там же. С. 260.
- 3 Вопросы литературы. 1989. № 7. С.57.
- 4 Достоевский. Т.2. С. 406.
- 5 Новый мир. 1989. № 4. С. 159.
- 6 Альтман М. Прыжов и Достоевский. Каторга и ссылка. 1931. № № 8,9. Эта тема освещена и в книге Альтмана "Достоевский. По вехам имен". Саратов. 1975.
- 7 Достоевская А. Г. Воспоминания. М. 1971. С. 203-237.
- 8 "Чуть свет надо было идти, ибо интерес к этому процессу был таков, что некоторые студенты, дабы попасть в очередь, ночевали даже там во время суда", - вспоминал народоволец М. Фроленко. (Энцикл. словарь "Гранат". Т. 40. С. 507). Ср. также воспоминания нечаевца Г. Енишерлова: "Ждали открытия суда по 4 часа на ногах. Впускалось только 150 пар". (ОР РГБ, ф. 100, картон 2 ед. хр. 5, л. 207).
- 9 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 75. Подчеркивая примат "идеи", "художественности", Достоевский явно недооценивал значение так называемой "литературы факта". Ср. его пренебрежительный отзыв об очерках Н. Успенского: "...И самого матерьяла-то одним дагерротипом верно не передадите" (т.19. С. 181). Между тем, очерковая литература, как и дагерротип (фотография), имеет свои преимущества - именно она в конечном итоге является более достоверным документом времени.
- 10 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 29. Кн. I. С. 141.
- 11 Гроссман. Жизнь и труды Ф.М. Достоевского. М.-Л. 1935. С. 345 (дополнения).
- 12 Альтман М. И.Г. Прыжов. М. 1932. С. 143-144.
- 13 Неизданный Достоевский. Литературное наследство. Т. 83. М. 1971. С. 602.
- 14 Успенский Г. Собр. соч. в 9 томах. М. 1956. Т. 9. С. 60-69.
- 15 Лемке М. Очерки по истории журналистики и цензуры XIX столетия. СПб. 1904. С. 47.
- 16 Роман Ст. Бржозовского "Зарево" цитируется по русскому переводу 1923 г. (изд-во "Всемирная литература"). Автор его располагал широкими связями среди польских революционеров. Сведения о провокаторской деятельности С. Бржозовского в период после 1905 г., о которых писал автор предисловия к русскому изданию Е. Колосов, позднее были опровергнуты. См: Кон Ф. За пятьдесят лет. М. 1932. Т. 2. С. 208.
- 17 Литературное наследство. Т. 76. С. 250.
- 18 Революционное движение 1860-х годов. М. 1932. С. 139.
- 19 Троицкий Н.А. Дело нечаевцев. В сб. "Освободительное движение в России", вып. 4, Саратов, 1975. Основные положения этой статьи воспроизведены автором в книге "Царские суды против революционной России". Саратов. 1976.
- 20 Довольно распространенным еще является заблуждение, что автором "Литературных заметок" в этом номере "Отечественных записок" был Н. Михайловский, т.к. подписаны они его инициалами - "Н.М." Однако, как доказал еще в 1949 г. В. Евгеньев-Максимов, заметки принадлежат перу Г. Елисеева. Этот вывод был сделан по гонорарным ведомостям журнала, подписанным Н. Некрасовым (см. "Литературное наследство", т.т.53-54, с. 327).
- 21 Сборник "Памяти Н.И.Стороженко". М. 1909. С. 57. Автор этих воспоминаний - почетный академик, театровед Алексей Николаевич Веселовский (а не Александр Николаевич, как ошибочно указал в своей книге В. Базанов). Последний, родной брат автора воспоминаний, крупнейший русский литературовед и фольклорист, тоже был знаком с Прыжовым в годы своей молодости. В письмах из Петровского Завода Прыжов передавал "поклоны" ему и его жене.



РЯДОМ С НЕЧАЕВЫМ

"Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха!"
"Бесы"

Год 1869-й начался в России «распутно и мокро», как заметил один современник. 1 В январе в Петербурге по Невскому ездил на дрожках. Туман и дождь вместо ядерных морозов - к этому еще не привыкли. Смутные, «бесовские» события этого года, закончившиеся мрачной драмой 21 ноября, словно перекликались со свихнувшейся погодой. Суеверным людям этого было достаточно. Но здравые умы стремились найти более глубокое объяснение случившемуся и искали его в другой погоде - политической...

Кончались шестидесятые годы - время великих реформ, великих чаяний и столь же великих разочарований. Позднее, в ссылке, наш герой не раз вспомнит эти годы и не раз с горечью процитирует показавшуюся ему очень точной фразу:

«Оглядываясь на это странное время, можно только удивляться той необузданности надежд, которой мы тогда были преисполнены».

И патетически добавит (опять же с цитатами):

«...Тогда каждый встречный на улице подходил к вам и говорил:

*Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало!*

Солнце встало, потом солнце село. Совы и филины замахали крыльями и затянули свою мрачную похоронную песню. Наступали убийственные времена,

*Когда свободно рыскал зверь,
А человек ходил пугливо...»2*

- Слишком мрачный взгляд на эпоху! - не преминет заметить кто-нибудь из сегодняшних ретропочитателей российской монархии и Царя-Освободителя. - Отменено крепостное право, страна двинулась вперед, и шла бы - шла, если бы не мешали разные Чернышевские-Петрашевские, Герцены-Искандеры и прочие Серно-Соловьевичи. От них все и пошло...

Другие знатоки - почитатели Хайека и классической политэкономии - не забудут сказать про благотворность капитализации, пусть и неполноценной, «азиатской», в отсталой стране. «А все теории уравнительного социализма (читай: коммунизма) появились в России именно тогда, - добавят они. - Это исторический факт».

С первыми спорить бесполезно. А со вторыми, пожалуй, невозможно. Ибо политэкономия - штука более серьезная, чем любая политика. Первые ее уроки русская молодежь тех самых шестидесятых годов брала, мы знаем, не у предшественника Хайека англичанина Джона Стюарта Милля, а у его русского переводчика и комментатора Николая Гавриловича Чернышевского. Это азбука: его «Примечания к Миллю» (как и работы Герцена о русской общине - «ячейке» социализма и о «мещанстве» Запада) были настольными книгами у «штурманов грядущей бури».

Бедные Николай Гаврилович и Александр Иванович! Знали бы они, что с ними сделают потом Владимир Ильич и весь коммунистический агитпроп! Конечно, грешны

они оба перед историей - слишком увлекались социальными мечтаниями, но ведь и суждений очень здравых у них было ой как много! Почему же здоровое - отсекали, а за мечтания - уцепились? Может, мечтания ближе сердцу русского человека?

Но это слишком сложный вопрос. А меня давно другое занимает: почему российские правители - тот же Александр II или, раньше, Николай I - не дали испробовать на практике эти новейшие теории? Еще свеженькими, так сказать. Не в масштабах страны, разумеется, а в масштабах отдельной деревни-общины или фабрики-коммуны. Ведь тот же Милль, горячий поборник свободного рынка, между прочим, писал в 1851 году, а Чернышевский с увлечением переводил десять лет спустя:

«Относительно фурьеризма, как и относительно всех других видов социализма надобно желать, чтобы они получили возможность проверки на опыте, чего они справедливо требуют».

Почему французские и английские власти дали возможность Фурье и Оуэну поэкспериментировать с фаланстерами и Нью-Ленарками, а наши - нет? Почему Достоевского с петрашевцами за одну только мысль о фаланстере - в Сибирь, и Чернышевского за «вредные идеи» - туда же? А, допустим, дали бы мечтателям по швейной мастерской или фабрике с людьми, поставили бы туда статистиков и посчитали бы через некоторое время, какую производительность дает в России «свободный труд свободно собравшихся людей». Может, никому и не захотелось бы больше мечтать о самом справедливом обществе и пытаться строить его?..

Конечно, это фантазия, утопия наоборот. Но дерзать ее в уме все-таки надо, думая о «странной», обманчивой эпохе 1860-х годов.

Не кто иной, как министр внутренних дел граф П. Валуев писал тогда в своем тайном дневнике:

«Уважение к свободе совести, к личной свободе, к чувству приличий нам совершенно чуждо. Мы ссылаем десятки тысяч людей, позволяем бранить изменю провяления человеческого чувства, душам вместо того, чтобы управлять. Мы - смесь Тохтамышей с герцогом Альба. И мы толкуем о величии России и о православии!...»3

Это признание, впрочем, не мешало министру душить лучшие русские журналы и запрещать книги: фигура его, «лавирующего раба-администратора», по точному определению одного историка, тоже характерна для эпохи. Именно Валуев и ему подобные усердно помогали самодержавию сооружать ту «глухую стену», в которую, по словам Щедрина, уперлось благонамеренное русское общество, желавшее добра отечеству.

Правительственный террор, начавшийся по пожарной команде «Туши!» - с петербургских пожаров лета 1862 года, списанных без разбора на «социалистов», резко усилился в 1866-м, после «безумного» (определение Герцена) выстрела мрачного фанатика Д. Каракозова в Александра II. Обыденным явлением отныне стал арест человека за «подозрительную наружность».

На эту тему есть множество свидетельств, и ради новизны и близости к теме я приведу то, что обнаружил в архиве одного из друзей Прыжова. Это письмо к А. Веселовскому от Н. Стороженко (в ту пору молодого преподавателя гимназии):

«Теперь вся Москва в движении; на площадях каждый день служат молебны, бесчисленные процессии тянутся по городу, распевая «Боже, царя храни!»... Известие о том, что человек, покушавшийся на жизнь государя, дворянин и студент Московского университета, произвело очень тяжелое впечатление. Боятся, чтобы правительство не повернуло к реакции. Теперь производится следствие по этому делу,

и уж многие арестованы. На днях несколько пьяных мужиков встретили на улице Рассадина и заставили его кричать с ними «ура!» Угрожали его избить, если он этого не сделает».

И еще дописка, особенно интересная для нас:

«Сейчас ввалился ко мне Прыжов и, узнав, что я пишу к Вам, просил передать Вам свой поклон». 4

«Ввалился» - вошел грузно, с шумом, с новостями. Было что рассказать: эти процессии, тянувшиеся по городу, видел и он, а от участии Ивана Рассадина, их общего приятеля, учителя географии, его спасла, видимо, только одежда - «рубище», которое он обычно надевал в своих «хождениях в народ» (таким же образом поступал впоследствии Вл. Гиляровский - Прыжов был его предшественником в изучении «дна» Москвы).

Между прочим, об этом же моменте, после выстрела Каракозова, вспоминал и сам Прыжов в тюремной «Исповеди»:

«Когда народ, помолвившись за царя на Красной площади и опьяненный молитвой, пеньем и музыкой, растерзав на клочки штук пять жуликов, возвращался назад - тогда же, с тридцатитысячной толпой, которая оканчивала день в харчевнях, шел и Прыжов. Он им почему-то казался своим - чужому была бы беда».

Конечно, не солидарность с умиленным «народным чувством» по поводу спасения царя влекла Ивана Гавриловича в толпу. Но и солидарности с выстрелом психически ненормального Каракозова у него не было. Не случайно и цареубийство 1 марта 1881 года он в ссылке назовет «катастрофой». И недаром в той же «Исповеди» он писал: «Современные радикалы скоро перещегооляют Неронов»...

Почти теми же словами - что очень показательно - отзывался об этих новых российских явлениях и Герцен.

1869-й - последний полный год жизни великого революционера и мыслителя (будем верны исторической справедливости - Герцен никогда не окажется ниже этих определений). В том, что именно этот год оказался его последним годом, есть своя трагическая символика. К концу жизни он, знавший прежде только оголтелую травлю **справа**, в полной мере познает, что такое травля **слева**. Резко осложняются его отношения не только с молодыми эмигрантами, «Собакевичами нигилизма», как он их называет, но и со старыми друзьями - Н. Огаревым и М. Бакуниным.

«Они наделают страшных бед», - пишет он уже почти в бессилии, незадолго перед тем, как лечь на смертный одр и упокоится в вечнозеленой Ницце.

Как предупреждение это оказалось никем не услышанным. Как предвидение - к великому несчастью, сбылось абсолютно точно и непоправимо.

«Они» - относилось к троице: Бакунину, Огареву и их новому другу - молодому человеку с едва проросшими усиками, во взгляде которого Герцен заметил, как говорил, «что-то суровое и дикое» и при одном упоминании имени которого приходил в ярость... 5

Он, 22-летний Сергей Нечаев, появился в Женеве в марте, бежав из Петербурга от ареста.

Всю сыскную зиму в столице было беспокойно - стали волноваться студенты, требуя элементарного - академических свобод. Полиция признавала выступления Нечаева на сходках особо дерзкими, подстрекательскими. Так оно и было, но подстрекатель все время исчезал. Зато имя его попало в газеты, а издатель «Московских ведомостей» М. Катков, с упоением игравший роль цербера при власти, посвятил ему, «учителю», «коноводу нигилистов», «поджигателю молодежи», даже

передовую статью. О такой рекламе мог только мечтать Нечаев, жаждавший славы русского Робеспьера.

Позже его стали сравнивать с совсем другим героем - Хлестаковым. Но ни то, ни другое не определяло его истинного лица. Диктаторские замашки и постоянные разговоры об «искупительной крови» и резне - это ведь еще не Робеспьер. А выдавание себя за вождя «молодой революционной России» - куда как далеко от безобидной роли Хлестакова.

Одно верно: ложь, вероломство, мистификации, демагогия сопровождали буквально **каждый** шаг Нечаева.

Это кажется невероятным, фантастическим, но дело было именно так. Об этом почему-то забывали те, кто впоследствии пытался его не только оправдать, но и возвести на пьедестал.

...Уже больше ста лет длится разгадка феномена Нечаева. Ни одна из персон революционной истории не вызывала столько споров (хотя спорить, на мой взгляд, было особенно не о чем). Чтобы не повторяться, буду пользоваться менее известными фактами - они помогут лучше разобраться в секретах нечаевской «магии», коснувшейся и Прыжова.

Прежде всего незаслуженно забыто тонкое замечание А. Суворина - в ту пору молодого либерального публициста:

«На Руси самозванству всегда везло... В самозванстве - вся тайна успеха этого маленького героя».6

Подобные ассоциации возникали и у других русских людей, угадывавших в нечаевской истории отголосок старой национальной традиции. Недаром Достоевский в черновых тетрадах к «Бесам» именовал Петра Верховенского Самозванцем. Недаром и Прыжов называл свое время «Смутным» и часто вспоминал в эти годы знаменитую пушкинскую драму.

Многое роднит Нечаева с его далеким историческим предшественником: создание легенды вокруг собственного имени, бегство за границу, возвращение под новым знаменем... Колоритнее всего, пожалуй, такое совпадение: подобно монастырскому послушнику Григорию Отрепьеву Нечаев созрел для своих авантур под церковной сенью - в 1867-1868 годах он служил учителем **закона Божия** в одном из петербургских приходских училищ (будучи одновременно вольнослушателем университета).

Правда, в Бога он не верил - ни в православного, ни в какого другого. Но это скорее общая черта поколения середины века, нежели одного Нечаева. Его личным и неповторимым в данном случае можно считать лишь поразительный цинизм. Как бы то ни было, корень «вседозволенности» Нечаева, конечно же, не в атеизме или нигилизме, но тогдашней терминологии.

Среди тех, кто придерживался этой здоровой точки зрения, был, между прочим, Николай Семенович Лесков, большой знаток нигилизма. Обмениваясь мнениями о нечаевском деле с Сувориным, он писал:

«Я не думаю, что мошенничество непосредственно вытекло из нигилизма. Я думаю и убежден, что мошенничество примкнуло к нигилизму, и именно в той самой мере, в какой оно примыкало и примыкает к идеализму, к богословию и к патриотизму».7

Золотые слова! Их бы выбить на скрижалях отечественной истории, добавив сюда и другие «измы», включая последний - коммунизм. Тем более, что он так тесно связан у нас с Нечаевым...

И все же назвать Нечаева только политическим мошенником будет, пожалуй, слишком мягко. И «маленький герой», по Суворину, - тоже не вполне точно. Нечаев был по-своему крупной фигурой: он близок самым значительным и самым мрачным из тех исторических фигур, чей способ действий взял за образец, - отцов-иезуитов...

Как же могли проникнуть постулаты средневекового испанского ордена в голову сына маляра из захолустного российского села Иванова-Вознесенского, «мещанина города Шуи», как он именовался во всех судебных документах?

Вопрос этот интересовал многих современников. Но они могли строить только догадки. Сравнительно недавно обнаружены и введены в научный оборот рукописные воспоминания Г. Енишерлова - одного из участников студенческих волнений 1869 года, учившегося тогда в Петербургском технологическом институте. Они необычайно интересны со всех точек зрения - и по своему подноготтно-исповедальному, а la Достоевский, характеру, и по новым подробностям о Нечаеве, и по яркой картине умонастроений молодежи того времени.

Енишерлов, судя по его откровениям, был своеобразным двойником и претечей Нечаева. Именно он первым «додумался» до приложения идей иезуитов к политической борьбе. Будучи еще гимназистом в Харькове, он пришел к заключению, что следует придерживаться принципа: «Против силы - насилие, против неправды - ложь, против интриг и козней - система Лойолы». Эта логика в дальнейшем привела его к выводу о том, что «абсолютной честности нет, а есть лишь партийная».

Среди петербургских студентов провинциальный гимназист не нашел никого, кто бы заинтересовался его идеями. Лишь познакомявшись с Нечаевым в 1868 году, он обрел единомышленника. Когда в одной из полуночных бесед Енишерлов изложил свою «систему», Нечаев сразу горячо ухватился за нее, воскликнув:

«Именно иезуитчины-то нам до сих пор и не доставало; спасибо, вы додумались и сказали. Я - ваш!»

Эта ситуация может показаться неправдоподобной - столь «по-детски» она проста. Но мемуары Енишерлова вполне достоверны - он тоже привлекался по нечаевскому делу и действительно сыграл заметную роль в возникновении того, что стало называться «нечаевщиной».

По крайней мере, этот гомункулос зародился не в пробирке западных алхимиков революции, а на родной отечественной почве. Как тут снова не вспомнить Достоевского с его «русскими мальчиками», в спорах которых зарождались гремучие смеси истории! Но Енишерлов вскоре прозрел, поняв, что Нечаев не на шутку взялся за его идею. С момента своего прозрения он страстно возненавидел своего визави и даже хотел его убить (но тот к тому времени уже скрылся за границу, а Енишерлов был арестован III отделением за участие в сходках).

«Все, кто - сознательно или бессознательно - способствовали созданию этого Квазимодо, виновны перед Россией, и я в их числе не последний», - писал автор этих уникальных мемуаров.

Разумеется, было бы наивно считать Нечаева лишь плагиатором. Склонность к обману, к авантюризму у него была всегда.* Готовность, с которой он ухватился за теорию своего знакомого, ярко подчеркивает это. Можно сказать, что Енишерлов помог только оформлению идей, обуревавших Нечаева, подсказал источник.

* Вопрос о патологическом в характере Нечаева требует, конечно, специальных исследований. Тем не менее, его поступки дают основание полагать, что он был подвержен какой-либо из «тапия» (величия, обмана, преследования, разрушения?). Во всяком случае, чувство реальности

А он был легкодоступным.

В том же 1868 году петербургский издатель М. Вольф выпустил книгу немецкого ученого Т. Гризингера «Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени». Книга пользовалась большим спросом - это было практически первое в России издание о таинственном ордене.

Можно домыслить - зная, что Нечаев все схватывал буквально на лету - такую картину: наутро после разговора с Епишерловым он побегал в библиотеку и, взяв эту книгу, стал с жадностью читать. Во всяком случае это произошло вскоре - Нечаев подробно изучил книгу Гризингера и прочно запомнил основные правила «Общества Иисусова», изложенные в ней. Об этом можно говорить с полной определенностью, поскольку тут есть прямое свидетельство.

«... Еще прежде я рассуждал с ним об этом - можно ли достигнуть хороших целей дурными средствами? Как пробуждать любовь в людях, возбуждая их ненависть? Рядом обманов - достичь правды? Путем войны - добиться мира? Человек свыкнется с обманом и станет обманывать даже тогда, когда в этом не будет никакой надобности... Нечаев на это отвечал: - А теперь разве не все обманывают друг друга, и это делается ради корыстных, личных и мелких целей. И теперь разве не гибнут сотни и тысячи людей в угоду отдельных личностей с их целями, и целями свекорыстными?»

Этот разговор был по поводу, кажется, того, что он взял у меня «Историю иезуитов» Гризингера и пустил ее для чтения в Академию - причем, конечно, он имел в виду отношение к иезуитам не гризингеровское, а самих иезуитов, - одним словом, он хотел обман и т.п. бедствия возвести в систему...» (выделено мной - В. Е.).

Все это - из следственных показаний П. Успенского о событиях, относящихся к осени того же года.9

Легко убедиться, что Нечаев за это время весьма поднатюпел в демагогии - основном инструменте учения иезуитов. Более того, наглядно видно, что он стал безоговорочным прозелитом этого учения. Использование книги Гризингера в качестве пропаганды «бунтарских» идей не столь уж абсурдно, как может показаться. Пуская эту книгу в Петровскую академию, Нечаев, вероятно, рассчитывал на то, что ее молодые читатели обратят внимание на искусовые наставления отцов ордена, приводившиеся (и осуждавшиеся) добропорядочным немецким ученым:

«Всякий подданный имеет право убить государя, который овладел престолом хищнически, и история показывает, что у всех наций убийцам подобных тиранов воздавались величайшие почести»; «человека можно убить, если того требует общее благо и личная безопасность...»

Все, в том числе последнее, было понято Нечаевым буквально - в этом убедит день 21 ноября, грот академии.

Но прежде он успеет пройти страшный разрушительный путь, прокладывая его себе с холодной последовательностью маньяка. Проследим этот путь, который ярко иллюстрирует главную мысль Гризингера:

часто покидало его. Судя по многим данным, Нечаев обладал не только силой внушения (суггестивностью), но и в какой-то мере гипнотическими качествами. Жена одного из его противников, М. Негрескула (она была дочерью одного из крупнейших деятелей народничества П. Лаврова) писала о своей встрече с Нечаевым: «Страх, животный страх охватил меня железными клещами... Через 40 лет я помню его глаза и понимаю, что люди могли рабски подчиняться ему». (Цит. по статье Б. Козьмина «С.Г. Нечаев и его противники в 1868-1869 г.г.» в сборнике «Революционное движение 1860-х годов». М. 1932).

«...Им нужен был рычаг, действующий на души, и в людской склонности к легионерии они нашли самое могущественное для себя оружие...»

Как и члены ордена Игнатия Лойолы, Нечаев очень умело выбирал жертвы. Кто прежде всего попадал под его влияние? Идеалисты, люди с открытой, доверчивой душой, непрактичные, увлекающиеся (мы в этом убедимся много раз, в том числе на примере Прыжова). И не случайно первым, к кому явился Нечаев в Женеве, был поэт Николай Платонович Огарев.

Эта страница стала темным пятном в биографии поэта-революционера, человека исключительной нравственной чистоты. Современный историк справедливо отмечает, что сближение с Нечаевым было «серьезным срывом» Огарева, знаменовало собой «регресс его политической мысли». ¹⁰ Но надо не забывать, что решающую роль здесь сыграли инквизиторские приемы Нечаева.

Оторванный от России уже почти пятнадцать лет, неприкаянный в жизни, «большой ребенок», каким считал его Герцен, Огарев с первого слова поверил Нечаеву. Трудно было не поверить, ибо по паспорту (одному из двух, взятых за границу), это был тот самый, собственной персоной, герой студенческих шухов, «коновод» и «поджигатель», о котором писали «Московские ведомости».

«- Россия близка к революции. Вы ничего не знаете о ней здесь. Газеты врут. Давно уже не одни студенты бунтуют - народ подымается. В Архангельской губернии 600 тысяч крестьян с голода взбунтовались. Пол-губернии! На Петербург хотели идти, но солдаты помешали. Сведения надежные - у нас там свои люди есть», - не моргнув глазом, врал Нечаев.

Огарев верил. Писал Герцену (повторяя, надо полагать, сенсационную «новость» Нечаева):

«Заметь, пол-губернии поднялось! И это не одно место, а так происходит повсюду». ¹¹

Даже III отделение, внимательнейшим образом следившее за порядком в империи, не отмечало в своих отчетах ни малейшего следа крестьянских волнений в Архангельской губернии в 1868-1869 годах, хотя эти годы были действительно неурожайными. Со стороны Нечаева тут был чистейший обман, или, говоря современным языком, - деза, политическая дезинформация. Между тем, Огарев настолько доверился «внучку» (так он стал называть Нечаева), что вскоре написал и напечатал стихотворное воззвание-песню «Гой, ребята, люди русские!», где были строки:

«Подымались под Архангельском

Мы от голоду от великого,

*В Питер-город шли шестьсот тысячней...»**

Герцен отнесся скептически к «голосу из России», переданному Огаревым. Он еще в 1862 году писал:

«Пока земля **фактически** за ним, народ не подымется. Для народа подняться трудно, это не риск своим лицом, не каторга, не палачи, а полное разорение семьи, невспаханное поле, голодные дети... А потому оставьте революционную риторику и займитесь делом» (знаменитая статья «Журналисты и террористы», о которую сломало зубы не одно поколение радикалов).

Но Огарев, забыв об этом старом совете друга и не внимая советам и предостережениям новым, приблизил к себе Нечаева и познакомил его с Бакуниным.

*Советские литературоведы до того полюбили революционный элемент в поэзии Огарева, что включали эту песню во все издания его стихов, умалчивая о происхождении. Чистый сюрреализм!

Тот встретил «вождя молодой России» с распростертыми объятиями, восхитившись его смелостью и энергией. «Малый» (так ласково именовал Нечаева старый бунтарь-громовержец, **поэт в политике**, если не сказать жестче), проповедовал то, о чем он сам давно мечтал - новую пугачевщину. К тому же «малый» сообщил ему одну сенсационную новость: в России действует широкая сеть конспиративных кружков. Есть их адреса, есть и адреса колеблющихся - Нечаев показал свою записную книжку.

Вскоре из Европы в Россию хлынул целый поток писем и прокламаций. Письма писал Нечаев, прокламации составлял он вместе с Бакуниным. Все это запечатывалось в пакеты и посылалось по адресам из записной книжки. Зачем? Чтобы «всколыхнуть и разжечь народ», а может, чтобы запугать правительство? Вероятно, так считал Бакунин. Но со стороны Нечаева это была чудовищная провокация. Цель ее с трудом поддается объяснению (хотя мотивы, довольно рациональные, открылись).

Он прекрасно знал, что вся заграничная почта в России перлюстрируется. Только за лето 1869 года на одном петербургском почтамте было задержано 560 пакетов из Европы, адресованных 387 лицам! Это были все, без разбора, люди, которых хоть мало-мальски знал или о которых что-либо слышал до своего бегства за границу Нечаев, заноса их имена и адреса в свой кондуит. Их сразу приглашали в полицию, допрашивали, производили обыски. Многих отпускали, т.к. они отрещивались от всяких связей с Нечаевым и имели тогда доказательства. Но некоторых арестовывали, и это стоило им ломки судьбы, а иногда и жизни.

«Наводнил всю Россию прокламациями», - жаловались жандармские чиновники, знавшие уже по конвертам и почерк Нечаева. Они не скрывали радости по поводу неожиданной услуги, оказанной сверхбойким заграничным корреспондентом.

Когда впоследствии одна из швейцарских газет писала, что «никакой платный агент не смог бы причинить больше вреда», имелась в виду, очевидно, и эта акция Нечаева. Один из ее мотивов: он хотел во что бы то ни стало упрочить свою репутацию «вождя» в России. Женевский адрес и его подпись рядом с подписью Бакунина должны были подготовить почву для нового появления в стране.

И он появился. С мандатом от того же Бакунина, с пачками прокламаций, с зашифрованной книжечкой «Катехезиса революционера»* и со свежими оттисками стихотворения Огарева «Студент», на котором стояло посвящение: «молодому другу Нечаеву». Это стихотворение, написанное ранее, было посвящено Огаревым другому человеку - изобретателю-подвижнику, другу его и Герцена С. Астракову. Но Бакунин сумел убедить поэта, что будет «полезнее для дела», если посвящение будет заменено.

Между прочим, в стихотворении были такие строки:

*«...Но весь век **нелицемерен** (выдслсно мной - В.Е.),
Он **борьбе** остался верен...»*

Можно представить, как довольно улыбался Нечаев, читая это, и какой жестокий удар ожидал старого поэта, когда он узнал истинное лицо «внучка».

Отпечатанное в женевской типографии, это стихотворение оказывало потом магическое действие на новых знакомых Нечаева. Он заставлял их переписывать его текст и хотел даже положить его на музыку, чтобы сделать «гимном» общества. Правда, никому, кроме П. Успенского, он не открыл своего настоящего имени. Но

*Вопрос об авторстве «Катехезиса» окончательно не решен, но историки склоняются к мнению, что к его разработке причастны и Нечаев, и Бакунин. Следует заметить, что свой приоритет отстаивал и Г. Енишерлов. Как бы то ни было, окончательная литературная редакция и отделка «Катехезиса» принадлежит, очевидно, Бакунину, т.к. знавшие Нечаева говорили, что он был «не силен» в подобных вещах (в чем могут убедиться читатели, знакомые ниже с некоторыми нечаевскими текстами).

рано или поздно все его знакомые должны были сами догадаться (или узнать от Успенского), что «Павлов», «Иван Петрович», «Кинявский» «Волков», «Эллидин», - так представлялся он в разных местах - тот самый герой-мученик, который «борьбе остался верен».

Еще деталь - может быть, мелкая, но характерная. Нечаев появился из Женевы в синих очках - больших, выпуклых, скрадывавших выражение глаз. Это было ново для России: мода еще только начала распространяться. Русские люди издавна привыкли смотреть в глаза друг другу - любить или ненавидеть, но открыто. А Нечаев, наверное, понял, почему он так не понравился пронизательному Герцену, сказавшему о нем: «Змея». Глаза на всякий случай следовало спрятать - не все так доверчивы, как женеvские старцы или молодые супруги Успенские, к которым он явился в Москве.

Алексаvдре Успенской он в то время очень нравился. И даже пятьдесят лет спустя, бабушкой, она вспоминала:

«Мне было смешно, когда впоследствии приходилось слышать отзывы о нем как о суровом, мрачном фанатике или на сцене Художественного театра в драме «Ставрогин» видеть вертлявого рыжего человечка, «беса». Глупая и нелепая карикатура на Нечаева и вообще на всех нас. Нечаев был простым русским парнем, с виду похожим на рабочего, несколько пообесанного городской жизнью. Говорил он по-vlадимирски на «о» совсем просто, нисколько не выдвигая себя; он любил шутить и добродушно смеяться».¹²

Удивляться этому восприятию, оставшемуся от впечатлений 20-летней наивной барышни, не стоит: Нечаев, когда нужно, умел нравиться и улыбаться (сквозь зубы).

Жена Петра Успенского очень многого не знала - ни тогда, в 1869 году, ни позже. Но ее воспоминания стали едва ли не главным аргументом в послереволюционной реабилитации Нечаева. Святая простота!..

Тогда она твердо верила, например, что Нечаев совершил геройский побег из Петропавловской крепости, откуда еще никто не убегал. История с этим «побегом» стала общим местом в литературе о Нечаеве-мистификаторе, и я коснусь ее лишь для того, чтобы уточнить несколько существенных деталей.

Знаменитая записка со словами: «Меня везут в крепость. Не теряйте энергии, друзья-товарищи, хлопочите обо мне. Даст бог - свидимся», якобы выброшенная Нечаевым из жандармской кареты, была адресована младшей сестре А. Успенской - Вере Засулич. Юная строгая Вера, похожая на мальчика не только короткой стрижкой, но и скрытой до поры отчаянной жертвенностью (через десять лет ей стрелять в Трепова), познакомилась с Нечаевым в Петербурге осенью 1868 года. Она была курсисткой, изучала педагогику.

При первой же встрече он, развалившись на кровати в комнате, где собрались курсистки и их знакомые студенты, изрек:

«Важнее самим-то педагогам хоть немного разбираться в жизни».

Уже знали - он вышел из рабочих низов, жизнь не по книжкам изучал, и потому возражали слабо. Дворянские сынки и дочки вздрагивали, когда он ругал «баричей». А Вера, так ждавшая, «когда же придет настоящий день», сразу поддержала его. И услышав, что он хочет произвести в России революцию (так и говорил), согласилась помогать хоть чем-нибудь.

Ей было 18. Сорок лет спустя, вспоминая об этих встречах, она не без иронии рассказала еще один эпизод.

После того, как было решено о помощи - «по рукам», Нечаев... признался ей в любви.

«Каким-то инстинктом его «полюбил» я не поверила, - вспоминала Засулич. - И позднее убедилась, что инстинкт меня не подвел. Вероятно, в некоторых случаях он признавался в любви, когда считал это нужным для дела... Тогда уже обман играл большую роль в его расчетах. «Катехезис» имел для него реальное значение 13»...

Но записку из Петропавловки она приняла, увы, за чистую правду. Легенда о побеге (через нее!) быстро распространилась среди петербургских студентов, достигла Москвы, стала одним из столпов нечаевского авторитета. Недаром П. Успенский признавался на суде: «Я думал, что и крепость уже в его распоряжении».

Доверчивость Веры (или, может быть, недоверчивость - к любовному признанию) дорого ей стоила. Вскоре, в апреле 1869 года, когда Нечаев был уже за границей, она была арестована и два года провела в Петропавловской крепости. Поводом послужило письмо от Нечаева в ее адрес, легко перехваченное жандармами.

Случайность, нарушение конспирации? Вспомним о 387 письмах, отправленных Нечаевым в столицу. И теперь приведем то «рациональное» обоснование, какое имел в виду Нечаев, задумав почтовую эпопею. Один из его тогдашних противников, а впоследствии один из апологетов (бывали такие кульбиты в истории) М. Натансон вспоминал слова Нечаева:

«Если вы хотите, чтобы из нашего студенчества вырабатывались действительные революционеры, старайтесь вести дело так, чтобы правительство возможно больше сажало их в тюрьмы, вышибало бы навсегда из школы, отправляло бы в ссылку, выбивало бы из обычной колеи. Только тогда они закалятся в своей ненависти к подлому правительству. 14»

Эти слова, как и судьбу Натансона, еще придется комментировать, но пока надо заметить, что в некоторых случаях Нечаев своей цели добивался. Именно он сделал Веру Засулич революционеркой! Ибо неизвестно, как бы сложилась ее судьба, не проводи она два года в казематах Петропавловки - может быть, и выстрела в Трепова не было бы (далее - про эмиграцию, группу «Освобождение труда», «Искру» - уже не загадываю: в почтенную российскую социал-демократию могли быть и другие дороги). Но Вера Ивановна все-таки осудила Нечаева, всю его идеологию и тактику-практику. Увы, нашлись те, кто остался ему «навсегда благодарен». Вот живая - живее некуда - нить истории...

Все это может показаться отступлением от главной темы. Но на самом деле мы лишь приблизились к ней. Ведь при знакомстве Нечаева с Прыжовым большую роль сыграло тоже заграничное письмо.

В истории этого знакомства много загадок. Вот как излагалась она в обвинительном акте:

«В сентябре 1869 года пришел утром неизвестный серб с письмом от знакомого Каравелова из Бухареста, где говорилось, что к нему, Прыжову, явится какой-то агитатор, и вместе с сербом пришло неизвестное лицо по имени Петров или Павлов, с запиской от Успенского. После некоторой беседы с Павловым последний стал приглашать его принять на себя организацию низшего класса городских населений, именно: дворников, извозчиков, почталъонов и т.д. Прыжов отказался, но тут же,

по просьбе Павлова, набросал на клочках бумаги несколько прокламаций к вольным женщинам, чиновникам и к Малороссии. Некоторые мысли одной прокламации вошли затем в напечатанную в Женеве прокламацию «До громады» *...

Массу вопросов рождает сведения, запечатленные в этом официальном документе.

Во-первых, кто такой Каравелов? Почему именно Прыжову он сообщил об «агитаторе»? Во-вторых, зачем у «Павлова» (это, ясно, Нечаев) еще и записка от Успенского? А главное, почему Иван Гаврилович, отказавшись от участия в деле, все-таки взялся за прокламации? Не странно ли: «тут же набросал»?

Обвинительный акт содержит очень много таких «странных вещей» - потому и нельзя его целиком принимать на веру.

Но разберемся сначала, кто был Прыжов в это время.

Свидетельств об участии историка в каких-либо конспиративных радикальных кружках до его встречи с Нечаевым - нет. Факт этот имеет, думаю, основополагающее значение как для оценки роли нашего героя в нечаевском обществе, так и для оценки всей его деятельности.

Несмотря на то, что во время всего предшествующего периода 60-х годов Прыжов был довольно близок различным московским вольнодумцам, к следствию по политическим делам он ни разу не привлекался и не состоял даже под надзором полиции.

Причин тому много. Начнем не с политического облика нашего героя, а, так сказать, с морального. О главной слабости автора «Истории кабаков» знали - или могли догадаться - все современники. Для какой-либо подпольной работы, требовавшей сурового аскетизма, он в связи с этим совершенно не годился. **

О взглядах Прыжова, о его своеобразной философии мы еще будем говорить, но то, что он не проявлял особой почитительности к образу российского правления, еще не выделяло его из сотен других представителей разночинной интеллигенции. Пафос обличения, которым дышат исторические работы Прыжова и его газетные статьи, тоже не был оригинален в шестидесятые годы. Во всяком случае, в общественной и литературной жизни этих лет он стоял особняком. («Скромно держался в стороне от писательских кругов», - свидетельствовал один из современников).¹⁵

Житейское положение Прыжова было более чем скромным - бедственным. В 1867 году в связи с судебной реформой была распущена московская гражданская палата, где он прослужил 14 лет, исполняя за 23 рубля в месяц две должности - регистратора и экзекутора (так по старинке называли судебных исполнителей). После этого хотел поступить на службу по ведомству народного просвещения. Несколько раз ездил в Петербург договариваться о месте, но везде получал отказ. «Народное просвещение» бдительно оберегалось. «Патриоты пихали туда только своих», - писал Прыжов в «Исповеди», имея в виду охранителей официального патриотизма.

*Обвинительный акт здесь и далее приводится по кн. «Государственные преступления в России в XIX столетии» (сборник из официальных изданий правительственных сообщений), 1903 г. Об авторе этого сборника В. Богучарском (Базилевском) и его отношении к Нечаеву см. далее, главу «Судьи и адвокаты - II».

**В истории немало примеров, когда III отделение использовало этот фактор в делах сыска. Вот один известный случай. В 1848 году, разыскивая авторов анонимного крамольного «пашквиля», шеф жандармов Л. Дубельт обратился к верному помощнику - Ф. Булгарину. Тот высказал предположение, что авторами «пашквиля» могли быть писатели Я. Бутков и Н. Некрасов. Вот какую «меру отыскания» предложил Булгарин: «Бутков и Некрасов оба любят выпить. Нельзя ли найти человека, который напоил бы их и порасспросил»... (Из разысканий П. Щеголева).

После одной из таких неудачных поездок он в отчаянии решил покончить с собой и бросился в Патриарший пруд... Злые языки так описывали эту сцену: Прыжов будто бы выехал в лодке вместе со своей любимой собакой на середину пруда и неловко бултыхнулся в воду, а будочнику, спасшему его, сказал: «Твое дело торчать при будке, а не мешать гражданам в их занятиях» (этот анекдот пересказывал в своих заметках Г. Елисеев).

Так ли оно было на самом деле, судить трудно. К этому же периоду относится его умоляющее письмо П. Бартеневу, известному историку и пушкинисту, издателю журнала «Русский архив». Прыжов писал о своей готовности «поработать для Чертковской библиотеки» (Бартенева служил также в этой библиотеке, пользовавшейся широкой популярностью в Москве):

«Буду стараться собрать в нее то, чего нет (славянского), двину вперед каталог и, если дадите времени и местечка на последних страницах «Архива», поведу подробнейшую историческую библиографию, отзываясь в двух словах на все явления и, наконец, если удастся основаться в вашей библиотеке, поставлю в нее мои книги и брошюры и все карточки со справками и заметками - пусть всякий черпает все, что нужно по всем вопросам истории русского народа...»¹⁶

Планам этим не удалось осуществиться: в Чертковской библиотеке Прыжову места не нашлось. Может быть, Бартенева смутили слова, добавленные его корреспондентом в конце письма:

«Я просил бы у Вас только одного - это вспомнить подчас, что имеете дело с человеком достаточно надорванным и достаточно побитым жизнью...»

Знакомые вскоре подыскали ему место в частной конторе железных дорог. Историк, оставив свои рукописи, сделался смотрителем работ (при его-то близорукости!) на киевской линии.

Это не могло продолжаться долго - в 1868 году он снова без службы. Чтобы иметь средства жить, решается на последний шаг - пробует продать свою библиотеку, которую собирал многие годы. Дал объявление в газеты, вел переговоры с профессорами университета. Библиотека была редкая. «Многие любовались каталогом, - писал Прыжов в «Исповеди», - но купить некому было: историческое дело на рынке стояло низко».

Продажа библиотеки связывалась с мечтой уехать за границу. На суде Прыжов прямо говорил: «Когда я еще не был знаком ни с Нечаевым, ни с Успенским, я решился ехать в Прагу, чтобы работать, и если я остался в России, то потому, что не было денег на поездку».

Прага была одним из центров славистики, и несомненно, что именно научные интересы и надежда на более свободную деятельность в первую очередь привлекали туда историка. Судя по упоминающимся в его письмах чешским фамилиям, у него имелись заочные знакомые-ученые в Праге. С некоторыми из них Прыжов мог встретиться во время Славянского съезда, проходившего в Москве в 1867 году, и обсудить вопрос о поездке. Но путешествия в Европу всегда стоили слишком дорого...

Мечтать наедине с собой - это, пожалуй, единственное, что в России никогда не запрещалось. И грезы тем слаще, чем горше действительность. Из квартиры Прыжова в Протопоповском переулке шли отчаянные письма в редакции. Посланные туда статьи залеживались. «Прошу выслать некую сумму, способную спасти человека от голодной смерти», - писал откровенно М. Стасюлевичу, редактору «Вестника Европы», в августе 1868 года.

Посылали деньги скупю. Надежды на Прагу таяли. Чтобы не видеть укоризненного и жалостливого взгляда жены, шел в библиотеку Черкесова к Успенскому...

В библиотеке, в доме на углу Тверской и Садовой, часто собиралась молодежь, студенты. Всегда тянуло Ивана Гавриловича к ним. Может, потому что у самого в свое время не получилось ни настоящего студенчества, ни кафедры (кто пустит на кафедру занку - даже в домашние учителя не возьмут, засмеют). Может - и это верно, потому что хотел хоть здесь найти понимание.

Близкие, понимающие души нашлись. Прежде всего - в лице молодого украинца Феликса Волховского, необычайно интересной и важной для предьстории нечаевского дела фигуры. Он был ближайшим другом молодости Германа Лопатина - этим сказано уже многое. Столь же многозначителен и факт сближения Волховского с Прыжовым. И то, что оба они в итоге пострадали из-за Нечаева, представляется не случайным.

Вот что говорил Волховский на процессе:

«Раньше, чем познакомился с ним лично, я знал его как большого поклонника малороссийской литературы и вообще всей Малороссии, и уже потому он меня сильно интересовал. Затем мне случилось с ним как-то встретиться на поминках Шевченки. Тогда он мне не был представлен, а представлен в магазине (Черкесова - В. Е.) кем-то из моих знакомых малороссов. А бывал он в магазине довольно часто, потому что он был без занятий и старался где-нибудь убить время, а так как он человек, которого литература интересует всего ближе, то он постоянно, что называется, толкался в магазине».¹⁷

Имеются данные, что встречались они и раньше, в 1867 году, и эти контакты были связаны с «Рублевым обществом» - кружком, у истоков которого стояли Волховский и Лопатин. («На заседаниях кружка присутствовал иногда Прыжов», - отмечал, например, В. Базанов).

«Рублевое общество» было отнюдь не заговорщической организацией. В своем замысле оно представляло кружок «странствующих учителей», члены которого и сочувствующие ему должны были внести первоначальный взнос - рубль серебром (осюда и название). Общество мыслилось полулегальным, с официальным статусом просветительско-этнографического, который прикрывал бы иные, чуть дальше идущие планы. Г. Лопатин писал впоследствии:

«Сложилось оно по почину Ф. Волховского и имело поначалу очень скромные цели: некоторое число юношей, жаждавших «уплатить долг народу», собирались стать кочующими сельскими учителями (нечто вроде позднейших передвижных земских школ). В качестве как бы развлечения они должны были беседовать со взрослыми на исторические и политические темы, читая при этом подходящие **легальные книжки**».¹⁸

Лопатин не случайно подчеркнул слово «легальные» - устроители общества прекрасно отдавали себе отчет в опасности да и неразумности иных действий в те годы. «Единственный нелегальный пункт в нашей программе, - писал Лопатин, - собиране фактов, наблюдений и опытов по поводу того, насколько наш простой народ доступен антиправительственной пропаганде - так как этот вопрос был в то время очень спорным для нас». (Лопатин не зря назвал народ «сфинксом» - слово с тех пор стало крылатым).

Это было одно из тех дел, которые рекомендовал, вместо риторики, Герцен. Реализм этой программы не может не вызывать симпатий. Он особенно отчетливо виден в сопоставлении с бакунинско-нечаевскими прожектами. Но «Рублевое общество» распалось в самом зародыше - из-за массовых арестов.

Прыжов, на мой взгляд, не мог не симпатизировать идее этого общества. Ведь она в главных чертах совпадала с его собственной, годами проверенной практикой, о которой он писал в «Исповеди» - учить народ и учиться у него самому. Пожалуй, осуществившись эта идея, он отдал бы ради нее свой последний рубль...

Этот экскурс - вовсе не в сторону от темы. Известно, что Волховский был одним из главных оппонентов Нечаева, громко заявившего о себе в Петербурге. На совместных сходках студентов в столице, куда приезжал Волховский, он постоянно выступал с осуждением нечаевской тактики заговора. Выразительным дополнением к этой теме, подробно освещенной в свое время Б. Козьминным, может служить свидетельство Г. Енишерлова:

«Это было незадолго до Нового года, когда явилась, наконец, долгожданная московская делегация с Феликсом Волховским во главе. Москвичи спрашивали: чего хочет Петербург и куда идет?»

В прекрасно разработанной литературной речи Волховский, к моему изумлению, развивал взгляды, доказывая несвоевременность всякого демонстративного движения именно в настоящее время. Он умолял студентов поступиться своими требованиями и по крайней мере предьявить их в более мягкой, легальной форме.

Тогда Нечаев скинул, наконец, свою маску. Он отвечал ему в таких несдержанно резких выражениях, что я заметил после его речи:

- Так говорить на общих сходках, где никто не знает всех присутствующих, - значит, скликать ищеек III отделения...

Он подошел к самому лицу моему и спросил: «А хотя бы? Пусть видят, что мы - не манная каша!»¹⁹

Все это можно было бы счесть ребячеством, особенно «манную кашу», если бы не последствия.

Подобно другим противникам Нечаева Волховский был убран с пути провокационными прокламациями, присланными из-за границы. Причем, при неожиданном обыске в апреле 1869 года на его квартире была найдена программа нечаевского кружка - та, против которой он так решительно выступал. Это не единственный злой парадокс: Волховский еще и стал обвиняемым на процессе, носившем название нечаевского. А два года, проведенные в одиночной камере Петропавловской крепости, стоили ему седины и почти полной потери слуха...*

Потерял последнего, кажется, надежного товарища и Прыжов. Было отчего опустить руки. Но и в этот трудный момент историк был далек от отчаяния.

Установлено, что летом 1869 года он не раз бывал в Кунцеве, в имении своего давнего знакомого, покровителя московских литераторов К. Солдатенкова.²⁰ Факт этот подтверждается рядом интересных документов.

В отделе рукописей РГБ хранятся письмо Прыжова к художнику В. Раеву и написанная им же - очевидно, по просьбе и со слов Раева - автобиография последнего.

Письмо лаконичное, сугубо деловое:

«Многоуважаемый Василий Егорович.

* После этого Волховский провел почти двадцать лет (!) в тюрьмах и ссылках Сибири. Блестяще талантливый человек, поэт, переводчик, еще до Бунина переводивший Лонгфелло, он обладал поразительной жизнестойкостью. Посетивший его в Томске в 1885 году Дж. Кеннан писал: "Пусть царь посылает таких людей, как Волховский, в Сибирь или заключает их в неприступные казематы, - но придет время, когда имена этих людей будут записаны золотыми буквами в летописях родной земли"... Увы, до "золотых букв" не дошло - советская историография обошла стороной Волховского по причине его эсерства, а ныне эсеры тем более не в почете....

Еще раз переписал вашу автобиографию; потрудитесь прочесть ее, исправить, что должно, и отдать Ване для переписки.

Прыжов.

P.S. Когда будет переписана ваша автобиография, то подпишите под ней ваше звание, имя, отчество и фамилию и посылайте с Богом».21

Письмо без даты, но зато есть дата на последнем листе автобиографии Раева - 15 июля 1869 года - и есть почтовая квитанция, приложенная к этим бумагам, на которой обозначен август того же года.

По сути дела перед нами последнее письмо Прыжова перед встречей с Нечаевым. И без комментария здесь не обойтись.

В. Е. Раев (1807-1870 г.г.) как художник сегодня основательно забыт. Только искусствоведы, пожалуй, знают, что он участвовал в росписи Исаакиевского собора. По происхождению крестьянин, Раев был одним из учеников школы Венецианова, а в дальнейшем стал известен как мозаичист, получив за это звание «академика живописи». В 1854 году, попав в немилость, он оказался без работы и был взят под кровительство Солдатенковым. Раев постоянно жил в Кунцеве, где заведовал картинной галереей хозяина и выполнял его заказы.

Судя по всему, Прыжова связывала с Раевым давняя дружба. Очевидно, и раньше историку приходилось оказывать услуги «по письменной части» престарелому художнику. Не случайно автобиография Раева (предназначенная, вероятно, для каких-то нужд в Академию художеств) написана с большой любовью и старанием.

«Одинокий в целом мире, без семьи, без близких людей, я нашел в доме К. Т. Солдатенкова и семью, и любовь, и, вполне обеспеченный, живу теперь словно у Христа за пазушкой, оканчиваю эскиз с сюжетом из сказки «Ковер-Самолет», - так лирично заканчивается этот официальный документ.

Во всем этом чувствуется характер составителя биографии - Прыжова, его теплота по отношению к одинокому, больному художнику.

Не отразились ли на скорой кончине Раева - через год - известия о несчастьях, свалившихся на голову его недавнего помощника?

Как бы то ни было, этот эпизод биографии Прыжова исключительно важен. Он говорит о сугубо «мирных» его настроениях и занятиях накануне встречи с Нечаевым. Трудно, невозможно представить, что той же рукой, что писала о сказочном ковресамолете, всего через полтора месяца будут написаны грозные прокламации, да еще к «вольным женщинам» и к чиновникам! Из всех доказательств, что Прыжов не писал таких, это, пожалуй, будет самым весомым...

Впрочем, мы забежали вперед.

Первым, к кому явился Нечаев в Москве в начале сентября, был Петр Успенский. В этом, как и во всем другом, виден заранее обдуманый ход.

Еще в марте, по пути за границу, Нечаев имел случай коротко сойтись с Успенским (через своего земляка, учителя В. Орлова) и сумел заинтриговать его рассказами о своих петербургских «подвигах». При этом решающее значение, как объяснял потом Успенский, для него имело то, что Нечаев удостоился славы быть упомянутым в «Московских ведомостях». Полагая, что имеет дело с подлинным героем, он не скрыл своего восхищения...

Петр Успенский был светлой, гуманной личностью. Но ему тоже - пожалуй, даже еще больше, чем Прыжову, - пришлось испытать на себе мощную силу предубеждений. Оказавшись в незавидной роли правой руки Нечаева и поверенного в его делах, он должен был - в глазах многих непосвященных - полной мерой разделить с ним

ответственность за все случившееся. Однако, мнение о нем как о «прозелите» и «адепте» Нечаева нуждается в серьезных коррективах. И тем более неправомерно откровенно уничижительное изображение Успенского, какое присутствует в романе Ю. Давыдова. («Похож то ли на опричника, то ли на ушкуйника», - пишет о нем автор, перенося личные впечатления от фотографии «нечаевца» - чернородого, мрачноватого, в вышитой русской рубахе - на его внутреннюю суть...)

Успенский обладал достаточно сложным характером. Вот что писала хорошо знавшая его через свою сестру В. Засулич:

«Он был застенчив и от застенчивости держал себя ложно причудливо. Только перед немногими близкими друзьями он выказывал во всем блеске свой оригинальный ум, насмешливый и вместе склонный к ужасной идеализации».

Последнее объясняется просто - Успенскому было всего 22 года.

Студент, вынужденный оставить университет «по недостатку средств» (отец его, дворянин, крупный нижегородский чиновник, опустился, вел разгульный образ жизни и не помогал сыну), Успенский серьезно занимался самообразованием. Та же Засулич вспоминала, что «он был страстный читатель, не пропускал ни одной книги». И, наверное, не случайно на нем остановил свой выбор видный московский книготорговец А. Черкесов, доверивший ему заведование магазином и библиотекой в самом центре Москвы.

По воспоминаниям жены, Успенский вместе с Ф. Волховским руководил чтением студентов, приходивших в библиотеку, и возглавлял кружок «саморазвития». Среди литературы, пользовавшейся в этом кружке наибольшим вниманием, по ее же свидетельству, были статьи Чернышевского из «Современника», «Исторические письма» Миртова и «Колокол», который доставал откуда-то Успенский.

Имена и названия типичны для интересов народников первого поколения. Главенствующей идеей этой литературы, особенно позднего герценовского «Колокола», было не скороспелое бунтарство, а просветительство - то, что отразилось в программе «Рублевого общества».

Успенский, тесно общавшийся с Волховским, не мог не знать этой программы. Судя по его следственным показаниям, написанным собственноручно (а они, подобно «Исповеди» Прыжова, предельно откровенны и, по справедливому замечанию исследователя, заслуживают абсолютного доверия как источник), 22 он придерживался аналогичных взглядов.

Успенский писал, что ему «лично были более симпатичны два пути развития народных масс: путь ассоциаций, то есть развития экономической стороны, и путь школы - развития образования; Нечаев же считал плодотворным только один путь - путь развития ненависти в народе». 23

Как же все-таки могло получиться, что сторонник Волховского столь быстро перешел под влияние его противника?

Прежде всего сказалось, очевидно, отсутствие в этот момент Волховского (он был уже арестован): он бы никогда не позволил своим знакомым поддаться на удочку мнимого «вождя».

Бесспорно, огромную роль сыграли хитроумные козни Нечаева и его демагогическая логика. («Мне никогда не приходило в голову, что человек может так нагло врать», - признавался Успенский на следствии).

Бесспорно, сказались и свойства природы Успенского - мягкость, уступчивость и отвлеченный склад ума. («Много мыслей прошло через мою голову, о регулировании

же их посредством жизни я пришел уже во время заключения», - признание очень красноречивое).

Но решающее значение имело все же другое. Вот что говорил по этому поводу сам Успенский на процессе, где он был главным обвиняемым:

«...Я могу назвать 100-150 своих знакомых, сосланных на каторгу или на поселение, или высланных в административном порядке. 15 мая была арестована моя сестра, 15-летняя девушка. Ее поместили в Арбатскую часть, затем перевели в Петропавловскую крепость, где она просидела 9 месяцев. Между тем я знал, что арест ее совершенно незаконный, что нет никаких причин подозревать ее в чем-нибудь. Затем другая моя знакомая девушка Антонова, больная, лежавшая в горячке, была посажена в одно помещение с сумасшедшими. Последнею побудительною причиною было письмо, полученное мною от арестованной сестры. Письмо было так странно, что я счел ее за сумасшедшую. Я знал и другие факты, волновавшие во мне желчь...»*

Без этих реалий времени невозможно правильно оценить мотивы действий не только Успенского, но и всех других, кто стал потом называться «нечаевцами».

«III отделение помогало всем волнениям - более того, оно создавало их», - смело писал Успенский в своих следственных показаниях.

Замечу, что Успенский был подчас слишком неосторожен перед следователем, - в этом печально сказались его неопытность и абсолютная неготовность к конспиративной работе.

Сказалась она и во многих его поступках после сближения с Нечаевым. Причем, это сразу и прямым образом коснулось Прыжова.

Когда на квартиру Успенского явился Нечаев и завел речь о людях, которые могли бы быть полезными «для дела», Успенский, как явствует из его показаний, первым назвал Прыжова - «человека очень деятельного и энергичного». Этот шаг был, конечно же, большой опрометчивостью. Выводить не слишком близкого себе человека на контакт с тем, кто нелегально приехал из-за границы, от Бакунина, с учетом обстановки было крайне рискованно! Здесь, пожалуй, ярче всего проявилась пылкая увлеченность Успенского «поэзией» заговора, как писала об этом В. Засулич. Все это сыграло злую роль в судьбе Прыжова.

Напомню, что когда Нечаев появился в первый раз на квартире Прыжова, у него была записка от Успенского - очевидно, рекомендательная. Иван Гаврилович, доверявший своему товарищу, не мог отказать в доверии и неизвестному в синих очках...

Но не будем все же преувеличивать роль этой записки. Куда большее значение имело письмо от Карavelова, которое привез с собой Нечаев.

...Любен Карavelов, видный болгарский писатель-демократ, действительно был «старинным приятелем» Прыжова. Еще в 1861 году, когда Карavelов с другими своими земляками учился в Московском университете, он издал вместе с Прыжовым книгу «Памятники народного быта болгар». Но объединял их интерес не только к славянской филологии и этнографии. Иван Гаврилович познакомил своего друга с запрещенной литературой. Оба они высоко ценили поэзию Т. Шевченко, вместе

* Речь идет о Н. Успенской и М. Антоновой (невесте Ф. Волховского). Арест этих девушек тоже был косвенно связан с нечаевскими провокациями. Они были задержаны после поездки в Петербург, где встречались с Е. Томиловой, состоятельной дамой, женой полковника, покровительством которой пользовался Нечаев. Томилова, как и многие другие, получила по почте прокламации из Женевы, и ее квартира находилась под наблюдением полиции.

переводили на болгарский язык его поэму «Неофиты», в которой за описанием гонений на первых христиан стояла недавняя история декабристов.

В 1866 году Каравелов уехал из России. Связь их, казалось, прервалась. Но судьбе было угодно распорядиться иначе.

Энергичный Каравелов целиком ушел в политику, в борьбу за освобождение своей родины от власти турецкого султана. Обосновавшись в нейтральном Бухаресте, он начал издавать газету «Свобода». Она была для Болгарии примерно тем же, чем в свое время «Колокол» для России.

Все это привлекло внимание Бакунина, который внимательно следил за «славянским вопросом». Каравелов выезжал в Женеву, где встречался с Бакуниным, обещавшим ему поддержку.

Неудивительно, что когда в Бухаресте в августе 1869 года появился Нечаев, направлявшийся в Россию, он был принят с полным радушием. Кроме паспорта для перехода границы Каравелов снабдил его и злополучным письмом к своему московскому другу (надо полагать, он отрядил и сопровождающего - того «неизвестного серба», который вначале пришел к Прыжову).

Что побудило Каравелова к этому рискованному шагу, сказать трудно. Зная непрактичность натуры Прыжова, он вряд ли рассчитывал на то, что тот реально поможет Нечаеву. Впрочем, Нечаев, пожалуй, и не раскрывал своих планов. Скорее всего, именно он первым и начал расспрашивать Каравелова, не осталось ли у того каких-либо знакомых в Москве. Ему нужна была любая зацепка, ведь в тайном обществе, представителем которого он назвался в Женеве, не было фактически еще никого...

Каравелов глубоко раскаивался в этом опрометчивом решении, когда узнал о судьбе своего друга и истинном лице Нечаева. В письме к русскому консулу в Бухаресте в 1873 году он назвал Нечаева «большим негодяем и лгуном», «уголовным преступником».

Возможно, пережитое потрясение и стало началом духовного перелома болгарского писателя: он вскоре полностью отошел от политики.*

Между прочим, в «Исповеди» и на процессе Прыжов сделал важное пояснение о письме от Каравелова. Он сообщил, что друг из Бухареста писал ему коротко: «Нахожусь во здравьи, издаю журнал», а главное, вспомнил такую деталь: «В письмо это непонятным для меня образом была вложена записка, которую, как я теперь полагаю, написал и вложил сам Нечаев».

В любом случае уже одно имя старого «другаря» и привет от него открывали Нечаеву путь к сердцу Ивана Гавриловича. Но, возможно, окажись на месте Нечаева другой - ординарный - мошенник, дело могло обернуться иначе.

«Я прожил 40 лет на свете, встречался со многими людьми, но такой энергии, как у Нечаева, не встречал и не могу представить себе», - признавался Прыжов на процессе.

Попробуем вообразить, в чем же могла выразиться эта «энергия» при первой их встрече сентябрьским утром 1869 года.

Представим «хату» в Протопоповском переулке (это недалеко от Сухаревой башни), сплошь заваленную книгами и рукописями. Испуганный взгляд жены - что

* См.: Л. Воробьев, «Любен Каравелов», М. 1980 г. Никак нельзя согласиться с автором этой монографии, когда он пишет об «апологии разбойничества» в приложении к Каравелову, а тем более к Прыжову.

за гости пришли незваные, незнакомые. Лает, бросается на вошедших пес Лепорелло. Иван Гаврилович успокаивает собаку, близоруко щурясь, читает письмо и записку.

Конечно, он рад весточке от Каравелова. Серб вскоре уходит, они остаются наедине с молодым человеком. Внимательно оглядывают друг друга.

- Да вы, дружок, не голубых кровей, вижу. Из волжских купчиков, пожалуй? - говорит Прыжов.

- Почти угадали - из села Иванова-Вознесенского. Только не из купцов я, а из фабричных, - быстро, заученно отвечает тот, кто назвался Павловым.

Это все решило, как решало и при других его знакомствах.

«Первой причиной моего сближения с Нечаевым было то, что он вышел из народа», - прямо говорил Прыжов на процессе. В этом признании ярче всего проявилась его несправимо восторженная душа и столь восторженное народопоклонство, исправленное только сибирской ссылкой...

Восхитился поначалу Иван Гаврилович и тем, что Нечаев «сам себя образовал» - да так, что, по его словам, «наизусть цитировал целые страницы «Критики чистого разума» Канта».

Но не знал он, что Канта Нечаев зазубрил специально, чтобы ошарашивать знакомых; а уж до этики знаменитого философа, до «категорического императива» ему не было никакого дела: («Если бы Прыжов позаботился проэкзаменовать Нечаева, то едва ли цитаты были бы особенно длинны», - замечала по этому поводу В. Засулич).

Каждое слово, каждый жест «Павлова» были давно просчитаны и многократно обкатаны в агитациях. Наверняка, глядя прямо в глаза собеседника, говорил:

- Все о народе пишете - а пострадать за него не хотите?

На существование тайного комитета в России намекнул и на свою связь с Бакуниным. Вполне возможно, что, узнав о приверженности Прыжова Бахусу, прихватил с собой в дорожном саквояже и полуштоф очищенной, - чтобы покладистее был, откровеннее его собеседник. Может, и в самом деле помягчел Иван Гаврилович. Но какой результат? Прокламации? Те, что «тут же набросал»?

Совершенно невероятно, чтобы при первой же встрече с незнакомым человеком, даже имевшим рекомендации от друзей, Прыжов сразу же сел за писание прокламаций! Да и адреса их слишком уж странные и разные - к «вольным женщинам», т.е. проспитуткам, тут же - к чиновникам (вот уж «революционный» класс!) и к целому краю, занимающему половину европейской России... Просто физически невозможно «тут же набросать» такие серьезные вещи!

Загадка, не правда ли?

Но объясняется она довольно просто. Напомню, что обвинительный акт, откуда взяты слова о прокламациях, был основан на первоначальных следственных показаниях Прыжова. А он, мы знаем, в то время был в состоянии тяжелой депрессии (о чем говорил и на суде, рассказывая о «видениях», преследовавших его тогда). У следственной комиссии был резон опубликовать именно эти объяснения подсудимого, т.к. они представляли и его, и все общество «идиотическими фанатиками», в духе будущих «Бесов».

Но в «Правительственном вестнике» печатались и те показания, что давались во время суда. Внимательный, непредвзятый читатель легко мог обнаружить натяжки и противоречия обвинителей. Вот слова Прыжова:

«Целые две или три недели Нечаев приставал ко мне, чтобы я написал прокламации, зная, что у меня много данных о печальной стороне народной жизни. Я долго отказывался. Однажды Нечаев нашел на столе у меня записку о влиянии железных дорог на Южную Россию (вероятно, плоды наблюдений Прыжова во время службы на железной дороге - В.Е.) и еще две записки о вольных женщинах* и о чиновниках. Из первой записки Нечаев сделал прокламацию «До громады». По безграмотности она не могла быть написана мною, знающим малороссийский язык и грамматику; середина прокламации моя, начало переделано, конец прибавлен». 24

Повода для сомнений в искренности Ивана Гавриловича тут нет. Наоборот, мы имеем прекрасный случай еще раз убедиться в его простодушии.

Дело в том, что его, как говорится, никто не тянул за язык вообще упоминать о своей причастности к прокламации «До громады». Ведь следствие не располагало абсолютно никакими данными об авторстве этого воззвания. Да и не могло располагать, т.к. прокламация «До громады» существовала лишь в одном виде - печатном, типографском, и, разумеется, без подписи, обезличенном. К тому же напечатана она была в Швейцарии и впервые увидела свет в нечаевском «Колоколе» №2 за 1870 год, который был приобщен к делу.

Именно в конце этой прокламации (который, по словам Прыжова, «прибавлен») давался совет украинскому народу «не платить оброков и податей и остричь ножи».

Несомненно, что это прибавление было сделано уже в Женеве, куда бежал Нечаев. Ведь специалисты по «малороссийским делам» здесь имелись. Об этом свидетельствует тот факт, что еще осенью 1869 года в южные губернии России из-за границы направлялись аналогичные воззвания. В материалах нечаевского дела я нашел, например, сообщение агентов III отделения о «Листе до громады» на украинском языке, адресованном в Ростов-на-Дону и Моршанск Воронежской губернии с датой 30 октября 1869 года. 25

При должной скрупулезности следствия это сообщение могло стать аргументом в пользу сугубо заграничного происхождения и второй прокламации «До громады». Но неосторожные признания Прыжова облегчили задачу следствию и обернулись против него самого.

А продиктованы были эти признания, надо полагать, его стремлением лишний раз показать манеру действий Нечаева, беззастенчиво рывшегося в чужих бумагах. Кстати сказать, никаких воззваний к «вольным женщинам» и к чиновникам в материалах следствия и суда просто нет. То есть, обвинение Прыжова в данном случае было ничем не подтверждено документально - яркий образец «добросовестности» Фемиды!

Чтобы оценить всю меру искренности Прыжова, надо привести еще одни его слова на суде в связи с этим обвинением:

«Прокламации из знамени, которым они были, сделались пустым звуком, утратили всякое серьезное значение, всякую душу».

Как ни рискованно было признаваться в том, что прокламации когда-то (очевидно, в начале 60-х годов) были и его «знаменем», Прыжов пошел на это - чтобы подчеркнуть свое отношение к нечаевским воззваниям.

*Интерес к теме «вольных женщин» у Прыжова, конечно, не мог иметь никакого оттенка вульгарности. В своих работах он выступал против бесправия женщин, был горячим сторонником их образования. Скорее всего, эта записка служила разоблачению темных сторон жизни. Следует заметить, что вопрос о растущей проституции обсуждался тогда во многих журналах, а историк С.Шашков работал даже на «Истории проституции в России»...

Столь же выразительно и другое его признание на суде:

«Из всех прокламаций, которые были в моих руках, я прочел только Брюссельскую-Дворянскую. Она доставила мне изрядную долю смеха. Кроме того, я показал ее одному моему знакомому. Это аристократ, человек крайне веселого характера. Я думал, что эта прокламация только насмешит его, напротив того, он представил ее в полицию». 26 (Речь идет о прокламации «К дворянству», печатавшейся в Брюсселе. «Аристократ», «человек крайне веселого характера» - вероятно, П. Шумахер, известный в Москве поэт-сатирик и сибарит, входивший в круг знакомых Прыжова).

Суд остался глух и к серьезному, и к несерьезному. Председатель суда А. Любимов, как явствует из стенограммы, переспросил лишь: верно ли, что «середина» прокламации «До громады» принадлежит Прыжову и, получив от него утвердительный ответ, посчитал вопрос исчерпанным.

В итоге эта прокламация стала одной из четырех основных «улик» против Ивана Гавриловича (третьей по счету и по значению) и существенным образом повлияла на разговор...

А первым и главным пунктом обвинения была «особая близость» Прыжова к Нечаеву.

Обвинительный акт гласил:

«Во I-х, оговор его обвиняемыми Успенским, Кузнецовым и Николаевым в том, что он был очень близок к Нечаеву и был одним из деятельнейших членов организации».

Не надо акцентировать внимание на слове «оговор» - в юриспруденции прошлого века оно не имело того негативного значения, какое приобрело впоследствии. Ясно, что речь идет не о преднамеренном «оговаривании» Прыжова, чтобы переложить на него вину. Все трое сообщали следовательно главным образом лишь о частых «обращениях» Нечаева к Прыжову по различным поводам. А это само по себе еще не было доказательством их близости. Характерно, что во время процесса никто из троих не выделял каким-либо образом роль Прыжова. Все это еще раз подчеркивает тенденциозность следствия.

В его руках было лишь одно «вещественное доказательство» - список членов «Народной расправы», где Прыжов стоял под номером 2 с выразительной кличкой «Чергов». Пожалуй, это и стало главным доводом в пользу того, что он был одним из самых влиятельных и деятельных членов общества.

Но так ли это? Известно, что списки членов общества составлял Успенский - по указанию Нечаева. Номера давались чисто произвольно (сам Успенский был здесь «№17», тогда как он фактически первым вступил в общество). 27 Вполне допустимо, что сам Прыжов даже не знал ни о присвоенном ему номере, ни о кличке, а если и знал, то по своему простодушию не придавал этому серьезного значения.

А вот общались они с Нечаевым за два с половиной месяца знакомства в самом деле довольно часто. Хотя на суде Иван Гаврилович, пытаясь опровергнуть оговор, утверждал, что встречи были редки, он тут же выдавал себя косвенным образом. Так, он говорил, что Нечаев был физически сильный, крупный, и приводил пример: «Чтобы ехать с ним, нужны были большие пролетки, он занимал все место». Очевидно, поездок было немало, как и споров, о которых он вскользь упомянул на суде (а в «Исповеди» писал откровенно).

Вот один из немногих живых эпизодов этого общения, запечатленный в воспоминаниях А. Успенской. Возможно, он вызовет лишь улыбку, но все же, полагаю, в какой-то мере передаст характер отношений двух столь разных людей.

«Помню, как-то вечером Прыжов зашел за Нечаевым, чтобы вместе отправиться в баню. Мы с мужем сидели за самоваром в ожидании их возвращения.

- М-м-мальчишка, никогда больше не пойду с вами, я этого терпеть не могу, - раздался сердитый голос заикавшегося Прыжова, как только им отворили дверь.

- Что такое? В чем дело?

- Б-брызнул на меня холодной водой, а я этого терпеть не могу. Все время вел себя как мальчишка, - продолжал ворчать Прыжов, а Нечаев покатывался со смеха.

- Ох, если бы видели его фигуру!..» 28

Эта забавная, сугубо бытовая сценка, кажется, действительно говорит о их близости: ходить вместе в баню - совсем уж по-приятельски. (Настроившись на этот юмористический лад, можно, пожалуй, еще и предположить, что Прыжов во время этого похода декламировал своему спутнику стихи «певца московских бань» П. Шумахера, ходившие в списках:

*«Лишенный сладостных мечтаний,
В бессильной злобе и тоске
пошел я в Волковские бани
Распарить кости на полке.
И что ж? О радость! О приятство!
Я свой заветный идеал -
Свободу, равенство и братство -
В торговых банях отыскал!»)*

Но делать на основании этого эпизода вывод, что близость их была глубокой, пожалуй, нельзя. Издевательское подражание Нечаева и «реакция» Прыжова свидетельствуют скорее о другом. В мелком, казалось бы, безобидном тиранстве над слабым, беспомощным Иваном Гавриловичем можно увидеть и черты тиранства последующего...

В воспоминаниях А. Успенской приведен еще один очень любопытный случай. Нечаев поручил ей вместе с Иваном Гавриловичем съездить в Фили, где в лесу возле дач одна из подруг Успенской прятала в свое время типографский шрифт. Надо было этот шрифт найти и привезти.

«Прыжов, - писала Успенская, - по своей привычке повторять иногда по целым дням одну какую-нибудь фразу или слово, всю дорогу декламировал из «Бориса Годунова»: «Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу твоим кровавом всенародно не служим мы молебнов Иисусу...»*

Шрифт Прыжов и его молодая спутница не нашли, не проявив, впрочем, особого усердия. Но они привлекли внимание дачного сторожа, когда Прыжов ковырял кухонным ножом (!) землю в разных местах филевского леса. Причем, желая отвлечь подозрение, сообщила Успенская, Прыжов сказал сторожу, что они ищут здесь зарытую умершую «любимую собачку», чтобы «перехоронить» ее...

Странное объяснение это заставляет улыбнуться: врать Иван Гаврилович умел плохо. Наверняка и сторож остался в недоумении. А Нечаев, если Успенская

* Неточная цитата из монолога боярина Афанасия Пушкина. Ср. далее в этом монологе:

*«Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.
А там - в глуши голодна смерть иль петля...»*

Прыжов, конечно, знал этот монолог до конца. Думал ли он, что все так сбудется?..

рассказывала ему об этом случае, имел повод выругать Прыжова: где же логика, что за идиот будет выкапывать собачьи кости?..

Впрочем, открытые ругательства относятся к последним дням их знакомства. В сентябре Нечаев еще присматривался к Прыжову, решал, как его можно использовать. Это был, вероятно, момент их наибольшего сближения - но не близости, ибо расхождения обнаружились с самого начала.

«Мои убеждения, мой образ действий - т.е. мирная социальная пропаганда путем распространения знаний - он считал вздором, от которого меня нельзя было вылечить», - говорил Прыжов на суде. Та же мысль в «Исповеди»: «С какой целью я вступил в общество? С чисто социальной, т.е. не навязывать свои убеждения, а пробуждать социальную жизнь для полной самостоятельности». (Социальный» - одно из любимых слов историка, но к социалистам он себя не относил.)

Было ли все это только декларацией, продиктованной желанием отмежеваться от Нечаева и уменьшить свою вину в глазах судей?

М. Альтман склонялся именно к этому мнению. Он утверждал, что Прыжов вовсе «не разошелся с Нечаевым с первого раза, а наоборот, сошелся с первого раза». Более того, биограф сделал вывод, что «Прыжов в кружке стал не только мыслить, но и действовать революционно, он стал одним из деятельнейших членов «Народной расправы». 29

Нельзя не заметить, что последние слова Альтмана дословно повторяют обвинительный акт. Оттуда же, очевидно, почерпнуты сведения о «революционных действиях» нашего героя.

Но какие все-таки это были действия? И можно ли их назвать хоть в какой-то мере революционными?

Следственная комиссия упирала прежде всего на то, что он «беспрекословно выполнял все поручения Нечаева». Рассмотрим эти поручения и то, как их выполнял Иван Гаврилович.

Об одном - поездке за типографским шрифтом - уже говорилось. Вряд ли, с учетом тех деталей, что привела А. Успенская, этой акции можно придавать серьезное значение.

Среди поручений, фигурировавших в деле, самым важным было задание организовать вокруг себя «пятерку» сообщников.

Официально, по списку, попавшему в руки III отделения, в «пятерке» Прыжова вместе с ним состояли студенты Петровской земледельческой академии Ф. Рипман, И. Енкуватов, И. Коведяев, а также Н. Николаев - впоследствии участник убийства И. Иванова.

Но судя по их показаниям, их привлекли в общество либо Нечаев, либо И. Иванов. Как выяснилось на следствии и подтвердилось на суде, списки «пятерок» составлял Успенский под диктовку Нечаева. «Пятерка» Прыжова была фикцией!

Тем не менее Нечаев считал эту группу основной силой для агитации среди народа и настаивал, чтобы она выполняла свое назначение. И Прыжов вынужден был давать некоторым своим подопечным задания. Какие же?

Вот показания Ф. Рипмана:

«Ходил, по указанию Прыжова, на Хитров рынок, познакомился там с несколькими публичными женщинами и жуликами. Они спрашивали, нельзя ли где-то что-то стянуть... Этим и ограничилось мое общение с народом в Москве». 30

Ходить на Хитров рынок тогда было, пожалуй, еще более опасно, нежели двадцать лет спустя, во времена Гиляровского. Прыжов говорил на суде, что были

такие притоны, куда и он сам не решался ходить. Зачем же он посылал туда своих «подопечных»? Невольно напрашивается вывод, что тут была просто насмешка - и над ними, и над чаяниями «верховного распорядителя»...

Еще красноречивее говорит об этом история с П. Енкуватовым. Он тоже - под влиянием И. Иванова, будущей жертвы Нечаева, - хотел сблизиться с народом и мечтал поступить на фабрику. Иванов отправил его к Прыжову. Посмотрев на хилого, совсем юного Енкуватова («девочка» - так он назвал его), Иван Гаврилович прямо сказал ему, что он не вынесет тяжелого труда на фабрике и... привел его на Хитровку. Для «пробы» посоветовал зайти в кабак. Чем закончилось для студента «общение с народом», угадать нетрудно. На другой день, как свидетельствует судебный протокол, он «объявил Ринману, что чувствует себя нездоровым и вследствие этого получил увольнение»...

Сказать, что Прыжов формально отнесся к своим обязанностям в «пятерке», - будет, пожалуй, мягко. Он попросту уклонялся от них и тем самым обманывал Нечаева, о чем прямо писал в «Исповеди»:

«На обман Нечаева я должен был действовать тем же оружием». Признание более чем выразительное. Оно показывает, что Прыжов догадался, что Нечаев ведет какую-то большую темную игру, и нашел свой - пожалуй, единственно возможный - способ противостоять ей.

Сам он никакой агитации не вел. В следственных материалах нет абсолютно никаких данных на этот счет, хотя, несомненно, III отделение приложило немало усилий, чтобы их добыть.

Еще летом 1869 года в связи со студенческими «беспорядками» в Петербурге и хлынувшими в Россию из-за границы прокламациями (а то и другое, следует напомнить, было инспирировано Нечаевым!) вышли новые распоряжения жандармского ведомства. На места был разослан секретный циркуляр, в котором говорилось:

«Среди молодежи распространяется вредное в общественном и политическом отношениях направление, и молодежь эта предполагает действовать в возмутительном духе преимущественно среди нижних слоев населения. Есть сведения, что агитирующие обращают особое внимание на рабочие артели». Для предотвращения этого предлагалось - «иметь самое тщательное наблюдение за фабриками, заводами, мастерскими и вообще за всеми теми местами, где находится приток рабочих, стараться узнавать негласно, не находясь ли между ними злонамеренные лица». з

Действие этого циркуляра нетрудно было ощутить человеку, который привык часто бывать среди «нижних слоев» в харчевнях - своего рода рабочих «клубах». Тем не менее Иван Гаврилович не отрицал, что целью его при этом была «социальная пропаганда». В чем же она заключалась?

В «Исповеди» он писал, что «когда не находил, чему бы мог поучиться у собеседников, он сам учил их, знакомя с общим социальным положением, смотря на этот предмет с чисто государственной стороны, именно: что ни один дикарь не может существовать без известного социального устройства, что самые передовые государства те, где больше всего социальной основы». За все это, добавлял он, его «поили чаем, иногда подносили водки»...

Не будем муссировать последнюю деталь - важнее содержание бесед, которые вел в харчевнях единственный, пожалуй, в те годы пропагандист-просветитель подобного рода.

В словах «ни один дикарь не может существовать без известного социального устройства» нельзя не видеть прямой полемики с оголтелым анархизмом Нечаева и Бакунина. Хотя «Исповедь» писалась позже, надо полагать, в нее вошли отголоски споров с Нечаевым.

На суде Прыжов прямо заявлял об этом: «Я действительно не хотел волновать народ, я слишком его любил, чтобы отдавать в руки Нечаева»... Та же мысль в «Исповеди»: «Вести народ даром на муку - не в моей природе, не в моих убеждениях».

А кредо Нечаева в этом вопросе, как свидетельствовал на суде П. Успенский, выражалось хлесткой фразой:

«Любить народ - это значит водить его под картечь...»

Расхождения более чем очевидны. И М. Альтман был прав лишь в одном: у Прыжова в нечаевском кружке была «особая позиция - иногда даже оппозиция». Надо только сделать два важных уточнения. Во-первых, не «иногда», а «по преимуществу». Во-вторых, надо учитывать динамику событий: оппозиционность нарастала по мере приближения к развязке.

Иван Гаврилович все больше отдалялся от опасного знакомого. «Нечаев не знал, что делал я», - писал он в «Исповеди», сообщая о том, что ему приходилось уходить из дому и скрываться от глаз Нечаева на дальних окраинах Москвы, где он якобы занимался «агитацией». (Одним из его укрытий была любимая «голубая харчевня за Краснохолмским мостом, в Сокольничьем поле», куда он уходил «в самые грустные минуты», выдавая себя за «коммерсанта по торговле лесом и хлебом». «Грустные» - понятно, почему: Прыжов все больше осознавал, что втянут в роковой круг, вырваться из которого становится все труднее...).

Когда же он догадался, что Нечаев ведет нечистую игру?

Можно предположить, что всерьез засомневаться Прыжова заставило уже одно из первых поручений - поездка к купцу Зубкову в село Иваново, состоявшаяся еще в сентябре. Прыжов ездил туда, чтобы напомнить о деньгах, якобы обещанных этим купцом для нужд студентов (так уверял Нечаев). И уже сама сумма, о которой шла речь - 10 тысяч рублей - не могла не вызвать удивления у Ивана Гавриловича.

Что думал он по дороге в Иваново, сказать трудно. Но о мыслях, сопровождавших его на обратном пути, можно догадаться. Ведь в доме Зубкова его попросту не приняли, вытолкали с порога. Сколь ни наивен был Прыжов, он, конечно, не поверил в сказку о купце-прогрессисте, жертвующем столь умопомрачительную сумму на неизвестные цели.*

В этой же поездке у него был повод задуматься над униженностью роли, навязанной ему «Павловым». Согласившись помочь ему посылно (это условие, очевидно, было оговорено при первой встрече), Прыжов не мог не ощутить, что становится... мальчиком на побегушках. Неблизкая дорога в Иваново - да впустую,

* Подробности этого эпизода, фигурировавшего в деле, выясняются из следственных показаний А. Зубкова - «купца I гильдии, 27 лет от роду, живущего в Вознесенском посаде Владимирской губернии»: «Сергея Нечаева знаю давно, еще когда он был полотором и лакеем в посаде», - сообщал Зубков, решительно заявляя, что «никогда не рискнул бы дать ему 10 тысяч рублей - мы с ним не были так близки». Он сообщил также, что летом 1869 г. «получил письмо из Женевы, в котором просили денег, это письмо я препроводил к Владимирскому жандармскому штаб-офицеру, т.к. опасался неприятностей, ибо в то время уже громко говорили о деле Нечаева».32 Эти факты, полагаю, хорошо оттеняют безудержность фантазии Нечаева и маниакальный характер его действий.

да из дверей вытолкали. Неужели «Павлов» не мог послать никого другого, помоложе, если у его таинственного «Комитета» агенты по всей России?

Точно ли так рассуждал Прыжов, мы не знаем, но в его «формальном» отношении к другим поручениям кроме протеста против идей Нечаева виден и чисто человеческий протест против помыкания собой...

Большинство поручений он выполняет из рук вон плохо.

Например, Нечаев приказывает раздобыть бланки паспортов. Прыжов, кажется, старается: он обращается к своему знакомому Ильинскому, с которым вместе служил в гражданской палате, дает ему денег. Но прощелыга Ильинский обманывает его, не добыв паспортов и не вернув денег. Нечаев негодует. Тогда Прыжов, как явствует из его объяснений на суде, идет к знакомому лавочнику на 4-й Мещанской, зная, что тот покупает на обертку бумагу из архивов присутственных мест. Лавочник знает Ивана Гавриловича как «любителя всякой старинной бумажки» и соглашается продать ему за 5 копек несколько старых, не пригодных ни к чему паспортов. Прыжов приносит их Нечаеву. Как встречает его тот, нетрудно догадаться...

Следует другое поручение: рассылать прокламации надежным знакомым, могущим поддержать общество. Прыжов берет две листовки, запечатывает их в конверты и... ломает голову, кому-бы их отослать. В конце концов подписывает на конвертах адреса своих соседей - чайного торговца Попова и книжного - Соловьева.

Оба торговца потом присутствовали на процессе. В один голос заявили, что знают Прыжова как порядочного человека и считают его неспособным на такие поступки. Но он и не хотел их подвести, ибо был твердо уверен, что прокламации тотчас же будут снесены в полицейскую часть (что и было сделано).

Явная насмешка над «генералом» общества, не так ли?

Г. Елисеев, комментируя этот факт в «Отечественных записках», иронизировал: «Прыжов посылал прокламации таким твердыням, которых сдвинуть труднее, чем царь-пушку или царь-колокол»...

Время перейти ко второму пункту официального обвинения, предъявленного ему, - изготовление бланков общества. Эти бланки с печатью, на которой был изображен топор и стояло название организации - «Комитет народной расправы 19 февраля 1870 года» - служили своего рода паролем: с их помощью члены «пятерок», по замыслу Нечаева, должны были сообщаться друг с другом.

...Грозные, пугающие слова и топор - из арсенала не только Нечаева, но и Бакунина. К 19 февраля 1870 года они оба рассчитывали - ни больше, ни меньше - поднять в России восстание!

Они знали, что к этой дате, согласно условиям крестьянской реформы 1861 года, заканчивались «обязательные отношения» крестьян к помещикам, т.е. истекал срок пользования помещичьей землей. Крестьянам предстоял выбор - или отказаться от земли, возвращая ее хозяину, или сохранить ее за собой, продолжая нести повинности. Событие немаловажное, но не такое, чтобы вызвать массовые волнения: это ведь не насильственный сгон с земли. Нешадно эксплуатируя свое основное податное сословие, правительство тем не менее всегда знало грань, за которую нельзя переступать. Волнений в 1870 году действительно не было отмечено, т.к. подавляющее большинство крестьян, естественно, предпочитало держаться за землю. 33

Ни Нечаев, ни Бакунин абсолютно не знали ни крестьянства, ни крестьянской психологии. Оба они жили в призрачном мире! Очень точна убийственная характеристика, которую дали им самые авторитетные в свое время оппоненты:

«Эти безмозглые людишки, говоря страшные фразы, пыжались, чтобы казаться революционными гигантами...»*

А что же с бланками, которые делал Прыжов?

Как видно из материалов следствия, об этом эпизоде неосторожно проговорился П. Успенский:

«Нечаев сообщил, что нужно сделать бланков, взял у меня печать и отдал Прыжову, который у меня на квартире, вместе с офицером и отпечатал, кажется, 5 экземпляров. Оттиски были очень дурны, так как делались, кажется, копотью от свечки.» 34

Эти слова в деле жирно подчеркнуты рукой кого-то из верховных распорядителей следствия: важная улика! Ее подтвердили и показания И. Лихутина - того, кого Успенский назвал «офицером» (на самом деле Лихутин был петербургским студентом и приезжал в Москву, переодеваясь, по указанию Нечаева, в офицерскую форму, чтобы убедить московских членов общества в связях «Комитета» с Генеральным штабом!)

Ивану Гавриловичу трудно было что-то отрицать. Он признался на следствии, что видел у Нечаева «печать желтой меди с топором и словами «Комитет народной расправы» и однажды прикладывал ее к бланкам, когда у ее хозяина «устала рука»... На суде он уточнил, что «приложился раз пять», назвав все это «пустой вещью».

Между тем улика была серьезнейшая! На основании ее следственная комиссия, а затем и суд сделали вывод, что Прыжову была известна цель общества - «ниспровержение правительства». Кажется, и нам ничего не остается делать, как признать Прыжова правоправным членом «Народной расправы», а его объяснения посчитать лишь отговоркой.

А что он мог еще сделать, если Нечаев пристал, как клещ, с этой печатью, желая явно приобщить к «тайнству» организации? Он и «приложился» - лишь бы отвязаться.

Невозможно вообразить, чтобы Прыжов, даже при его простодушии, не сознавал, что «игра», в которой он участвует, - очень опасна и может плохо кончиться. Но для выхода из нее были лишь два пути. О них говорил на допросе тот же Лихутин. Он признавался, что «вначале хотел донести, но потом просто устранился»...

Первый путь для Прыжова, конечно, вообще исключался. «Устраниться» же легко было лишь Лихутину, жившему в Петербурге, вдаль от бдительного ока Нечаева. Но никак не Ивану Гавриловичу, находившемуся под рукой Нечаева: не бросишь квартиру, жену, библиотеку, собаку! Хоть топись снова в Патриаршем пруду!..

Надо сказать еще о четвертом, последнем пункте обвинения Прыжова. Он гласил: «...в 4-х, завязав намеренно знакомство с исключенными студентами Московского университета Бутурлиным, Смирновым и другими, старался распространить в этом университете такую же организацию, какая была в тайном обществе».

На самом деле все обстояло следующим образом.

В конце октября 1869 года студенты медицинского факультета университета отказались посещать лекции профессора А. Полунина. Патологоанатом Полунина, имевший славу бездаря и рутинера («род Третьяковского в научном деле», как говорили о нем студенты), был временно назначен на терапевтическое отделение. Студенты на занятиях училили его в том, что он неправильно поставил диагноз и

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 393.

демонстративно покинули операционную.

Полунин оскорбился, пожаловался ректору университета С. Баршеву. Тот не придумал ничего лучше, как вызвать полицию, чтобы арестовать зачинщиков. Лишь суб-инспектор университета, желая сгладить скандал, удержал солдат. Тем не менее восемнадцать человек с четвертого, выпускного курса были исключены без права апелляции - за то, что, как говорил один из них, «не желали выйти вместо честных врачей шарлатанами».

Жестокая мера вызвала озлобление: исключенные остались без будущего, без средств к существованию. За деньгами (!) они и обратились к Прыжову. Странное это обращение объясняется подсказкой одного из старых знакомых Прыжова - Александра Орфано.*

Как говорил на следствии один из «полунинцев», 20-летний В. Смирнов, Орфано дал им записку к своему знакомому и сказал, что тот «сочувствует студентам, имеет влияние на купцов и потому сможет достать деньги в нашу кассу».

Эта записка и привела студентов на квартиру историка в Протопоповский переулок. Денег они не получили, но сочувствие им оказал, потому что знал, кто такой ректор Баршев, и университетские дела ему были безразличны.

Иван Гаврилович двадцать лет назад сам учился на этом же медицинском факультете (фактически он посещал лекции словесного, за что и был исключен).

А с Баршевым они вместе росли во дворе Мариинской больницы - той самой, откуда вышел и Ф. Достоевский. Третий мариинец избрал более надежную стезю: он поступил на юридический факультет и стал профессором уголовного права. Успешной его карьере способствовало редкое умение ловить «дух времени». При Николае I он в своих теоретических трудах доказывал «естественность» смертной казни на том основании, что «и Христос был распят». И такой мастодонт остался во главе лучшего университета России и после реформ! К тому же он был нечист на руку. Не случайной молодой А. Кони, откликаясь на нечаевский процесс, замечал в одном из писем:

«В числе замешанных есть немало студентов, исключенных за последнюю историю из университета. Это грех, лежащий, быть может, на душе Баршева. Кстати, он получил аренду... умеет обдeldывать свои дела». 35

Что мог посоветовать Прыжов пришедшим к нему студентам? Пойти на поклон к Баршеву? Шаг Ивана Гавриловича был, естественно, другим. Он, как говорил на следствии студент В. Смирнов, «начал советовать нам сомкнуться, устроить кружки по образцу Петровской академии». И все! Никаких указаний на то, что Прыжов предложил «полунинцам» встать под знамя нечаевского «Комитета», в следственных материалах нет. Да никто из них и не вступил в тайное общество, - все они были вскоре посланы к родителям в свои губернии...

Пора подвести некоторые итоги.

В своем ответе обвинителям на процессе Прыжов говорил:

«В участии в преступном обществе я себя виновным признаю, но о целях его я

* Старший из двух братьев Орфано, принадлежавших к кругу близких знакомых Прыжова в начале 60-х годов. В 1862 году оба брата встречались с В. Кельсиевым, сотрудником Герцена, за что привлекались к дознанию в известном деле «о отношениях с лондонскими пропагандистами». Оба были освобождены за отсутствием улик. Греки по происхождению, братья Орфано были колоритными фигурами московской жизни. Сам В. Кельсиев отзывался о них так: «Гегелисты в поддевках, говорили ужасно темно». З. Ралли, описывая обстановку в Москве после 4 апреля 1866 года, привел такую деталь: «Сумасшедшие братья Орфано, выпущенные из тюрьмы, становились на площадях на колени, видя ангелов в небе...»

не знал и вступил в общество с другими убеждениями. Затем, когда мне стали известны или когда я более или менее стал подозревать цели общества, тогда я уклонился».

Он нисколько не покривил душой!

Совершенно очевидно, что насколько раздутым было нечаевское дело вообще, настолько раздутой, преувеличенной выставилась обвинительной властью и роль Прыжова в тайном обществе. Это хорошо понимали уже многие современники. Особого внимания заслуживает точка зрения виднейших русских адвокатов, участвовавших в процессе (поближе познакомится с ними мы сможем в соответствующей главе).

Все они единодушно отвергали пункты о «деятельном участии» историка в делах общества. К. Арсеньев прямо заявлял, что следует говорить лишь о «пребывании Прыжова в обществе, а не деятельности, потому что деятельность я не вижу»; подзащитный, по его мнению, «исполнял требования Нечаева только по форме». В. Спасович (защищавший А. Кузнецова), подчеркивал, что Прыжов - «человек совершенно посторонний, вышедший из ряда других и менее всего заботившийся о самих пружинах организации». А. Урусов (защищал П. Успенского и Ф. Волховского) отмечал, что «Прыжов не мог разделять этих убеждений (Нечаева - В. Е.) и относился скептически к ним». 36

Вспомним заодно и слова Г. Елисеева о человеке «почтенных лет, которого молодежь пришла к своему обществу на живую нитку»...

Но обвинение и приговор в этой части вряд ли могли быть иными. Ведь речь шла не просто о наказании «отставного коллежского секретаря», втянутого обманом в сомнительную организацию, а о политической мести старому, законченному волюндумцу-«нигилисту». Именно таким был Прыжов в глазах вершителей суда. Единственным условием смягчения вины тут мог быть своевременный донос или хотя бы публичное раскаяние. Но несмотря на свою «вымученную» роль в нечаевском обществе, он не только не раскаивался в своих поступках, но и всем поведением на процессе показывал, что не он виноват, а те, кто устроил это судилище...

Что же касается обвинения в участии в убийстве И. Иванова, то эта трудная тема требует отдельного внимательного разбора.

Прежде чем перейти к нему, надо сказать еще об одном поручении Нечаева Прыжову: 20 октября Иван Гаврилович ездил в Тулу за скрывающимся там Николаевым. Через месяц им двоим суждено было провести Иванова по последней для него дороге к гроту...

Отступление здесь необходимо.

Появление среди нечаевцев совсем юного (19 лет) и малообразованного Н. Николаева, на первый взгляд, труднообъяснимо. Сведения о нем очень скудны. «Незаконнорожденный, мещанин, только в 14 лет выучился грамоте, служил надзирателем в доме для малолетних преступников», - вот, пожалуй, и все, что можно было узнать тогда при беглом чтении газетных отчетов. В сочетании с ролью самого добросовестного исполнителя приказаний Нечаева эти факты создавали отталкивающее впечатление...

В «Бесах» Достоевского фигурирует молоденький прапорщик, «мальчик» Эркель. Прообразом его, как установлено, послужил Николаев. «Этот странный мальчик отличался необыкновенною молчаливостью, - повествовал Хроникер в романе. - У него не было никаких поручений, да и вряд ли сам он понимал свое положение. Он только преклонялся перед Петром Степановичем, встретив его незадолго. Если б он

встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром и тот под каким-нибудь социально-романтическим предлогом подбил его основать разбойничью шайку и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы послушался...».

Но все это столь же далеко от истины, как и изображение Прыжова в образе Толкаченко.

По мнению исследователей, рисуя Эркеля, Достоевский опирался главным образом на выводы обвинительной речи прокурора В. Половцева. Именно прокурор развивал мысль о безграничной преданности Николаева Нечаеву вплоть до согласия на убийство кого бы то ни было. Но ключом к пониманию характера Николаева, думается, должен был бы служить другой факт, о котором мельком упомянул тот же прокурор. А именно: служба надзирателем в московском арестном доме (так называемые «титовские казармы»), Николаев, оказывается, «учил малолетних преступников грамоте».³⁷

Мнение о некоем «злом начале», якобы присущем всем нечаевцам, не имеет под собой никакой почвы и в данном случае. Надзиратель тюрьмы, изучающий со своими подопечными азбуку, - такое проявление альтруизма всегда было величайшей редкостью!» Более того, из материалов следствия выясняется, что кроме обучения «малолетних преступников» грамоте, Николаев «устроил для них, с разрешения начальства, переплетную мастерскую». ³⁸ А это совсем уже в духе гуманных идей 60-х годов.

Как объяснял Н. Николаев на процессе, большое влияние на него имел учитель В. Орлов, с детства опекавший его и руководивший его «умственным воспитанием». Орлов и познакомил его с Нечаевым. Случилось это в марте 1869 года, когда Нечаев, скрывшись из Петербурга, решил бежать за границу и задержался на короткое время в Москве. Его сопровождал Орлов, который был посвящен в намерения Нечаева, своего земляка.

Через много лет, пройдя сложнейшую эволюцию, Орлов станет толстовцем и будет учить детей в железнодорожной школе Ясной Поляны.*

Началом этой эволюции послужила нечаевская история - те тяжелейшие последствия, которые она имела для Орлова. Но он и сам был здесь во многом виноват.

Подобно Г. Енишерлову (с которым был знаком), Орлов знал тайну избранного Нечаевым метода действий.

Приехав из Иванов в Петербург, чтобы поступить в университет, он остановился у своего земляка и был свидетелем его частых загадочных отлучек из дома. Затем Нечаев стал приглашать его на студенческие сходки. «На сходках, - объяснял Орлов на допросе, - Нечаев старался провести мысль о необходимости протестов по поводу стеснения студентов, но оставался в этом почти без поддержки». ³⁹ (Это сообщение подтверждает рассказ Г. Енишерлова о непопулярности нечаевского «радикализма» среди студентов).

* В. Орлов - не единственный из участников движения 1860-х годов, кто обратился впоследствии к толстовству. Приверженцем этого учения стал Л. Никифоров - один из немногих сторонников заговорщической тактики Нечаева в студенческом Петербурге. Близок был идеям Л. Толстого А. Маликов - бывший член кружка ишутинцев, наиболее яркая фигура в богоискательстве второй половины XIX столетия. Наибольшей симпатией Толстого пользовался Маликов - незаурядный философ и проповедник. К Орлову Толстой тоже относился с большим участием. Эти эволюции заслуживали бы целого романа. Но «Воскресение» и «Фальшивый купон» уже написаны...

В этот же период Нечаев развернул свою бурную иезуитско-мистификаторскую деятельность и - очевидно, за неимением выбора - решил вовлечь в нее своего земляка.

В Иваново они были знакомы довольно коротко. «Я не замечал тогда, что все в нем основано на лжи», - признавался Орлов на следствии. Молодой Сергей Нечаев импонировал ему тем, что бывая у него дома «видел мое бедное, несчастное семейство» (отец Орлова, сельский священник, страдал запоями, а шестеро детей владели полуголодное существование) и «отнесся к нему хорошо - ни тени презрения и пренебрежения». Кроме того, Орлов был страстно влюблен - в младшую сестру Нечаева - Екатерину. Зная об этом, Нечаев решил использовать почти родственную уже привязанность Орлова к нему в свою пользу.

Не отличавшийся ни силой характера, ни твердостью взглядов (вот истинный Шатов для «Бесов!»), Орлов легко поддался внушениям Нечаева и стал его во всем поддерживать.

Когда Нечаев решил создать миф о существовании в Петербурге подпольной организации под своим началом, он уговорил Орлова разыграть роль человека, причастного к покушению на Александра II и спасшегося от ареста. Под этим таинственным «плащом» провинциальный учитель стал появляться вместе с Нечаевым на студенческих сходках. (Эта деталь выясняется из показаний Орлова на следствии: «... Не хватало силы воли снять маску, которую надел на меня Нечаев, выдавая меня за прикосновенного к делу Каракозова»). 40

Очевидно, под этой маской он приехал в Москву, где познакомил Нечаева - как «героя сходок», скрывающегося от погони - с Успенским и Николаевым, а также познакомил и двух последних друг с другом.

Нечаеву, чье имя было уже известно полиции, для перехода границы требовался чужой паспорт. Он пытался выпросить его у Орлова, но тому это показалось «дико», и они вместе стали уговаривать Николаева. При этом в ход был пущен лестный для юного надзирателя довод: отдавая паспорт, он помогал «герою» спастись от каторги. Документ обещали вернуть сразу по возвращении Нечаева из-за границы. Учитывая, что подопечный Орлова безраздельно доверял своему опекуну, добиться этого было несложно. Как и уговорить Николаева оформить фиктивный выезд за границу...

Все это было проделано быстро, в считанные дни. Обрадованный Нечаев с заграничным паспортом на имя Николаева сразу отбыл из Москвы. Напоследок он успел воспользоваться еще одной услугой податливого Орлова: тот отдал ему, как признавался на процессе, «свое теплое пальто и сюртук хороший, и брюки, а его взял старое».

Но делал это Орлов уже легко и охотно - он, уяснивший, как сам говорил, всю «ложь и фальшь» своего положения, был рад, что, наконец, выходит из игры и расстается со своим на редкость беспокойным и опасным земляком. Головоломные события последних месяцев настолько потрясли незадачливого учителя, что он решил бежать, в буквальном смысле, куда глаза глядят. Отправившись вместо дома на юг, он долго скитался по разным городам и селам, пока не был арестован в станице Варениковской на Кубани...

Скрываться пришлось и Николаеву. Человек без паспорта в России - никто, а передавший его другому лицу - преступник. Осознав это, Николаев оставляет службу и тоже бежит из Москвы. При расставании Орлов посоветовал ему направиться в Иваново, дав адрес своего знакомого сельского учителя И. Флоринского.

Чтобы не попасть на глаза полиции, Николаев шел в Иваново пешком. За четыре дня непрерывного, днем и ночью, хода он добрался по адресу, но напуганный его

видом Флоринский отказался его принять. Пришлось возвращаться назад. На обратном пути, ночуя где попало (а дело было ранней весной, при заморозках), Николаев сильно простудился. Весь в жару, в последней надежде пришел в книжный магазин к Успенскому. Тот - цитируем судебные показания Николаева - «познакомил меня со своим коротким знакомым Прыжовым. По его протекции я поместился в Мариинской больнице, где пролежал недели две».

Подробности эти, думается, достаточно выразительны сами по себе. Именно Прыжов по своей доброте спас горемыку Николаева! А Мариинская больница оказалась действительно счастливой, хоть и на короткое время, для одного из героев этой истории...

Выздоровев, Николаев уехал из Москвы в Тулу. Но перед этим совершил неблаговидный поступок, который, впрочем, легко понять в его отчаянном положении. Он выманил у какого-то «мещанина Александра Васильева» паспорт.

В Туле Николаев устроился в слесарную мастерскую и начал работать. Но Нечаев вспомнил о нем. Причем, вспомнил не сразу по возвращении в Россию, а только полтора месяца спустя. Это тоже характеризует его безразличие к чужим судьбам и его «добросовестность» - ведь он обещал вернуть паспорт незамедлительно. Да и всплыл в его памяти образ доверчивого паренька скорее потому, что дела с организацией общества шли очень туго: новых членов не прибавлялось, а Николаев хотя бы знал его и, судя по истории с паспортом, обещал быть послушным.

Как бы то ни было, Нечаев приказал Прыжову съездить в Тулу и разыскать Николаева. Подробностей этой поездки не сохранилось, но поиск стоил, по видимому, немалых усилий. Иван Гаврилович сообщал на суде, что нашел своего бывшего протеже «на каком-то подворье».

Николаев, как сам объяснял впоследствии, был «очень обрадован» встрече с Нечаевым, поскольку ему был наконец-то возвращен паспорт. Он снова стал «московским мещанином» с прежней фамилией, под которой и будет фигурировать в судебных документах.

Но Нечаев уже не отпустил его. Человек, сдержавший слово и сумевший ради этого проявить неимоверную смелость, дважды перейдя границу, в глазах восторженного Николаева поднялся на неизмеримую высоту. И когда Нечаев рассказал ему о своих друзьях в Женеве и посвятил в планы «Народной расправы», выбор был предрешен.

- Чем я могу помочь, ведь я не учился ничему? - спрашивал Николаев.

- Развития для этого не нужно. Есть люди более развитые, которые будут управлять. Твое дело - беспрекословное подчинение, - отвечал Нечаев.

- Я согласен...

Это - дословно - из судебных показаний Николаева. Несомненно, глубоко прав был А. Буймистров, адвокат самого юного участника процесса, когда заявлял, что Нечаев совершил над его подзащитным «нравственное преступление». Впрочем, оно было совершено и над всеми остальными...

Одетый в простонародное платье, с неряшливой бородкой, отросшей за время скитаний, Николаев выглядел старше своих лет и походил на крестьянина. Это быстро оценил и использовал Нечаев: представляя его студентам Петровской земледельческой академии, он отрекомендовал его «организатором крестьянства».

Кроме того (очевидно, с учетом прежней надзирательской службы) Нечаев возложил на него обязанность «ревизора» общества - следить за строжайшим исполнением приказов «Комитета».

Обманутый, ничего не подозревавший «ревизор» выполнил свою миссию до конца до последней минуты, пока рука его держала револьвер, врученный Нечаевым.

Зловещая сатанинская игра выходила на последний виток, на последнее «зеро» рулетки или русское «очко». Приближалось 21-е ноября - самый черный день в жизни Ивана Гавриловича Прыжова и всех людей, с кем его связала судьба.

День, всколыхнувший всю Россию, - как гром посреди зимы, как небесное знамение. День-символ, по мнению одних, день-монстр, по мнению других. В любом случае, несчастнейший день...

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Никитенко А. Дневник. М. 1956. Т. 3. С. 139.

2 Прыжов И. Декабристы в Сибири на Петровском Заводе. М. 1985. (издание Института истории Академии наук, подг. Л. Пушкарев). С. 20. Цитаты из Н. Михайловского, А. Фета и Н. Некрасова. Лирическое стихотворение Фета, написанное в 1849 г., до реформ Александра II, пришло ко двору десятилетие спустя и воспринималось как аллегория.

3 Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. М. 1961. Т. 2. С. 155.

4 РГАЛИ, ф. 80, ед. хр. 206, л. 90. Письмо не датировано, но нетрудно понять, что оно относится к апрелю 1866 г. В этом же фонде есть письмо Стороженко от 4 февраля 1868 г., отправленное из Лондона, куда автор поехал изучать Шекспира. Средствами ему помог отец, небогатый полтавский помещик. В письме Стороженко жалуется, что в Англии "правит сила рублевцов", т.е. денег, пишет: "Не думаю уезжать из Лондона, пока не буду хорошо знать древнеанглийского языка и не напишу диссертации", а в конце спрашивает: "Что делает Прыжов?" (там же, л. 12). Стороженко и Прыжов были знакомы еще с начала 60-х годов, и отъезд друга в Англию, несомненно, сказался на судьбе Прыжова.

5 Литературное наследство. Т. 41-42. С. 280-300.

6 Санкт-Петербургские ведомости. 1871, № 190. Фельетон Незнакомца (постоянный псевдоним Суворина).

7 Лесков Н. Собр. соч. в 11 томах. Т. 10. С. 257.

8 Цит. по: Н. Пирумова. Бакунин или Нечаев? Прометей, № 5, 1968. С. 178. Автор этой публикации высказала сомнение в полной достоверности мемуаров Енишерлова, имея в виду их яркую субъективную окраску. Однако, эта окраска (горячее сожаление о случившемся, перемешанное со жгучей ненавистью к Нечаеву) не мешает Енишерлову быть точным в передаче фактов.

9 ГА РФ, ф. 112, д. 490/1, л. 52.

10 Рудницкая Е. Н. П. Огарев в русском революционном движении. М. Наука. 1969. С. 386.

11 Литературное наследство. Т. 41-42. С. 132.

12 Успенская А. И. Воспоминания шестидесятницы. Былое, № 18, 1922. С. 33.

13 Засулич В. Воспоминания. М. 1931. С. 61 и далее.

14 Козьмин Б. Нечаев и его противники. в сб. "Революционное движение 1860-х годов". М. 1932. С. 187.

15 Либрович Ф. На книжном посту. СПб. 1914. С. 61.

16 РГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 378, л. 1.

17 Правительственный вестник. 1871. № 159.

18 Герман Александрович Лопатин. Автобиография. Пг. 1922. С. 9.

19 ОР РГБ, ф. 100, картон 2, ед. хр. 5, л. 148.

20 Толстяков А. Люди мысли и добра (русские издатели К. Т. Солдатенков и Н.П. Поляков). М. Книга. 1984. С. 27.

21 ОР РГБ, ф. 178, л. 1, л. 1.

- 22 Троицкий Н. Царские суды против революционной России. С. 21.
23 ГА РФ, ф. 112, д. 490/1, л. 15.
24 Правительственный вестник. 1871, № 157.
25 ГА РФ, ф. 109, д. 110, ч. 3, л. 115.
26 Правительственный вестник, 1871, № 162.
27 ГА РФ, ф. 112, д. 492, л. 239.
28 Успенская А. Воспоминания шестидесятицы. С. 33.
29 Прыжов И. Очерки, статьи, письма. М.-Л. 1934. С. XIX.
30 Нечаев и нечаевцы. Сб. материалов под ред. Б. Козьмина. М. ГИЗ. 1931. С. 112.
31 Цит. по: Оржиховский И. Самодержавие против революционной России (1826 - 1880 г.г.). М. Мысль. 1982. С. 170.
32 ГА РФ., ф. 112, д. 495/1, л.л. 69-70.
33 Зайончковский П. Отмена крепостного права в России. М. 1968. С. 292. ("Наступление с 19 февраля 1870 г. нового периода крестьянского дела не вызвало нигде важных беспорядков", - докладывал министр внутренних дел Александру II.).
34 ГА РФ, ф. 112, д. 490/1, л. 28.
35 Кони А. Собр. соч. М. 1968. Т. 8. С. 37.
36 Правительственный вестник. 1871, № 165 - 166.
37 Правительственный вестник. 1871, № 164.
38 Этот факт отражен в справке о Н. Николаеве в библиографическом словаре "Деятели революционного движения в России". М. Изд-во о-ва политкаторжан. 1929. Т. 2. Ч. 1.
39 ГА РФ, ф. 112, д. 495/2, л. 234.
40 Там же, л. 239.

ПУТЬ К ГРОТУ

*«Этот эмиссар принудил некоторых из них
оказать ему помощь в совершении убийства».
Бородатые основоположники*

Году в 1988-м (точно уже не помню) я, наконец, выбрался посмотреть место, где был убит Иванов. Вместе с Леней Парфеновым - он жил тогда в районе Новослободской, только что снял «Детей XX съезда» и был в легком (а не тотальном, как теперь) фаворе, мог спокойно погулять - мы прошли аллеями парка к Тимирязевке и вышли к прудам. «Где-то тут должен быть тот самый грот», - говорил я ему.

Искали недолго. Только одно сооружение на берегу пруда напоминало, что оно когда-то было большим гротом: обшарпанные колонны у забитого наглухо входа, земляная, поросшая травой, насыпь сверху. Со стороны подумать - то ли овощехранилище, то ли гараж.

- Сказать американцам, что это имеет отношение к «Бесам» - «Demons!» - они бы быстро все в порядок привели и туристов приманили, - заметил Леня.

«Не надо, - думал я про себя, осматривая окрестности. - В России все по-другому...»

Старинный грот в парке земледельческой академии был заброшен уже тогда. Одна из забав графа Разумовского, «приют сердечного уединения» использовался для таких же, как и сейчас, прозаических хозяйственных нужд. И никому не могло прийти в голову, что скоро этот грот станет печально известен всей России, и сюда, в глухой угол парка, начнется даже паломничество.

Но продлится оно недолго. Вскоре, по настоянию академического начальства, грот будет разрушен.*

Тем не менее люди будут продолжать тянуться сюда, повинувшись тому неизъяснимому закону, который манит человека к местам событий чрезвычайных...

Этот закон гениально описан автором «Преступления и наказания». И сам он побывал здесь, работая над новым романом. Об этом можно судить по признанию Хроникера в «Бесах» («Я потом нарочно ходил туда посмотреть») и по описанию «ставрогинского парка» - топографически очень точно совпадающему с реальным Петровско-Разумовским.¹

* Грот представлял собой сложное полуподземное сооружение с двумя большими входами-портиками и длинной зигзагообразной галереей, покрытой земляным валом. Фактически была разрушена одна его часть - вход, обращенный к лесу, где произошло убийство И. Иванова. Другая часть, обращенная к прудам, и сохранилась поныне. Строго говоря, это не то место, где можно организовывать литературно-политический туризм.

Увы, точность касалась только топографии. Воля художника, подхлестываемая политическими пристрастиями, творила свою причудливую режиссуру финала этой истории. И основным чувством автора - как это ни печально сознавать - было злорадство: «Наши» (так жестко называл Достоевский приближенных Верховенского-Нечаева) чувствовали, что вдруг, как мухи, попали в паутину к огромному пауку; злились, но тряслись от страха»... Во всяком случае, ни малейшего желания вникнуть в то, как было, у автора «Бесов» не присутствовало.

Несколько лет спустя у развалин грота подолгу, часами, просиживал студент-новичок академии, будущий писатель Владимир Короленко. «Место было глухое, в стороне от больших аллей. Поблизости сочился ручеек и шумели деревья. Под шорох деревьев и тихое журчанье ручья я старался угадать значение мрачной драмы», - вспоминал он.

«Угадать» - это вернее. Нет заранее заготовленных ответов, а есть желание найти истину. Подход куда более плодотворный...

Почему же Нечаев избрал для своей агитации земледельческую академию? И почему именно здесь он нашел на первых порах немало сторонников?

По тем временам это было самое демократичное высшее учебное заведение в России. Основанная в 1865 году, академия принимала, как было объявлено, «всех желающих, из всех сословий». Здесь учились люди если не из народа, то по крайней мере ближе всего к нему стоящие. Каждое лето петровцы проводили на практике в деревне и, съезжаясь, обсуждали свои впечатления. Об этом вспоминал А. Кузнецов, говоря, что «положение народа всегда рисовалось в мрачных красках и выявлялось недовольством реформой 61 года».2

Расчет Нечаева, сделанный, возможно, еще в Женеве, становится понятен. Не получив поддержки у петербургских студентов - они в его глазах были «аристократами» и «буржуа» - он искал публику попроще. Немаловажный для Нечаева фактор - в Москве его совсем не знали, можно было врать что угодно.

Петровцы не отличались ни радикализмом, ни организованностью, заметно уступая в этом отношении студентам других учебных заведений, особенно петербургских. По данным жандармского ведомства, из обучавшихся в ней с 1866 по 1873 год 1100 студентов «вредными в политическом отношении» признавались «всего» 142.3 Если учесть, что подавляющая их часть попала в поле зрения полиции в связи с нечаевским делом, то взгляд III отделения на академию как на «котел ведьм» был большим преувеличением. Это были, как говорил адвокат К. Арсеньев, «социалисты по чувству». Непосредственно соприкасаясь с мужиками, петровцы просто жалели их.

Два предыдущих неурожайных года в России вызвали массовый голод в деревне, охвативший 23 губернии. И, несомненно, что многие студенты академии разделяли гнев автора «внутреннего обозрения» (возможно, Н. Демерта) в первом номере «Отечественных записок» 1869 года:

«Когда люди томилась голодом, ели древесную кору, солому с крыш, даже гнилые бревна - в это время одни старались уверять, что голода вовсе нет, другие, зная всю степень нужды бедствующего народа, скупали хлеб и задерживали его продажу, чтоб возвысить в цене, и кровью и жизнями, может быть, сотен людей - нажиться! А над всем этим раздавался крик, что голодает народ оттого, что спился и распустился после своего освобождения от крепостной зависимости...»

Самый демократичный состав студенчества был и самым нищим. Красивый жест правительства не был ничем подкреплен. Вопрос о хлебе насущном для усвоения наук

о хлебе неотвратно стоял перед большинством молодых людей, съехавшихся сюда со всей России. Недовольство стало спадать лишь с открытием общественной кухмистерской (столовой), созданной на взносы студентов.

Об устройстве кухмистерской больше всех хлопотали старшекурсники Алексей Кузнецов и Иван Иванов. На них как на «передовых» и указали Нечаеву.

Кузнецов и Иванов не были близкими друзьями, но по законам тогдашнего студенчества считалось бесчестьем не помогать друг другу. Многие потом отказывались верить в то, что один из них стал участником убийства собрата, - настолько чудовищной и противоестественной была ситуация. Объяснение пытались искать в малодушии Кузнецова, в его безволии и беспринципности... Пока воздержимся от выводов. Обратимся лучше к архивным документам, которых не касался, кажется, никто.

Прежде всего заслуживает внимания история вербовки Кузнецова в тайное общество, точнее - его «психологической обработки» Нечаевым.

Надо сказать, что Нечаев имел дело с человеком, которого трудно назвать идеалистом. Он был скорее реалистом - в «писаревском» значении, какое имело это слово тогда.

Кузнецову в это время шел уже 25-й год. И он давно жил своим умом. Приехав в Москву из Херсона, из богатой купеческой семьи, он окончил здесь коммерческое училище, а затем поступил в Петровскую академию. Ко времени знакомства с Нечаевым он находился на последнем, выпускном курсе, писал диссертацию и имел твердые жизненные планы.

Идея «долга народу», владевшая им, как и всем поколением 60-х годов, оформилась в намерение работать в земстве. Вместе со своими ближайшими друзьями он задумал создать кочующие агрономические школы для крестьянства. О серьезности этих намерений он говорил следователю после ареста:

«Под народными бродячими учителями я имею в виду тех, которые могут явиться на зов крестьянина, как доктор является на зов пациента... В такой чисто земледельческой пока стране, как Россия, только и могут помочь учителя в этой форме, особенно принявши в соображение отдаленность одного населенного пункта от другого». При этом он рассчитывал, что «бродячие учителя» будут устраивать «образцовые фермы и опытные поля, субсидировать которые должно земство».4

(Блестящая идея! - думал я, читая показания Кузнецова. - Осуществись она в широких масштабах, была бы огромная польза России. Был бы хлеб всегда, исчезло бы недовольство... Но приняли ли бы мужики этих бродячих учителей - не отдубасили бы уже при первой неудаче? И что же, за каждым подозрительным учителем - полицейский надзор? Нет, пожалуй, это была утопия...)

Те же свои планы Кузнецов изложил и при первой своей встрече с Нечаевым: «Я говорил о том, что уже срослось со мною, именно о необходимости работать в земстве, примером в хозяйстве доказать возможность улучшить благосостояние народа, потому что земля истощена, и мужики ничего не сделают без знания земледелия».

Чем же все-таки удалось Нечаеву привлечь к себе столь откровенного «консерватора»?

Чтобы понять это, надо прочесть, наверное, все пятьдесят листов следственных показаний Кузнецова. Они досконально, до мельчайших подробностей, раскрывают казуистику нечаевской агитации, которая напоминала осаду крепости.

Три «приступа» - в течение трех дней - делал он, чтобы пробить брешь в упрямой недоверчивости студента.

В первый день разговор длился шесть часов (!) подряд. Приведем его общую канву.

Кузнецов: «Он расспрашивал меня о моих намерениях. Я спросил, для какой цели. Он отвечал: а может быть и договоримся, если вы человек честный... Я стал говорить об артелях, ассоциациях, он назвал меня «буржуа» и сказал: «Вы благодумствуете, а народу нечего есть»... Он спросил: «А знаете ли вы о существовании Интернационального общества в Женеве?» и на мой ответ «не знаю» заявил, что общество давно уже имеет в России своих членов, с помощью которых была поднята студенческая история в Петербурге, что оно действует и в других местах... Я спросил: «Почему же до сих пор о нем не слышно у нас?» Он отвечал: «Так вы думаете, что вам и скажут, может быть, около вас уже что-то делается да вы никогда не увидите, потому что это страшнейшая тайна...»

На другой день разговор шел в том же ключе: о «благодумных» занятиях наукой и о том, что «народу нечего есть». Кузнецов отстаивал свою позицию, но признавался: «Диалектически я чувствовал, что проигрываю». В заключение Нечаев дал ему прокламацию «Народная расправа» и «очень ловко начал толковать, что самая выгода должна заставить нас вступить в общество, так как иначе нас все равно могут раздавить при восстании»...

Прокламация не встретила одобрения. «Мы прочли «Расправу» и пришли к заключению, что здесь проглядывает чья-то личная злоба, для нас непонятная», - отмечал Кузнецов.

Но Нечаев продолжал наступать. На третий день вместо прямой атаки в ход было пущено другое средство: мягкая просьба о содействии с условием сохранения полной тайны. «Вы купец - можете и между купцами действовать, лишь бы охота была», - говорил он Кузнецову, обещая, что при вступлении в общество безопасность гарантируется неразглашением личности («только номер, фамилии никто знать не будет»).

«Я был поставлен его ловкими фразами в необходимость сказать роковые слова: согласен помогать», - признался Кузнецов.

Пятьдесят лет спустя, на склоне своей долгой и трудной жизни, Алексей Кириллович Кузнецов, ветеран партии эсеров, вспомнит и опишет еще многие подробности этой истории. Доверие к Нечаеву открывала, по его словам, прежде всего «беззаветная вера в честность учащейся молодежи». (Неписанный кодекс чести российского студенчества 1860-х годов действительно утверждал строгий нравственный ригоризм, и само звание студента, к которому можно было обращаться только на «вы», подразумевало высокую порядочность. В этом один из главных секретов «студента» Нечаева: обман с его стороны казался просто немислимым. А доносить на кого бы то ни было, бегать в тогдашнее КГБ для студента было последней степенью падения.)

Помнил Кузнецов и другие детали. Это - «горящие глаза Нечаева, взгляд которых мог выносить далеко не каждый»; «ночуя у нас, он спал на голых досках, довольствовался куском хлеба и стаканом молока - такие мелочи на нас производили неотразимое впечатление»; «его постоянными словами были: «Нужно работать только для блага обездоленного народа»...»

Все эти подробности важны еще и тем, что они хорошо оттеняют историю вербовки Прыжова. «Согласен чем-нибудь помогать», - наверняка произносил и он...

* Именно последние черты Нечаева послужили причиной позднего парадоксального признания Кузнецова: "Несмотря на то, что Нечаевым поругано и затоптано то, чему я поклонялся, несмотря на то, что он своей тактикой причинял огромные нравственные страдания, - я все же искренне преклоняюсь перед Нечаевым как революционером". В решающей степени на эту оценку, несомненно, повлияло то, что Кузнецов до конца дней не знал всей правды о Нечаеве.

Нетрудно теперь представить картину вовлечения в общество других петровцев, в том числе и И. Иванова. Ведь последний, как и Кузнецов, не был «калужским гестом» - он обладал очень независимым характером. Тем не менее и его расположения весьма скоро сумел добиться Нечаев.

Вообще, личность Иванова и его роль в нечаевской организации изучены недостаточно. Случившееся 21 ноября сразу родило много легенд и о нем. Отчасти - из естественного: «О мертвых - или хорошо, или ничего», отчасти - из спекулятивных политических соображений. Охранительная пресса представляла его идеальным, смиренным «сыном народа», погубленным злоумышленниками-нигилистами. Некоторые газеты, характеризуя Иванова, вспоминали даже былинного Микулу Селяниновича. Нет нужды говорить, кому эта версия была выгодна.

Столь же идеализированное представление об Иванове - изначальном прототипе Шатова в «Бесах» - было и у Достоевского. По воспоминаниям жены писателя, на него произвели глубокое впечатление рассказы И. Сниткина, ее родного брата, тоже учившегося в этой академии. Сниткин якобы хорошо знал Иванова и говорил Достоевскому (во время своего пребывания на каникулах в Дрездене в 1869-1870 г.г.) о нём как «об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке, коренным образом изменившем свои убеждения», т.е. отошедшем от политики. Исследователи уже не раз высказывали сомнение в истинности сведений, переданных А. Г. Достоевской. 6 Однако мотив «перемены убеждений» Шатова играет важную роль в романе, хотя, читая отчеты о процессах, писатель мог убедиться, что ничего подобного не происходило.

Первую попытку воссоздания реальной биографии жертвы Нечаева предпринял Ю. Давыдов, пользовавшийся материалами архивов академии. Но добытые им факты из дела «о стипендиате Иванове» мало что проясняют (существенно, пожалуй, только то, что Иванов родился в местечке Кейданы Ковенской губернии и до поступления в земледельческую академию состоял несколько месяцев вольнослушателем Петербургского университета). В целом подход писателя к обрисовке личности Иванова слишком напоминает апологию, где даже имя и фамилия несут некий «житийный» смысл - «обретают значение и звучание едва ли не символическое», как признается он сам. 7 Но вряд ли корректно настойчивое стремление Ю. Давыдова «возвысить» Иванова за счет унижения Прыжова, Успенского, Кузнецова и Николаева. Всем им предопределены были **разные роли** - не более того. И в сущности жертвой мог стать любой из них. Во всяком случае Прыжову расправа Нечаева грозила реально...

По крайней мере в каноне «смирненного» Иванова никак не зачислишь. Он, передававший своим товарищам бланки с печатью-топором, наверное, не был столь беспечен, чтобы считать это лишь игрой, как считал Прыжов. О серьезном отношении к новому, рискованному делу и преданности его - не Нечаеву, но духу общества - лучше всего говорит тот факт, что он без колебаний пошел в грот. Скорее всего, романтика подполья была ему не чужда. Как вспоминал знавший его еще по Петербургу З. Ралли, «он был порядочным человеком и никогда не сделался бы шпионом». 8

Поводом к конфликту послужил приказ Нечаева расклеить прокламации в академии. Было это уже в начале ноября. Нечаева явно не удовлетворял ход событий - прошло уже два месяца с его появления в Москве, а «Комитет» еще ни разу громко не заявил о себе. Пора открыто возвестить неверующим, что в России уже есть революционная сила - об этом прямо сказано в изготовленной им в Женеве прокламации «От сплотившихся к разрозненным». От имени «Русского отдела Всемирного революционного союза» (мифическая организация, представленная фактически одним Нечаевым!) она возглашала:

«Братья!.. Озлобление и сознательное негодование прямо высказывается мужиком при встрече со всякой честно высматривающей (так!) личностью. Не видят и не слышат ничего только те из нас, которых от народа отделила пропасть и которые продали дорогое будущее за гнилую минуту настоящего. Тем хуже для них! Во дни расправы масса раздавит нас вместе со своими палачами...» 9

Этот примитивный текст был написан в Женеве самим Нечаевым. Своим диким слогом он мог только оттолкнуть. Недаром Прыжов называл нечаевские листовки «пустым звуком». А студент П. Енкуватов, близкий Иванову, сравнивал их с «тарантулом, на которого смотрят с отвращением и любопытством»...

Иванов отказался расклеивать прокламации. Именно этот отказ послужил началом его резкого расхождения с Нечаевым. Других поручений, исходивших непосредственно от «Павлова» или со ссылкой на него, Иванов уже не выполнял. Отказался предоставлять отчеты о деятельности созданных в академии «пятерок» и деньги, собранные для нужд общества. В существование «Комитета» он все же продолжал верить, но «Павлова» как его представителя уже не признавал. («Иванов неоднократно требовал, чтобы ему сообщили состав Комитета, весьма часто протестовал против беспрекословного исполнения того или иного требования ЦК, чем вызывал нескрываемое раздражение Нечаева», свидетельство А. Кузнецова.)

Нечаев, почувствовав упорное сопротивление, не мог не сознавать, что оно грозит ему разоблачением, полным крахом всех расчетов. Иванова следовало убрать с дороги - устранить, как устранялись все другие противники. Причем, обычный способ - упрятывание в тюрьму с помощью подобранных компрометирующих прокламаций - не годился: все на виду, и времени мало. Требовался иной ход, сразу разрубающий все узлы. И мысль объявить Иванова доносчиком созрела в голове Нечаева, надо полагать, мгновенно...

Можно сказать даже: он давно вынашивал эту мысль, давно искал себе жертву, и дело было лишь за подходящим случаем. Тут есть весомое доказательство. Судя по запискам Г. Енишерлова, Нечаев еще в Петербурге отличался особой кровожадностью в своих высказываниях. Когда студенты (осенью 1868 года), обсуждая устав тайного общества, остановились на пункте: «Чему подлежит выходящий из общества член?», Нечаев заявлял одно: «Смерти». (В этом его никто не поддержал. «Безмолвие о деятельности общества» - предлагали остальные). Тогда же он прямо заявил Енишерлову, что «для политической организации необходима тайна, и ее надо удерживать всякими способами, а главным образом страхом». Наконец, именно тогда он предложил свой «знак» расправы со шпионами: человек, уличенный в этом, должен быть сначала задушен, а затем ему простреливается голова ю... (И все это - до последней детали - стало реальностью год спустя!)

Знал бы Достоевский эти подробности, «Бесы» вышли бы еще страшнее - и точнее. И роман бы его не просто запрещали в сталинской России, а сжигали...

Поставив цель уничтожить Иванова, Нечаев понимал, что в одиночку ее не осуществить. Требовались помощники. Но их прежде надо было убедить в предательстве Иванова. Задача непростая - ведь дело касалось товарища, который хотя и не был ни с кем (кроме Кузнецова) коротко знаком, но являлся членом «главного» кружка и имел случай не раз доказать свою преданность.

Из стенограммы процесса явствует, что убийству предшествовали два совещания - «теоретическое» и «практическое» (под такими названиями они фигурировали в материалах суда). Они проходили 19 и 20 ноября в центре Москвы на квартире, снятой незадолго перед этим Кузнецовым.

Замечу сразу, что в первом совещании Прыжов не участвовал. К этому времени он, как мы знаем, вообще всячески старался отойти от дел общества и скрывался от Нечаева по Москве. Но на второе совещание Нечаев его все-таки привел («вытащил из дому», - говорил Прыжов на процессе). Однако присутствовал на нем историк недолго. Поняв, что речь идет о расправе над Ивановым, он сразу ушел, категорически заявив, что отказывается участвовать в этом предприятии.¹¹

Иванова Прыжов знал мало - «видел раза три», так он сам объяснял. Не были ему достаточно известны и причины, побудившие Нечаева так круто изменить свое отношение к студенту-петровцу. На следствии историк заявлял: «Иванов, отказываясь слушаться Нечаева, отвечал смехом на предложение предоставить деньги, которые он собрал, дразнил этим Нечаева, доводя его до бешенства, и отсюда произошло убийство». В «Исповеди», имея возможность тщательно обдумать и взвесить все случившееся, он высказал более глубокое понимание причин: «По всем признакам, убийство совершено Нечаевым тогда, когда он убедился, что дело **нейдет** (выделено мною - В. Е.), и он решился совершить его не тайно где-нибудь, но одному, а замешать всех и этим сделать громадный скандал».

Верно оценив мотивы действий Нечаева, Прыжов тем не менее не знал всей подоплеку событий. А она, эта подоплека, чрезвычайно важна для нас, для понимания существа дела и точной расстановки моральных акцентов.

...Неискушенный читатель «Бесов» вряд ли задумается над тем, насколько соответствует глава «Многотрудная ночь» реальным событиям. И поэтому эпизод, где Петр Верховенский извещает «наших» о готовящемся Шатовым доносе, тоже закрепляет известные иллюзии и предубеждения. Наверное, нет смысла сопоставлять все детали этого эпизода с подлинными фактами и снова «улучать» писателя в тех или иных отступлениях. Достаточно усомниться только в общем выводе автора, который гласил: «В то, что Шатов донесет, наши все поверили, но в то, что Петр Степанович играет ими как пешками, - тоже верили». По такой логике выходит, что сообщники Нечаева шли на убийство товарища, зная, что ими играют...

Может быть, не стоило бы касаться этой «художественной версии», если бы она не получила развитие под пером современного беллетриста: «Успенский колебался минутно: оценивая факты теоретически, он не шарахался от практики. Прыжов ужаснулся и согласился. Кузнецов не поверил в предательство и... опустил глаза долу», - безапелляционно заявляет Ю. Давыдов. ¹² При этом делаются намеки на некую «патологию», якобы свойственную им, и утверждается, что они почему-то были «избавлены от личной ответственности» (!).

Надо знать, по крайней мере, какими методами действовал Нечаев, чтобы убедить остальных в предательстве Иванова.

Еще до «теоретического» совещания он предпринял изощренный психологический нажим на П. Успенского, на квартире которого ночевал. Подробности этого запечатлены в следственных показаниях Успенского.

Известив его о неожиданном отказе Иванова подчиняться правилам организации, Нечаев поначалу «стал раскисать и бранить себя за то, что ввел в общество такого человека». ¹³ Это «самобичевание» явно было рассчитанным на сочувствие и поддержку. Мягкий Успенский, ставший «секретарем» тайного общества, и так уже находился под безраздельным влиянием Нечаева - «чуть не молился на него», как признавался сам (подчеркнем: ни в малейшей степени не сомневаясь в правдивости своего друга!).

Мнение об Иванове у Успенского также формировалось под чужим влиянием: «В академии про него говорили, что что бы ни предложить - Иванов всегда представлял оппозицию». Собственные впечатления Успенского от встреч с Ивановым были далеки от симпатии. «Он имел крайне тяжелый и угрюмый характер, был ограниченного ума и сварливый», - объяснял он, добавляя, что «Нечаев не увлек Иванова - потому именно, что последний был человек ограниченный в уме, такие люди не могут быть увлекаемы»...

Этот неприязненный оттенок отношений открывал простор для Нечаева, который хорошо умел подогревать страсти.

«У него была манера не самому высказывать мысль, а наводить на нее, так что разговаривавший как будто сам доходил до такой мысли», - замечал Успенский.

Манера, что и говорить, типично иезуитская. И именно она, вероятно, родила, «высекла» в той горячей ночной беседе испуганную мысль о том, что «Иванов **может** донести»... Прямо Успенский об этом не сообщал, но версия о доносе впервые возникла в их разговоре с Нечаевым - раньше она нигде и никем не высказывалась.

С готовностью подхватив ее, Нечаев быстро разовьет ее и превратит возможность доноса в очевидность (уже к общему совещанию сфабрикует, как увидим, «документальное» подтверждение на этот счет). А Успенский с этого момента уже целиком будет захвачен ненавистью к Иванову.

«Я полагаю, что он был в состоянии в своем раздражении рассказать все и всякому - что приравнялось бы к доносу», - объяснял он на следствии. И на процессе подчеркивал: «У меня составилось внутреннее убеждение относительно виновности Иванова, и те обстоятельства, которые я знал, подтверждали мое мнение. Если бы я не думал так, то никакая сила не заставила бы меня поступить против моей воли». 14

О том, что им могут играть, он даже не задумывался. И для мыслей о каком-либо лицемерии с его стороны, о нарочитом подыгрывании Нечаеву, то есть о зараженности нечаевщиной, - нет никаких оснований. (Когда его новый друг, откровенничая, заявил о своей симпатии к системе иезуитов - в связи с вышеупомянутой книгой Т. Гринингера - Успенского это шокировало. Но Нечаев тут же успокоил его, сказав: «Обман относится только к внешнему миру; самих же себя нам нет надобности обманывать». 15 Вероятно, будь Успенский более проницателен, он бы догадался, как широко может простирается эта двойная мораль. Но в ситуации, когда Нечаев стал для него «чуть не богом», сомнениям места не оставалось...).

Если всех, кто соприкасался с Нечаевым, разделить на «верующих» и «неверующих» в него, то Успенский в его пылкости был, безусловно, «верующим №1».

Столь же самозабвенно был увлечен Нечаевым, пожалуй, лишь Коля Николаев. Убедить наивного, замороженного юношу в «неблагонадежности» Иванова (а также «неблагонадежности» Прыжова, как увидим) Нечаеву не стоило больших усилий.

Сложнее было найти подход к Кузнецову, который лучше других знал Иванова. Но Нечаев к этому времени сумел продвинуться далеко вперед в своей осаде на сердце и ум недоверчивого студента.

Простое «согласен помогать» постепенно привело к тому, что Кузнецов стал исполнителем самых разных поручений «Комитета». Он организовал вокруг себя «пятерку» из ближайших товарищей и добросовестно начал собирать деньги, сам внося сразу 200 рублей (это была самая крупная сумма из всех взносов в кассу общества). Почувствовав податливость «куцпа», Нечаев упросил его снять квартиру в центре Москвы «для конспиративных целей». Кузнецов переселился в нее и тем самым оказался оторванным от академии: это скажется на всей его последующей роли.

Став членом главного кружка (под №5), он постоянно участвовал в его заседаниях и все теснее сближался с Нечаевым. А тот делал все возможное, чтобы подчинить его себе. Захватывающие, с горящими глазами, рассказы «героя-студента» о своих подвигах - о том, как он «убежал из крепости, надев шинель какого-то генерала», как «замерзал в каземате, где стены покрыты льдом, так что при допросе ему разжимали зубы ножом, чтобы влить несколько капель спирта» и т.д. - принимались Кузнецовым за чистую монету. А систематичные, тонко рассчитанные мистификации все больше укрепляли веру в существование тайной могущественной организации, готовой вот-вот поднять восстание и совершить правительственный переворот...

Под влиянием Нечаева менялось и отношение Кузнецова к Иванову. Если в конфликте по поводу расклеивания прокламаций в кухмистерской он был, как сам признавался, «целиком за Иванова», то затем стал резко осуждать его за неподчинение правилам общества. «Очень самолюбив», - говорил он об Иванове и на процессе.

Поссорив их, Нечаев тем не менее понимал, что убедить Кузнецова в предательстве товарища будет нелегко. Поэтому к общему совещанию он готовился по-особому.

Еще раньше, как вспоминал Кузнецов, Нечаев «приносил на собрания пакеты, вскрывал их и, искушая нас, говорил: «Посмотрим, что же нам пишет Комитет».

О том, что эти инструкции и распоряжения фабриковал он сам, никто не подозревал. Им верили и старались выполнять. И теперь в ход был пущен этот надежный прием.

На совещании 19 ноября, как свидетельствовал Кузнецов, Нечаев «прочитал сообщение ЦК «Народной расправы», что стало известно не только недовольство Иванова деятельностью организации, но и его намерение донести. При этом Нечаев заявил нам, что в Комитете имеются веские доказательства, но ввиду строгой конспирации он не имеет права их огласить».¹⁶

Вот, пожалуй, квинтэссенция Нечаева и нечаевщины! «Веские доказательства», о которых рядовым членам, «винтикам», знать необязательно. Поистине чудовищное инквизиторство маленького диктатора! Впрочем, чем не модель действий ЦК сталинской эпохи...

При таком повороте событий все сомнения и колебания у присутствовавших - Успенского, Кузнецова, Николаева - должны были отпасть. И они отпали. Дело стояло только за решением судьбы Иванова.

«Горячо и долго дебатировался вопрос: что же делать? Погубить ли так быстро и успешно развивающееся общество, или же ради сохранения его пожертвовать жизнью Иванова?» - таким был, по свидетельству Кузнецова, основной предмет совещания.

За всем этим стояла целая морально-философская драма: обсуждался вопрос о праве на чужую жизнь, жизнь товарища. Не зря совещание было названо «теоретическим», не зря шло оно «горячо и долго». Впервые молодые люди столкнулись со столь трудным и неотвратимым выбором...

Решение принималось под огромным нажимом Нечаева. Вначале ему пробовали возражать. «Мы не видели средства сделать Иванова безвредным иначе как постепенным отстранением его от дела», - вспоминал потом Успенский. Предлагалось в качестве компромисса даже «заточить куда-либо» Иванова. Однако Нечаев стоял на своем: только смерть!

(О том, какие доводы он приводил в обоснование этого шага, сведений не сохранилось. Но примеров и аналогий было слишком много: вся история тайных

обществ и заговоров, история войн и революций не только оправдывала, но и освящала убийство предателей и шпионов. Недаром Успенский - человек книжный! - во время своей речи на процессе заставил зашевелиться публику, вспомнив эпизод из древней римской истории:

«Так Брут и Кассий поссорились накануне Фарсальского сражения 17»...)

В конце концов Нечаеву удалось убедить всех троих. Главным аргументом, как говорил Успенский на процессе, было то, что результатом предательства Иванова «была бы страшная трата сил человеческих, ибо мы знали, что значит быть арестованным по малейшему поводу».

Участь Иванова была предрешена. На следующем, «практическом» совещании речь шла уже только о месте и способах убийства.

Условия диктовал Нечаев. Идея заманить Иванова в грот, а затем спрятать труп в пруду принадлежала ему. Некоторое время после своего приезда он жил на квартире в Петровской академии и, судя по всему, хорошо изучил окрестности.

Но для того, чтобы заманить Иванова в грот, нужен был прежде всего серьезный предлог.

Очевидно, слухи о типографских принадлежностях, спрятанных после разгрома кружка ишутинцев, уже ходили среди студентов-петровцев. Вполне возможно, что эти слухи распускал сам Нечаев, постоянно ссылавшийся на свою связь с этим кружком. («Начинание нашего святого дела было положено утром 4 апреля 1866 года Дмитрием Владимировичем Каракозовым», - говорилось в листке №1 «Народной расправы», привезенном Нечаевым из Женевы).

Иванов, на взгляд Нечаева, еще не настолько разочаровался в деле, чтобы не заинтересоваться новостью о шрифте, который спрятан в столь неожиданно близком месте. При этом надо сослаться на сообщение «Комитета» - Иванов в него верит. Поручение таинственное и важное - вряд ли не соблазнится. Но кто скажет, объявит ему о нем?

Себя Нечаев, конечно, сразу исключил. Успенского - тоже (у того теперь враждебное отношение к Иванову - он может выдать себя словом или взглядом, и Иванов почует неладное). Кузнецов слишком волнуется - может дрогнуть и испортить всю кашу. Николаев предан, но Иванов его почти не знает - вдруг да не послушается. Остается только... Прыжов. Фигура подходящая во всех отношениях! Иванов к нему расположен, уважает как старшего и ученого человека. Поверит любому слову. А главное, это единственный способ привлечь упрямого «профессора кабацких наук» к серьезному делу. Все время он куда-то уклоняется, убегает. Если отпустить его так просто - потом разболтать может. Слишком легко отделаться хочет. Нет, пусть-ка еще послужит. Я его пока не пугал по-настоящему, вот и испугаю. Шутки кончились, дорогой страдалец за народ. Пора страдать всерьез - не со слезами, а с кровью...

Этот «внутренний монолог» Нечаева - авторский вымысел или домysel, как угодно. Читатель может ему верить или не верить. Но то, что логика Нечаева была именно такой, вряд ли можно сомневаться. Иван Гаврилович сопротивлялся, хотел вырваться из цепких лап - его следовало удержать, привязать. Самая лучшая связь - кровью. Потом уже не пикнет. Так действовали «генералы» иезуитского ордена, обращая колеблющихся в своих послушных слуг. Так действовали бандиты во все времена...

Чтобы отчетливее понять реальность этой логики, надо иметь в виду еще один важный фактор.

Нечаев спешил. Изогвавшийся, переставший различать уже границы действительного и воображаемого, фанатик-авантюрист тем не менее не мог не сознавать, что затея его зашла в тупик. Судя по дальнейшим событиям - по готовности, с которой он улизнул за границу - мысль о возвращении в Женеву, под крыло Бакунина, его никогда не покидала. Из материалов следствия видно, что за несколько дней до расправы с Ивановым он сообщил членам главного кружка о своем предстоящем отъезде в Петербург для переговоров с тамошним «Комитетом» (а до этого внушил им мысль о существовании в столице целой «правительственной партии» во главе с военным министром Милютинным, якобы могущей поддержать «Комитет»). Назначалась и дата отъезда - 22 ноября. Уже по этому можно судить, что он заранее готовил себе пути отступления. И отсюда нетрудно понять, сколь высока была его ставка на успех дела 21 ноября. Ликвидация «шпиона» должна была произойти во что бы то ни стало - только это могло его спасти и даже возвысить в глазах Бакунина.* Именно от Прыжова теперь целиком зависело все задуманное. И не случаен резко усилившийся в эти дни напор Нечаева на Ивана Гавриловича. Он прослеживается во всех документах дела. К ним и следует обратиться.

«Практическое» совещание проходило вечером 20 ноября. А утром того же дня Нечаев послал Прыжова - в сопровождении Николаева - в Петровское, чтобы он встретился с Ивановым и узнал его настроения.

Эта важная деталь в газетных очерках о процессе упомянута лишь мельком. О ней сообщил Кузнецов, сказав, что Прыжов, вернувшись, «подтвердил отказ Иванова от повинования Комитету и отказ передать деньги».

Казалось бы, все это не столь существенно: позиция Иванова и так была известна. Однако уже сам факт посылки Прыжова в академию говорит о многом. Прежде всего он наглядно свидетельствует: Иван Гаврилович пользовался доверием Иванова, а Нечаев это доверие эксплуатировал. Несомненно также, что роль Прыжова в данном случае не была ролью официального и открытого «парламентера» общества - это была скорее роль тайного «разведчика».

Сам он об этом тоже, наверное, догадывался. Отношение к Иванову у всех резко изменилось - не почувствовать это было невозможно. И личный разговор с Ивановым мог ему на многое открыть глаза.

Эта встреча вообще могла иметь огромное значение для дальнейших событий. Ведь встречались два «неверующих», два противника Нечаева - один горячий и явный, другой тихий и скрытый. И будь они откровенны, найди они общий язык, события могли потечь совсем по другому руслу...

Но быть откровенным Прыжову было невозможно! Николаев, неотлучно находившийся рядом с ним, был послан Нечаевым недаром. «Ревизор» выполнял функцию соглядата...

Драматичнейший психологический момент!

Судить о нем можно по нескольким лаконичным, но выразительным штрихам, сохранившимся в следственных показаниях Прыжова.

«Я знал, что Павлов чувствует к Иванову личную ненависть и старался по возможности устранить ее дурные последствия. Я тщетно упрасивал Иванова

* Нельзя не отметить - еще раз - тонкость суждения А. Суворина: "Общество, составленное Нечаевым, неминуемо распалось бы само собою, оно уже и начало разлагаться перед убийством Иванова, и убийство это было тем salto mortale, к которому Нечаев прибег как к единственному средству спасти свое фальшивое дело".

уступить хоть в чем-нибудь», - сообщил Прыжов, добавляя: «Николаев, вероятно, помнит это обстоятельство». 18

Вот тончайший нерв этой встречи! Ситуация была похожа на свидание в тюрьме в присутствии надзирателя. Причем - злая шутка судьбы! - роль надзирателя принадлежала тому, кто им бывал в жизни... (Через день, как увидим, ситуация в точности повторится с той лишь разницей, что молчаливый «надзиратель» будет выполнять гораздо более жестокую функцию).

Прыжов не мог прямо заявить Иванову о грозящей ему опасности. И нетрудно понять, что скрывалось за словами: «Упрашивал уступить хоть в чем-нибудь». Это уже не просьба - мольба!

Гаврилович всеми силами старался отвести беду. "Дурные последствия" ненависти со стороны «Павлова»-Нечаева могли быть, как он догадывался, самыми печальными. Надо было погасить или хотя бы сгладить разгоревшийся конфликт во избежание непредсказуемых эксцессов. Сколь ни темной и гнусной казалась Прыжову игра, которую вел Нечаев, следовало до поры принять ее условия, как принял он сам. (И эта компромиссная, выжидательная позиция была, пожалуй, более разумной в этой сложной, напряженной ситуации, чем по-юношески прямолинейная и неосторожная позиция Иванова. Мистификации «посланца от Бакунина» рано или поздно должны были раскрыться - на это Прыжов, безусловно, надеялся. Он знал, что в ближайшее время Нечаев намеревается ехать в Петербург, и в его отсутствие можно было бы, собравшись вместе, обсудить все свои сомнения и догадки и решить, как действовать дальше).

Вероятно, на такой прямой и обстоятельный разговор с Ивановым Прыжов втайне и рассчитывал. Но его не получилось. Свидетель мешал найти и малейшее взаимопонимание в вопросе об «уступках» Нечаеву: Иванову было трудно понять, почему его так умоляют. Он горячился, и недомолвки не могли его не раздражать... Результат разговора оказался плачевным: в конце его между ними произошел какой-то неприятный инцидент, заставивший Прыжова серьезно встревожиться и сообщить о нем Успенскому.

Тут тоже есть выразительное документальное подтверждение.

Успенский на следствии вспомнил такой эпизод:

«...Утром (20 ноября - В. Е.) явился Прыжов и рассказал, что Иванов ничего слышать не хочет и бог знает что говорит. Действительно, выходка Иванова была бестактна и нелепа, так что и меня взорвало...» 19

Как понимать все это? Что значат слова «бог знает что говорит», «выходка - бестактна и нелепа»? И почему и Успенского «взорвало» (он дает понять, что «взорвало» и Прыжова)?

Обо всем этом остается только гадать. Но при всех вариантах толкований очевидно, что «выходка» Иванова (надо полагать, словесная) содержала какую-то угрозу всем.

Какую именно?

Вряд ли Иванов заявлял Прыжову о своем намерении обратиться к полиции. Может быть, он, будучи раздражен, сделал намек на это - запугивающий, полусерьезный, двусмысленный, но понятый буквально? Или же Иванов угрожал (не стесняясь в выражениях, с русским матом!) лично явиться в библиотеку к Успенскому и выпытать у него - «бестактно», силой - всю правду относительно Нечаева? Можно предположить, что эти угрозы каким-то образом касались и Прыжова - ведь он тоже «взорвался», то есть был недоволен и обескуражен результатом разговора с Ивановым...

Как бы то ни было, это свидание только подлило масла в огонь: оно резко усилило общее недовольство Ивановым и косвенным образом подтверждало мысль о готовящемся доносе.

Причем, теперь, судя по всему, подозрения на этот счет могли закрасться и в душу Прыжова. Но подозрения - еще не факт, не аргумент. Простой житейский опыт подсказывал: мало ли что в горячке человек наговорить может? Надо разобраться, надо сойтись всем вместе и спокойно все рассудить...

Призыв к примирению проходит красной нитью во всех действиях Прыжова в эти дни. Об этом свидетельствовали все остальные участники дела - и на следствии, и на суде. Сами же они находились в полной власти Нечаева, который теперь - подлинный диктатор! - только успевал отдавать команды. (Успенский сказал об этом на следствии, наверное, точнее всего: «Прежде он был сильнее нас в силу своего ума, своей энергии, а позже - в силу своего высшего положения. Мы были солдатами или еще хуже их...»).

Спротивлялся один Прыжов.

Зная уже итог, можно сказать: «Плохо сопротивлялся».

Но все-таки подождем судить.

Всех обстоятельств, всех деталей этого печального предзимнего дня теперь, за «толщей лет», не разглядеть, не прояснить. Попробуем внимательно прочесть хотя бы то, что осталось на пожелтевших листах газетных отчетов и архивных дел.

Вот следственные показания Прыжова:

«...Рано утром 21 ноября, не дав выпить чаю, явился ко мне Павлов, теперь оказавшийся совсем другим лицом, вытаскивал меня из дому. Когда мы пришли на квартиру к Кузнецову, я увидел, что Павлов приготавливает револьвер и веревки. Я понял, что готовится смерть Иванову. Видя приготовления, я сказал: «Я на это не пойду». Он закричал на меня: «Теперь поздно отказываться, извольте идти». Я говорил, что их довольно и без меня, тем более, что я ночью ничего не вижу. Говорил, что в случае преследования бежать не смогу, они отвечали: «Ну так мы вас понесем». Боротся с железною волею Павлова, с его энергией и решительностью мне было трудно и невозможно... По приходе Иванова мне уже нечего было делать, как ехать туда же (в Петровское) - иначе мне бы не жить в этот вечер. Но я рассчитывал, что случай или счастье выручат, что, может быть, к моему голосу присоединится еще кто-нибудь и дело примет другой оборот...» 20

Эти показания Прыжов давал 13 января 1870 года, через полтора месяца после ареста. Потом, на суде, он сообщит еще целый ряд важных подробностей. Было ли умолчание о них на предварительном следствии сознательным - сказать трудно. Наверное, еще не все тогда улеглось в голове. Наверное, были опасения, что, сказав лишнее, умножишь чью-то вину.

Однако что же все-таки означают слова: «иначе мне бы не жить в этот вечер»? Так грозно и неотвратимо замкнулся круг судьбы, что уже не разомкнуть? Или же был шанс на другой, более достойный выход?

Вопросы не праздные. «Добряк душой, мухи не обидит» - и соучастие в убийстве, хотя и невольное. Не вяжется это, не согласуется. Если и в самом деле добр, то «не убий» и не дай убить душу живую. Костями ляг, а не дай. Если же не можешь помещать - уйди в сторону, умой руки, будешь чист. Правда, только перед законом чист, да и то могут осудить за недонесение о преступлении. А вина все равно останется: знал, не остановил. В «подлюки» зачислят...

Просты и строги нравственные законы. И, кажется, никакие обстоятельства тут не могут приниматься в расчет. Но о них, этих обстоятельствах, все-таки нельзя не говорить. Ибо они были действительно чрезвычайными, из ряда вон выходящими и вряд ли посильными для такого человека, как Прыжов...

«Что бы ни ожидало меня впереди, не может быть хуже того, что я пережил. Нечаев встретил меня совсем уже переломленного судьбами жизни и был так добр, что помог мне добить себя окончательно», - признавался он на следствии, подводя итог случившемуся.

Без этого признания невозможно понять всех действий Ивана Гавриловича в нечаевском обществе, а тем более его действий 21 ноября. Он был беспомощен и в мире обычных житейских отношений. И надо ли удивляться его беспомощности в этой свалившейся на него напасти, в узком мире заговорщичества?

«Для души - обман, для тела - насилие», - провозглашали некогда отцы ордена иезуитов. Нечаев был верен этому принципу. И больше всего это пришлось ощутить Прыжову, особенно в части насилия. Другим было достаточно обмана - ему, обман заподозрившему, выпало испытать на себе всю силу железной хватки Нечаева.

Все, кто писал о Прыжове, о его роли в убийстве Иванова, почему-то не обращали внимания на те эпизоды дела, где фигурировал револьвер. Между тем, они проясняют очень многое, если не все...

В следственных документах об оружии преступления сказано кратко:

«Револьвер системы «Смит Вессон» с барабаном на шесть пуль найден на месте задержания Николаева». 21

Это был единственный в обществе револьвер и принадлежал он Нечаеву.

Из материалов дела явствует, что в течение 21 ноября оружие несколько раз переходило из рук в руки. Почему, с какой целью - установить очень важно. И не менее важно, когда и где это делалось.

Утром этого дня Иван Гаврилович, как сказано выше, был «вытащен» из дому Нечаевым. То, что Нечаев явился так рано - «не дав выпить чаю» - свидетельствует о том, что он специально караулил Прыжова - от него теперь зависело все.

На квартире Кузнецова Прыжову воочию пришлось убедиться, что дело приняло самый нешуточный оборот.

Кузнецов на суде свидетельствовал:

«Придя ко мне, он стал говорить, что Нечаев просто с ума сошел и надо его каким-нибудь образом остановить от этого безобразия. Но тут вмешался Нечаев, он подошел к Прыжову и стал ругать его: «Вы опять за старое?» 22

Все это лишний раз подтверждает: Прыжов не только решительно протестовал против расправы с Ивановым, но и призывал всех одуматься.

Значит, он считал обвинения студента в измене абсолютно бесосновательными и ясно сознавал, что Нечаев нагло обманывает всех в этом пункте?

Утверждать это с полной определенностью, увы, невозможно. Повод для недовольства Ивановым, мы знаем, был и у него самого. Были и опасения ожидать от Иванова каких-либо неосторожных, непредсказуемых действий, чреватых катастрофическими последствиями для многих замешанных в дело людей. Эта неопределенность ставила его в двусмысленное положение и вызывала инстинктивное желание уйти в сторону (ср.: «довольно с меня»).

Чтобы рассеять его сомнения, Нечаев мог продемонстрировать то фальшивое сообщение «Комитета», которое показывал на «теоретическом» совещании. Вполне вероятно, что он заставлял прислушаться к голосу остальных - тех, у кого сложилось «твердое убеждение» в предательстве. Но если ему хоть в какой-то мере удалось разжечь в душе Прыжова подозрения по адресу Иванова, Иван Гаврилович все равно был против участия в черном деле самосуда. Убийство претило всей его натуре...

Чем же тогда объяснить дальнейшее? Только тем, что он испугался словесных угроз Нечаева и циничного: «Ну так мы вас понесем?»

Нет, были более веские причины. О них дают представление судебные показания Николаева:

«Нечаев говорил мне, что Прыжов, кажется, неблагонадежен, поэтому, если он будет отказываться, я должен уговорить его. Хотя это поручение для меня было очень неприятное, я все-таки не решился ему противоречить». 23

Значит, Иван Гаврилович после своих протестов сразу попал в «неблагонадежные». Это в духе Нечаева. Но не странная ли логика у Николаева? «Неблагонадежного уговорить» - «очень неприятное поручение»! И что бы он стал делать, если бы словесные уговоры не помогли и Прыжов отказался бы быть заодно со всеми (а он, несомненно, отказался бы)?

Нет, Нечаев приказывал Николаеву не «уговорить», а заставить Прыжова. И сделать это можно было только с помощью револьвера.

Почему сам Николаев откровенно не сказал об этом ни на следствии, ни на суде? Наверное, боялся, что против него будет новая улика - принуждение к соучастию в убийстве (хотя тоже подневольное). Наверное, поэтому - чтобы не усугублять вину товарища - не упоминал раньше об этом и сам Прыжов.

Но на процессе он - оступать некуда! - говорил прямо:

«Николаев, постоянно следивший за мною, был вооружен револьвером, и я не мог знать, на что он может решиться». 24

Эти строки, затерянные среди огромного утомительного текста газетных отчетов, можно сравнить с иголкой в стогу сена... Но иголка поистине золотая!* Она дает ключ к пониманию «душевных состояний» нашего героя в этот день. Она же предоставляет возможность еще раз с предельной наглядностью убедиться в цинизме и жестокости Нечаева.

Из показаний Кузнецова на суде мы уже знаем, что Нечаев с утра постоянно ругал Прыжова. Хозяин явочной квартиры упомянул также о том, что Нечаев уходил с Прыжовым в другую комнату и оттуда снова доносилась ругань. Здесь-то, очевидно, и было сказано о последнем поручении - привести Иванова в грот «раскапывать шрифт» - и продиктованы условия. Как диктовал их Нечаев - потрясая револьвером или просто показав его дуло - оставим воображению...

Где и как увидел Иван Гаврилович, что револьвер переключал в руки Николаева, остается тоже только гадать. Но зная уже Нечаева, вполне правомерно предположить, что он нарочно, желая еще больше запугать строптивого и «неблагонадежного» Прыжова, передал револьвер у него на глазах. Демонстративно или полускрытно - так, чтобы тот заметил лишь блеск оружия - это уже частности. Во всяком случае к моменту появления Иванова на квартире Прыжов узнал, что расправа в случае неповиновения грозит и ему.

Перед этим Нечаев посылал Николаева - снабдив его бланком с печатью-топором - разыскивать Иванова в академии. Было, вероятно, часов 10 утра, потому что езда в Петровское на извозчике неблизкая, а Николаев вернулся к обеду. Но ни с чем: Иванова дома не было. Там подсказали, что он поехал к своему знакомому студенту Лау, жившему где-то в центре Москвы неподалеку. Отправили Николаева к Лау. Нечаев кричал: «Если не приведешь, я его сам пойду и задушу».

* В принципе эти строки обнаруживаются без особого труда, при элементарно внимательном чтении газетного текста. Другой вопрос - желание их заметить. Судя по всему, у Достоевского такого желания не было. А современные беллетристы, как можно понять, пользуются главным образом уже опубликованным, вторичным материалом.

Для надежности вместе с «ревизором» он отправил Кузнецова. «Ревизор» вызвал Иванова, показал ему бланк - условный знак - и передал приказание «Комитета» срочно явиться на явочную квартиру. Иванов подчинился: он верил в «Комитет»! От Лау они вышли вдвоем. Кузнецов, прохаживавшийся по тротуару по другой стороне улицы, заметив их, быстро пошел вперед, чтобы предупредить Нечаева, что все в порядке. Николаев с Ивановым шли медленнее, как было условлено. (Все это - пересказ судебных показаний Николаева и Кузнецова).

На квартире оставался один Прыжов. Остальные - Нечаев, Успенский и хозяин квартиры, взяв извозчика, отправились в академию, к гроту. Было около трех часов полудни.

Почему Иван Гаврилович в этот момент не ушел, не убежал, воспользовавшись тем, что Нечаев, наконец, его оставил? Такой вопрос напрашивается сам собой. Сделать это, наверное, можно было - выбежать, затеряться в толпе, толкнуть дверь в любую лавку. Или последняя, перед уходом, угроза Нечаева подействовала так сильно, что парализовала волю? Сидел оцепенело или ходил по комнате, сжав руками голову, разрывающуюся от сознания неотвратимости беды? А скорее всего, просто времени на раздумья не оставалось: уже поднимались по лестнице Николаев и Иванов.

Дальнейшее - в лаконичных показаниях Николаева, выполнявшего «очень неприятное поручение»:

«Прыжов сказал Иванову, что нужно идти в академический грот и там отрывать какую-то типографию. При этом Прыжов был страшно взволнован, но Иванов не мог этого заметить, несмотря на то, что Прыжов обрывался на каждом слове. Затем вышли, наняли на Страстном бульваре извозчика и поехали...»

«Страшно взволнован», «обрывался на каждом слове» - но говорил, посылал человека навстречу гибели! Кажется, здесь кончатся все пределы понимания. Даже то, что Николаев-«ревизор» стоял рядом (держа руку в кармане и отводя глаза в сторону - как еще?) - не такая уж страшная угроза. Ведь здесь стрелять не будет - упереться, сказать: «Не пойду» и Иванову объявить всю правду. На худой конец, соврать что-нибудь, в другое место отправить - не в грот...

Вот момент, к которому наверняка потом много раз будет возвращаться Иван Гаврилович, проклятая себя, свое бессилие. И мы, кажется, не можем простить этого малодушия: не герой он, совсем не герой.

Понятен становится смысл слов «Исповеди», обращенных к адвокату:

«По поводу приготовлений к убийству придется по возможности отделаться отрицанием и возможным умолчанием - дело скользкое...»

Значит, сам понимал, что уязвим здесь. Сломил его-таки Нечаев своим бешеным напором, довел до рабского повиновения - до той черты, где страх заслонил все остальное?

Да, была слабость - да.* Но была еще и надежда. Вспомним: «...Я рассчитывал, что случай или счастье выручат, что, может быть, к моему голосу присоединится еще кто-нибудь и дело примет другой оборот».

* Объяснить эту слабость действием алкоголя, как предлагают многие (в том числе Ю. Давыдов), в данном случае нет оснований. Судя по показаниям Прыжова на процессе, он сам, "для придания власти над собою (так!) хотел выпить водки, но Павлов (Нечаев) отнял ее у меня". Комментировать мотивацию Прыжова может каждый, кто знает свойства алкоголя - не только отрицательные, но и положительные. Очевидно, что Нечаев, отобрав водку, просто перестраховался, чтобы вся операция не сорвалась: Прыжов либо мог стать более решительным в своем сопротивлении (терять нечего!), либо, приложившись изрядно к полуштофу, сделаться совсем неуправляемым и уснуть. Вот где - неожиданно - могло быть спасение во всей этой истории, как ни оценивай такую логику моралисты...

На что же и на кого он надеялся? Только на вечное, неизбывное авось?

Николаев на суде пояснял: "При выезде из Москвы Прыжов предложил заехать в кабак и выпить, что мы и сделали».

Эпизод, на первый взгляд, малопонятный - лишь отталкивающий своим прозаизмом и представляющий Прыжова в невыгодном и без того свете. В самом деле, зачем заезжать в кабак, как не для того, чтобы «облегчить душу» перед злодейством? Вот пища для пересудов обывателям... Но мотивы этой остановки, полагаю, были совсем иными.

Этот последний кабак у заставы, точно, как в картине Перова (дорога в Петровское шла через Бутырскую заставу, неподалеку от которой находилась знаменитая тюрьма) - был одной из надежд.

Сам Прыжов говорил об этом на суде так:

«В питейном доме против острога я имел прежде много знакомых»...

Они могли выручить! Прыжов надеялся на встречу с кем-либо - это позволило бы отвлечь Николаева и дало бы возможность хоть на мгновение остаться наедине с Ивановым - одним словом или знаком предупредил бы он теперь об опасности. При чьей-либо поддержке можно было бы поднять шум и попытаться разоружить «ревисора». Но никого из знакомых, очевидно, не оказалось...

(Можно представить, как вглядывался Прыжов в лица сидевших в кабацком чаду людей, как ожидал услышать чей-то спасительный оклик: «А, Гаврилыч, друг, подсаживайся», и с каким разочарованием и отчаянием он выходил из согретого человеческим теплом приюта всех горемык в промозглые ноябрьские сумерки...).

Но был еще один шанс - академия, куда направлялся извозчик. На суде Прыжов говорил: «Я думал найти там кого-либо для посылки к Нечаеву, а Иванова хотел оставить с собою, но из знакомых никого не нашлось».

Знакомых тут, увы, не могло быть: Николаев остановил извозчика, не доезжая до академии, у проселочной дороги, ведущей налево, в парк. Так было приказано Нечаевым, и Прыжов об этом, конечно, не знал.

Оставалось только одно - пройти этот последний путь по обледенелой скользкой дороге, вдоль которой стояли мирные стога крестьянского сена, припорошенные снегом.

Скорбный путь. Вперед пошел ничего не подозревавший Иванов. Следом, настороженно вслушиваясь и оглядываясь, двинулся Николаев. А сзади, скользя и припадая на ревматическую ногу, еле плелся близорукий и беспомощный, дрожащий от холода, а еще больше - от бессилия поправить что-либо - Иван Гаврилович.

Что делать? Кричать Иванову: «Не ходи туда, убьют!» и разбежаться - уже поздно. Николаев и вперед может пулю пустить, и назад, ему это ничего не стоит. Догнать, схватить его сзади? Вывернется, ловкий он, молодой, а какая тут сила. Ничего уже не сделать, ничего. Но, может, там, у грота, чудо произойдет? Может, передумали они, переубедили Нечаева? Или хоть кто-то присоединится к его, Прыжова, голосу? Кузнецов ведь тоже сначала протестовал, он же лучше знает Иванова. Да вот, кажется, сам идет навстречу, Алешка. Ну, брат, давай, выручай! Заведи куда-нибудь в сторону, в лес, как Сусанин поляков - и Иванова спасем, и себя, честь свою, пока не поздно...

Все это - не фантазии. Нечаев действительно посылал Кузнецова встретить тех, кто должен был приехать на извозчике: уже стемнело, они могли заблудиться. Об этом говорил на суде сам Кузнецов:

«Я встретился с ними за несколько шагов от грота и пошел вперед с Ивановым, а Николаев и Прыжов шли за мною. Иванов что-то говорил, я не помню: я был в таком волнении, что сбился с дороги и завел их в лес. Наконец, мы дошли до грота, но пришли к нему уже с другой стороны и нам пришлось переходить через вал».

У Кузнецова была возможность выполнить роль «Сусанина». Мысль об этом, может быть, мелькала у него «в сильном волнении». Но верх взяли другие мысли и другие чувства. Слишком могущественна была гипнотическая сила глаз Нечаева, горящих ненавистью к «изменику», и слишком много значила для добросовестного студента присяга на верность тайному обществу. Этой присяге - равнозначной обету повиновения у иезуитов - он должен был следовать до конца...

Всех страшных, душераздирающих подробностей происшедшего я описывать не буду - в этом преуспела и тогдашняя пресса, на разные лады смаковавшая их, и некоторые литераторы.

«За что? Что я вам сделал?» - было последними словами Иванова.

Он был сначала сбит с ног и задушен (Нечаевым), а затем, взяв револьвер у Николаева, Нечаев выстрелил лежащему в затылок.

Прыжов не участвовал в убийстве. Он даже не дошел до грота. «Я видел только, что в двадцати шагах от меня шевелилась какая-то черная масса», - говорил он на процессе. Это подтверждали Успенский, Кузнецов и Николаев. Он «просто» стоял и смотрел, не в силах уже ничему помешать...

Как назвать все это?

Как оценить действия человека, который насильно, под дулом револьвера, был втянут в эту грязную, чудовищную историю?

Как оценить действия его знакомых, втянутых в нее путем самого гнусного обмана?

Кто все они - преступники или жертвы?

И кто здесь главный преступник?

Вопросы эти можно было бы считать риторическими, если бы не находились люди, стремящиеся во что бы то ни стало из всего извлекать «мораль»...

«Насилие над Ивановым и затем смерть его ясно убеждают, что члены общества не признают иного способа уничтожить мнимое или действительное препятствие к достижению своих целей, как только убийство».

Это - из обвинительного акта. «Члены общества» - значит, все, в том числе и Прыжов. И удивляться тут, пожалуй, нечему: полицейская охранительная назидательность никогда не отличалась ни тонкостью, ни разборчивостью. Для нее не существовало иной краски, кроме черной, и иного средства, кроме клеветы. «Клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется»...

Соответственно подтасовывались факты. Вот как излагалась в том же официальном документе картина убийства:

«...Иванов был завлечен в грот Николаевым, где его ожидали уже Нечаев, Успенский, Прыжов и Кузнецов, и когда он вошел, то Нечаев бросился на него первый, за ним другие, начали душить, потом Нечаев, взяв у Николаева заранее приготовленный револьвер, выстрелил Иванову в голову. После этого навязаны были камни на шею и ноги Иванова и затем труп его оттащили в пруд, где и бросили в прорубь». 25

Размноженная в тысячах экземпляров (многие газеты перепечатывали из «Правительственного вестника» лишь обвинительный акт), эта версия заносила недвусмысленно и Прыжова в число непосредственных участников «злодейства» - тех, кто бросился на Иванова, душил его и прятал следы. Сделано это было, надо полагать, преднамеренно, а вовсе не из-за того, что у составителей обвинения не нашлось, в стремлении к краткости, нескольких слов, чтоб как-то выделить «особую роль» Прыжова.

Правительство желало осудить всех четверых **скопом**, без разбора, не проводя никаких различий между ними и Нечаевым.

Но ведь полные опубликованные стенограммы процесса - прежде всего показания подсудимых (которые уже приводились) и речи их защитников (о которых речь еще впереди) - открывали совершенно иную картину!

Как можно пренебречь этими живыми свидетельствами и аргументами художнику, претендующему на то, чтобы вершить свой нравственный суд над участниками дела? Как можно обойти их историку-исследователю, задача которого - предельная объективность?

И даже тот, кто не мог внутренне согласиться с клеветнической полицейской версией, но не сумел - или не желал? - углубиться в сложнейшую психологическую подоплеку событий, скрупулезно прочтя первоисточник, - получал о деле превратное представление. Наверное, только этим можно объяснить ошибку первого биографа Прыжова М. Альтмана, который писал, что тот «принял фактическое участие в убийстве». К сожалению, не всегда четко проводил разделительную черту между Нечаевым и «нечаевцами» даже Ю. Трифионов. В романе «Нетерпение» он писал: «Набросились впятером»...

О том, как мучительно переживали случившееся четверо из пяти, мы еще будем говорить. Но чтобы до конца понять, кто был кто в этой истории, надо продолжить рассказ о 21-м ноября.

...Револьвер в руках Нечаева в тот страшный вечер разряжался еще раз. И второй его жертвой едва не стал Прыжов.

Это было на квартире Кузнецова. Они вернулись туда из Петровского-Разумовского все вместе уже ночью. Видя, что «мягкотелье» помощники потрясены и подавлены ужасной развязкой, Нечаев не отпустил их от себя. На квартире было удобнее смыть следы и успокоиться...

Тут и раздался этот неожиданный, будто нечаянный, выстрел.

Вот как описал эту сцену Прыжов в своих показаниях:

«Стоя у стола в одной рубашке, Нечаев примачивал водой пальцы, перекушенные Ивановым. На столе лежал револьвер. Когда я вошел в квартиру, он опять закричал на меня. Я подошел к столу... В это время раздался выстрел. Пуля пролетела мимо моего виска, оглушив меня. Нечаев оправдался тем, что не удержал курок и засмеялся: «Что же? Если бы тебя убили, так на тебя бы и все свалили». Когда я уходил совсем, он подошел ко мне и поцеловал, крепко сжав мою голову руками». 26

Отношение к выстрелу у Ивана Гавриловича было однозначным: «По моему мнению, это была плата за усердное содействие убийству, то есть смысл тут совершенно обратный. Усердие мое к убийству было плохое. Такое усердие, что он не мог простить мне» (судебные показания); «что это за близкие люди, в которых стреляют?», «ясное доказательство мести» («Исповедь»).

То же говорили на процессе и другие. Кузнецов: «Я склонен подозревать, что едва ли Нечаев не с намерением выстрелил в Прыжова, потому что последний сопротивлялся ему перед убийством Иванова». Николаев: «У всех у нас зародилось сомнение, что не желал ли Нечаев убить и Прыжова».

Лишь Успенский (ему, как он объяснял, Нечаев показывал устройство револьвера и якобы не удержал курок) не был столь категоричен:

«Прыжов, который в начале протестовал больше всех против предложения Нечаева, вообразил, что Нечаев хочет от него отделаться».

Скорее всего выстрел был сделан для того, чтобы запугать Прыжова, а также заодно и других. Ведь наступала пора прощания, и напоследок надо было напомнить о грозной каре «Комитета» за лишнюю откровенность при возможных арестах...

Как бы то ни было, в этом эпизоде вновь сказался безграничный цинизм Нечаева. Судя по реплике: «На тебя бы свалили», он был обрадован произведенным эффектом и нисколько не смутился тем, что выстрел в квартире может быть услышан. (Любопытны соображения на этот счет опытного криминалиста, прокурора К. Жукова, замечавшего во время суда над Нечаевым в 1873 году:

«Я еще не встречал такого человека, который стал бы хладнокровно рассматривать и показывать другим оружие, которым за минуту до того было совершено убийство») 27 Ясно одно: Прыжов был больше не нужен Нечаеву.

Нельзя не привести еще один важный эпизод, последовавший вскоре за этим прощанием. Он раскрывает достойную - несмотря на все пережитое - линию действий Прыжова.

Речь идет о сожжении бумаг «Народной расправы», оставшихся в книжном магазине.

Очевидно, еще во время расставания с Бакуниным в Женеве Нечаев обещал прислать руководителю «Альянса» отчет о результатах своей работы в России. Выдвинуто ли было это требование самим Бакуниным, желавшим удостовериться в истинных масштабах движения, или сам Нечаев высказал готовность представить «доказательства», - судить трудно. Однако, уже вскоре после появления в Москве Нечаев завел разговор об отчете. Вместе с Успенским он начал составлять его и, судя по всему, этот реестр обещал быть весьма пространным.

Знал о готовящемся отчете и Прыжов. Ведь именно ему - как официально объявил Нечаев на одном из заседаний кружка - предстояло отвезти этот документ в Женеву... Фантастичность этого поручения вполне соответствует хлестаковскому духу других нечаевских мистификаций. Вероятно, таким образом он хотел польстить историку, заинтриговать его возможностью встречи с «самим» Бакуниным. Но Иван Гаврилович, как увидим, не питал никаких иллюзий на сей счет.

Зато питала их юная Елизавета Беляева - подруга студента Долгова, которую привлек в общество Нечаев. Она, приехавшая в Москву из провинции учиться, была, по словам Прыжова, «совершенно простой», наивной и доверчивой девушкой. Поэтому, вероятно, Нечаев и увлек ее поручением сопровождать Прыжова в поездке в Женеву. И она очень серьезно готовилась к романтическому путешествию за границу: на процессе она призналась, что отъезд намечался на 22 ноября, она уже оформила себе «свидетельство на выезд» (делалось тогда это очень просто).

«Мы должны были ехать в разных вагонах. Если ее арестуют, я должен был кинуть ее на произвол судьбы и бежать. Такие вещи в глазах Нечаева были совершенно законны», - говорил Прыжов на суде. (Этот штрих подтверждает расчет

Нечаева на «эксплуатацию» женщин - такой метод обращения с ними провозглашал один из параграфов «Катехизиса»).

Была дана Ивану Гавриловичу и другая инструкция - как вести себя в Женеве. В его задачу входило передать пакет с отчетом Бакунину и... молчать. «На все вопросы я должен был отвечать: «Не знаю», - сообщил он на суде...

Этим шарлатанским инструктажом Нечаев невольно открывал свои карты. Сколь ни простодушен был Прыжов, он не мог не догадаться, что «посланец от Бакунина» ведет двойную игру, желая скрыть что-то важное от своего покровителя.

Очевидно, эта чрезмерная откровенность Нечаева и стала одним из главных факторов, которые вызвали резкое охлаждение Прыжова к нему и к делам общества.

В возможность поездки историк нисколько не верил, называя саму ее идею «смешной». «Поездка к Бакунину была бы обманом для русского общества, также и для заграничного, - прямо заявил он на процессе. - Я знал, что конверт за границу находится в магазине Черкесова и имел повод подозревать, что в нем был список членов общества. Я был убежден, что если этот список попадет в руки правительства, то пострадают сотни совершенно невинных людей».

И еще - чтобы понять, что пелена заблуждений относительно Нечаева у него полностью спала:

«Нечаев в этом отношении был хуже самого последнего шпиона. С какой пронизательностью он узнавал образ мыслей других, узнавал каждую слабость, каждую либеральную мысль, каждое движение человека, все замеченное записывал, и у него этих записок была целая масса». 28

Полагая, что полиция не нашла отчета (обыску подверглась вначале лишь квартира Успенского), Иван Гаврилович, по его словам, «побежал» в книжный магазин. Там он нашел пакет, спрятанный где-то «за печкой» и сжег его. Об этом неожиданном визите сообщал на суде младший приказчик магазина В. Скипский, тоже включенный в списки тайного общества (под №55) и не подозревавший об этом...

А сам Прыжов, рассказав на суде о сожжении бумаг, произнес еще две знаменательные фразы:

«Таким образом, я оказал толку услуги и правительству. Они (те, кто был внесен в отчеты - В. Е.) погибли бы - пример Кельсиева, который бежал за границу и посылал письма разным людям, которых даже не знал и просил кланяться». 29

Обе эти фразы не могли не заставить зашевелиться судей и публику - они звучали очень дерзко. Недаром прокурор Половцев в своей речи с недоброй иронией заметил: «Подсудимый сжег документы общества и заявил, что оказал этим услугу правительству. Это никак не поддается моему уразумению». И понятно, почему последняя фраза Прыжова в стенограмме процесса прервана одергивающей репликой председателя суда Любимова: «Я думаю, что обстоятельство, бывшее десять лет назад, не имеет отношения к настоящему делу»...

Тут было не просто ерничанье. «Пример Кельсиева», о котором упомянул Прыжов, был на памяти у всех, переживших начало борьбы с крамолой в 60-е годы. И ситуация с Нечаевым - надо отдать должное пронизательности Прыжова - была очень похожей!

Легкомысленный авантюрный вояж бывшего сотрудника «Колокола» Василия Кельсиева из Лондона в Россию в 1862 году принес самые печальные последствия. Возникшее после него громкое «дело о сношениях с лондонскими пропагандистами»

(или «дело 32-х», как еще называют его историки) стоило каторги и политической опалы многим честным русским деятелям, имевшим неосторожность знакомиться с Кельсиевым. Он тоже представлялся «посланцем Комитета» (лондонского) и затем посылал своим новым знакомым письма из-за границы. В итоге приезд этого амбициозного и странного молодого человека, искавшего «революционный элемент» среди старообрядцев, оказался по существу провокационным.*

Та же история повторилась в 1869 году - с разницей лишь в характере эмиссара и масштабах последствий.

А у Прыжова был еще и личный повод вспомнить о событиях десятилетней давности. Не случайно в ответ на реплику председателя суда о том, что старое дело «не имеет отношения» к новому, Прыжов сказал твердо:

« - Я знал человека, которого подвел Кельсиев, и он лишился всего в России» .

Кто же был этот человек?

В «Исповеди» Прыжов прямо писал о «добром приятеле Викторе Касаткине, запутанном Кельсиевым и умершем изгнанником (неведомо за что) в Женеве». На память от него Ивану Гавриловичу достался дорогой подарок - собака по кличке Лепорелло...

Человек, присвоивший своей собаке имя слуги пушкинского Дон Гуана, не мог быть зауряден. Впервые узнав о Касаткине, я долго искал какие-либо материалы о нем. Оказалось, просто потрясающая личность, и такая трагическая судьба!** Во многом перекликающаяся с судьбой А. Н. Афанасьева, знаменитого собирателя русских сказок, выдающегося ученого. Ведь Афанасьев тоже пострадал из-за Кельсиева, привлекался по делу о «сношениях с лондонскими пропагандистами», что кончилось увольнением со службы, нищетой и смертью.

Виктор Иванович Касаткин был одним из знаменитейших московских библиофилов, имел самое большое собрание потаенной литературы, поставляя ее Герцену. Сын богатого купца, он не мог не быть никаким «радикалом» - типичный русский либерал, знающий, что плетью обуха не перешибешь, что просвещение - надежнее. Правда, широкая душа, «подразнить медведя» Касаткин всегда любил, но был осторожен, имея связи в III отделении. Кто-то его предупредил, что из-за встреч с Кельсиевым будут неприятности, и он спешно уехал за границу. За отказ явиться «пред светлые очи» и предстать перед судом был лишен всех прав состояния и вошел в редкую тогда категорию «изгнанных навсегда из пределов государства».

Неудивительно, что в Женеве Касаткин стал особенно близок старикам-основателям «Колокола» и завел свою типографию. Одна из последних изданных им книг, причем за свой счет, - «О государстве Российском» англичанина Д. Флетчера, посвященная

* В 1867 году В. Кельсиев, отрекшись от прошлого, сдался в руки русскому правительству и приобрел еще более нелестную репутацию в глазах общества. Неодобрительное упоминание о нем со стороны Прыжова на процессе было большой смелостью, т.к. бывший эмигрант, написавший покаянные мемуары, пользовался покровительством властей. Следует заметить, что покаяние Кельсиева было восторженно встречено Достоевским. История «перерождения убеждений» Кельсиева была использована писателем в «Бесах» при создании образа Шатова - того, на которого «бросился из-за дерева» Толкаченко. В этой поляризации двух образов, вероятно, могли отразиться и мысли писателя в связи с отзывом Прыжова о Кельсиеве на процессе.

** См. материалы сборника «Собиратели книг в России» (составитель Л. Равич), М. 1988.

жестокостям XVI века и всегда толкавшая к аналогиям. Потом произошла какая-то ссора с Герценом - загадочная, не расследованная до сих пор.

В Женеве Касаткин больше всего боялся русских шпионов, и даже жену приучил говорить шепотом. Умер дома от сердечного приступа. Ему было всего 36 лет.

Молодой, сильный, красивый человек, и надеялся на лучшую долю, свою и России. Кто виноват?

Знал бы он еще судьбу Прыжова и собаки, с которой, как Дон Гуан, когда-то гулял по Москве...

Ивана Гавриловича арестовали через несколько дней после 21 ноября. Все это время он не был дома. Пил горькую, если говорить откровенно. «Заглушал совесть», - скажет моралист. А есть ли другие средства на Руси на такой случай?

«Пес Лепорелло, добрый друг, старый и слепой, - писал Прыжов в «Исповеди», - лежал за печкой», когда на квартиру нагрянула полиция. Непрошенные гости были встречены громким лаем.

«Пристав вытащил его и со всего размаха кинул посреди комнаты. Собака завывала и убежала. Я ее больше не видел, она без меня умерла», - горестно отметил хозяин.

Он собирался когда-то написать труд под названием «Собака в истории верований человека». И «Исповедь» его начиналась словами: «Вся жизнь моя была «собачья». Так и вышло под конец, как с бездомным псом...

Все можно проследить по документам.

«Больного, в жару, и совершенно мокрого от пота, меня заперли (в конце ноября) в мерзлый и никогда не топящийся номер Сретенской части», - писал Прыжов в своей тюремной автобиографии. Помнил он и слова квартального, пришедшего посмотреть на него через три дня: «Не поколел - вот так подлец!»

В деле Прыжова есть данные, что у него подозревали «delirium tremens» - белую горячку. Признаки ее, наверное, были, потому что сам он писал в «Исповеди» о галлюцинациях и провалах памяти, а по ощущениям отмечал у себя «что-то вроде нервного удара». Последнее, учитывая все обстоятельства, было скорее доминантой болезни, потому что историк окончательно пришел в себя только шесть месяцев спустя, уже в Петропавловской крепости. Накануне суда он просил своего защитника К. Арсеньева, чтобы ему задавали только простые вопросы: «Нервы поражены, и я снова стал заикаться».

Можно представить, что за это время пережила его жена Ольга Григорьевна.

Лишь после хлопот жены его отправили в тюремную больницу. Вряд ли она знала о всех причинах несчастий, свалившихся на голову мужа. Но то, что они связаны с частыми визитами «Павлова», появившегося еще в сентябре, она, несомненно, понимала. Она готова была проклясть его, а заодно и всех других новых знакомых. Обо всем этом красноречиво свидетельствуют ее показания следователю, фигурирующие в деле:

«После ареста моего мужа приходил закутанный в плащ господин и спросил: «Куда вы ходите в церковь - не выйдете ли вы в церковь». Я на это ответила, что не пойду и прогнала этого господина. Еще приходили двое или трое, этим я не дала уже и слова сказать: лишь только они отворили двери, как я закричала: «Убирайтесь вон». 30

Уже по всему этому видно, насколько богаты живейшими, «романными» подробностями материалы нечаевского дела. Приводить их можно до бесконечности, и каждая деталь будет по-своему важна для воссоздания целостной картины событий. Это тот редкий случай, когда не надо ничего выдумывать...

Среди рукописей Прыжова сравнительно недавно обнаружен один удивительный документ. Это его стихотворение, обращенное к А. Дементьевой - жене (тогда невесте) П. Ткачева, тоже привлекавшейся к нечаевскому делу. Написано оно, судя по всему, в ходе процесса, во время которого Дементьева выражала горячее сочувствие четвертым главным обвиняемым (сама она была оправдана).

Вот отрывок из этого стихотворения:

*«...Один из наших говорил,
Рыдая, сообщал историю того,
Как с братьями и брата он убил,
И ты оплакала его.
С позором, кровью и слезами
Мы чашу выпили до дна,
Но не боялась сжалиться над нами
Святая русская жена!
И на свободе будешь ты
Заветом наших ожиданий.
Ты не смывай с нас клеветы -
Она венец наших страданий»... 31*

Нужны ли здесь какие-либо комментарии?

Прыжов раньше никогда не писал стихов. И несовершенство поэтической формы в таких случаях только подчеркивает искренность автора. Ни тени самооправдания! Готовность нести свою вину до конца дней... Надо ли говорить, что такие строки могли родиться только у человека глубоко совестливого, пережившего неизъяснимые душевные муки!

Вот где, кажется, открывается путь к отчаянию - к тому, чтобы власть в юродство, сломиться «под венцом страданий». Кому еще выпадала такая участь в истории? Каинова печать, репутация злодея в глазах тех, неискушенных и падких на сенсации, кто уловил только одно - «душил». Репутация нравственного уродца, свихнувшегося «нигилиста», «беса» - в глазах других. Одно клеймо страшнее другого.

И все-таки не сломился - ни от клеветы, ни от травли, ни от собственной жгучей душевной боли. Пронес свой крест достойно до конца дней. Потому что было оно, нравственное здоровье, - вопреки всем изветам. И у него, Ивана Гавриловича, было, и у других, кто освободился из нечаевских сетей.

К этой теме мы еще вернемся, а пока - для контраста - проследим дальнейший путь фанатика с горящими глазами.



Бросив на произвол судьбы своих ненужных уже помощников, он сбежал за границу.

Но перед этим, желая еще раз пустить им пыль в глаза - выехал-таки в Петербург, взяв с собой в попутчики Кузнецова.

«Через день после ужасного акта мы отправились в Петербург. Я вез кучу писем к различным общественным деятелям, а Нечаев по дороге рассказывал план переворота - как убить царя и семью», - вспоминал впоследствии Кузнецов. 32

Эти бредовые идеи тупо и пассивно воспринимались спутником Нечаева. Голова его была затуманена: последние четыре ночи он провел без сна. «Теперь ты - человек обреченный», - сказал ему Нечаев после убийства. И это, похоже, сбывалось...

В столице они заходили в несколько квартир, где, как уверял Нечаев, жили люди, связанные с «Комитетом». На самом деле это были его старые и, как правило, случайные знакомые. Попытки же войти в контакт с уцелевшими участниками студенческих волнений получали глухой отпор: Нечаева уже знали по провокационным письмам из-за границы.

Боясь, что вся авантюра может открыться Кузнецову, Нечаев бросил его, находившегося уже в полубессознательном состоянии. Тот вскоре был арестован - из-за подозрительного вида - на Невском проспекте. Единственное, что он успел сделать, - уничтожить основную часть писем к «общественным деятелям», имевшихся у него. Эти письма от имени «Комитета» «Народной расправы» - с призывом к содействию - были адресованы, в частности, в редакцию «Отечественных записок» к Н. Некрасову, Н. Демурту и другим писателям. Трудно представить, что бы ожидало их, окажись эти послания в руках III отделения...

Возвращаться одному в Женеву Нечаеву было явно не с руки: надо было хоть как-то подтвердить Бакунину, что есть в России «крупные силы». Но выбирать попутчиков для заграничного путешествия теперь было не из кого. Наверное, поэтому он уговорил поехать с собой старую знакомую - 36-летнюю Варвару Александровскую, «свободную женщину», давно заигрывавшую с молодыми «ингилистами»... 33

Этот эпизод очень близок бульварному полицейскому роману. И он не единственный такого рода: путь Нечаева устилался не только кровью, но и целыми потоками пошлости.

Появившись в Женеве (в начале января 1870 года), он бессовестно заявил, что общество раскрылось через «шпиона» и пришлось его убрать. Вскоре была сочинена статья «Кто не за нас, тот против нас», увидевшая свет в выпуске №2 «Народной расправы». В ней Нечаев высокопарно возглашал:

«Убийство Иванова - месть общества своему сочлену за какое-либо отступление от обязанностей (!). Суровая логика истинных работников дела не должна останавливаться ни перед каким фактом, ведущим к успеху дела... Всякое отречение от общества, всякое отступление, совершенно сознательно, вследствие неверия в истинность и справедливость известных начал, ведет к исключению из списка живых».

Бакунин и Огарев поверили ему и на этот раз.

«Люди в России остались, много людей, готовых подняться 19 февраля. Надо только еще пуше разжечь огонь прокламациями», - убеждал он их.

Прокламаций было заготовлено много. Написанные полународным, полукнижным языком, они призывали русских людей последней трети XIX века вспомнить времена Разина и Пугачева. И общий план «бунта» веял духом сказочно-романтическим: «Идти быстро с Урала с башкирами на Москву»... 34

Свою лепту в эту аферу внесла и В. Александровская. Потом, на следствии, она призналась, что однажды в комнату, где она остановилась в Женеве, Нечаев привел «какого-то старика, который спрашивал ее, что делается в России». По всей вероятности, это был Огарев, так как Бакунин в это время находился в Локарно.

Подробностей разговора Александровская не сообщала, но если вспомнить, какой инструктаж давал Нечаев Прыжову для подобной встречи, то картина может проясниться.

Вскоре Нечаев снарядил Варвару в обратный путь. Самолучно (как признавалась она) пристроил к подолу ее платья, с изнанки, коленкорovou ленту и прошил ее в

нескольких местах поперек - получились потайные карманы. В каждый вложил по пакету с прокламациями «для петербургских знакомых» и написал их адреса.

Начался второй тур так называемой пропагандистской кампании Нечаева.

Варвару со всем ее колесничным транспортом арестовали на таможне в Вержболове. Иного и не могло быть: слишком грузно отвисал подол у этой кокетливой дамы, подозрительно быстро вернувшейся со швейцарских вод. Она сразу рассказала все. В столицу, в III отделение, полетели телеграммы с распоряжением арестовать тех, кому адресована тайная корреспонденция.

Это были десятки людей, совершенно случайно встретившихся в разное время на пути Нечаева. Некоторые так ничего и не поняли: они совсем не слыхали о Нечаеве. А больше всего был поражен священник из Иванова-Вознесенского В. Альбицкий, получивший вскоре из Женевы по почте прокламация «Сельскому духовенству». Он - нетрудно домыслить, - перекрестился, взял конверт двумя пальцами, как ядовитое насекомое, и снес в полицию. Он и не помнил сына здешнего маляра, уехавшего еще в 1865 году учиться в Петербург. Но этот «сын» помнил всех, с кем хоть на миг когда-либо сталкивала его жизнь. Надо же было уверить Бакунина, что есть на Руси и попы-демократы...

В это время начал отбывать ссылку Александр Капацинский - другой ивановский знакомый Нечаева, молодой учитель. Еще летом 1869 года он получил письмо из Женевы, в котором Нечаев спрашивал: «Переделался ли ты в буржуа, или в тебе уцелели свежие силы?»

Знакомые интонации демагога, вспомнившего, что его давний собеседник некогда высказывал либеральные мысли. На самом деле Капацинский тогда же и разошелся со своим земляком - именно из-за несходства взглядов. Письмо тоже было знакомое. Перехватив его, III отделение арестовало Капацинского, решило привлечь его к поимке Нечаева, но тот отказался. За это и «ввиду близкого знакомства с Нечаевым» (других улик не было) - Капацинский был сослан в глухую деревню, где вскоре умер.

«История этого маленького и незаметного человека, волею судеб впутанного в нечаевское дело, представляется крайне характерной», - писал Б. Козьмин, публикуя в 1926 году материалы о Капацинском. 35 И мы уже знаем - далеко не единственная история подобного рода!

Охота русской полиции на Нечаева и его арест в Швейцарии в 1872 году описаны много раз. Сюжет напоминает детективный роман не лучшей пробы. Очевидно, что русское правительство, требуя от швейцарских властей выдачи Нечаева как уголовного преступника, было в общем и целом ближе к истине, нежели его защитники среди эмиграции, поверившие в басню об убийстве Иванова как «политическом акте».

Шантаж и угрозы Нечаева в адрес детей Герцена, интриги против прозревших мало-помалу Огарева и Бакунина, узурпация финансового фонда эмиграции - все это ближе к детективу политическому, но тоже дурного свойства. Потому что и здесь Нечаев постоянно сбивался то на бульварщину (разыгрывая страстную влюбленность в Наталью Герцен), то на уголовщину.

Чтобы заполучить заветные деньги из Бахметьевского фонда, он угрожал расправиться с самим Герценом, который тогда жил в Париже. Есть свидетельство Т. Пассек, что «Герцен боялся, что Нечаев убьет его, получив отказ в деньгах». Невозможно сомневаться в том, что за официальной причиной скорой смерти Герцена (от воспаления легких, осложненного диабетом), стояла громадная растрата сил и

нервов во время всей нечаевской истории. (Я не претендую здесь на открытие, но стоит заметить, что о вине Нецаева в смерти Герцена советские биографы предпочитали умалчивать).

Желая раздобыть денег, в конце своей заграничной эпопеи Нецаев начал сколачивать банду для того, чтобы грабить в горах Швейцарии туристов. Хотел вовлечь в нее приемного сына Огарева - Генри Сэтерленда. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения у терпимейшего поэта. Он порвал с ним всякие связи. Разочарование во «внучке» было настолько сильным, что Огарев после этого вообще отошел от какой-либо политической (да и поэтической) деятельности.

Наконец-то прозрел и Бакунин. 2 августа 1870 года он писал из Локарно Наталье Герцен: «Нам всем, а мне более всех остается покрыть голову пеплом и с горем воскликнуть: мы были круглыми дураками!»³⁶

Все это напоминало немую сцену из гооголевского «Ревизора» с той разницей, что было совсем не смешно.

Типично русская история? Анекдот или мистерия? Кто увидел бы здесь предвестие будущих великих катастроф?

О том, как среагировали на эту историю **русские и немцы**, мы узнаем в следующих главах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Первым на это указал Л. Гроссман. (См. его книгу "Достоевский". М. 1965. Сер. ЖЗЛ, с. 461). По всей вероятности посещение места убийства Иванова состоялось уже при первой поездке Достоевского в Москву в конце июля 1871 г., когда он вел переговоры с М. Катковым о продолжении романа.

2 Энциклопедический словарь "Гранат". Т. 40. Автобиография А. Кузнецова.

3 Ткаченко П. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70 г.г. XIX в. М. Мысль. 1978. С. 172.

4 ГА РФ, ф. 112, д. 491/1, л. 4. Это первые показания Кузнецова, дававшиеся им сразу после ареста.

5 Там же, ф. 109, 1869, д. 115, ч. 26, л. 8.

6 "Безусловно легендарной" считал версию о знакомстве И. Сниткина с Ивановым Л. Гроссман. Подробная аргументация на этот счет приведена в его книге "Жизнь и труды Ф.М. Достоевского". М. - Л., 1935. С. 184-185. Она поддержана и закреплена другими исследователями (см. комментарий к "Бесам" в т. 12 Полн. собр. соч. Достоевского, с. 162-163). Тем более странно читать в книге Ю. Давыдова "Герман Лопатин, его друзья и враги" повторение версии о "дружбе" Сниткина с Ивановым...

7 Есть основания полагать, что И. Иванов, подобно Н. Николаеву, был незаконнорожденным. На это указывают прежде всего их безыскусные фамилии, образованные, как было принято тогда в подобных случаях, от имен. Кроме того, в "деле стипендиата" нет данных о социальном происхождении Иванова и его родителей, то есть он был сирота. Все это, думается, придает судьбе Иванова больший трагизм, нежели "символика" фамилии.

8 Былое. 1906. № 7. С. 143.

9 ГА РФ, ф. 112, д. 492, л. 241.

- 10 Пирумова Н. Бакунин или Нечаев? Прометей. 1968. № 5. С. 178.
- 11 Помимо собственных показаний Прыжова факт его ухода с "практического" совещания подтверждается показаниями Успенского и Кузнецова (Правительственный вестник, 1871, № 156, 158).
- 12 Давыдов Ю. Герман Лопатин, его друзья и враги. С. 33.
- 13 ГА РФ, ф. 112, д. 490/1, л. 51.
- 14 Правительственный вестник. 1871. № 158.
- 15 ГА РФ, ф. 112, д. 490/1, л. 16/об.
- 16 Энци. словарь "Гранат". Т. 40. Автобиография Кузнецова. Эта важнейшая подробность лишь вскользь упоминалась на процессе, и поэтому, вероятно, была обойдена вниманием. Судебные показания Кузнецова в целом отличались достаточной полнотой, однако, сильное волнение (о чем есть много свидетельств) помешало ему более подробно раскрыть отдельные эпизоды. Естественно, по прошествии времени наиболее существенные из них вышли в его памяти на первый план.
- 17 Вероятно, Успенский имел в виду ссору Брута и Кассия накануне сражения при Филиппах, о которой он мог прочесть у Плутарха. (См: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М. Изд-во АН СССР. 1963. Т. 3, гл. "Брут"). Этот случай представлял пример ссоры двух единомышленников-заговорщиков.
- 18 "Государственные преступления...". С. 241. Судя по показаниям Прыжова, этот разговор происходил в Петровском-Разумовском на даче некоей Краснопевковой (вероятно, пустой).
- 19 ГА РФ, ф. 112, д. 490/1, л. 54.
- 20 Государственные преступления.... С. 247.
- 21 ГА РФ, ф. 112, д. 495/1, л. 194.
- 22 Правительственный вестник. 1871. № 156.
- 23 Там же. № 157.
- 24 Там же.
- 25 Цит. по: Государственные преступления... С. 162.
- 26 Там же. С. 248.
- 27 Там же. С. 249.
- 28 Правительственный вестник. 1871. № 158.
- 29 Там же.
- 30 ГА РФ, ф. 112, д. 495/1, л. 97. Из этого показания проясняются некоторые данные об О. Г. Прыжовой: она была "от роду 33 лет", ее брат Ростислав (к тому времени умерший) учился вместе с П. Успенским в Александровском (дворянском) институте. Это указывает и на возможное дворянское происхождение жены Прыжова.
- 31 Впервые опубликовано Л. Пушкаревым в сб. "Ссылка и каторга в Сибири". Новосибирск. Наука. 1975, с. 96-97. Подлинник находится в РГАЛИ, ф. 1227, оп. 2, д. 2, л. 3.
- 32 Энци. словарь "Гранат". Т. 40. Автобиография А. Кузнецова.
- 33 Нечаев и нечаевцы. С. 139-142. О провокационной роли В. Александровской см. также: Б. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М. 1961. С. 232-236.
- 34 Литературное наследство. Т. 41-42. С. 66.
- 35 Козьмин. Б. Неудавшаяся провокация (новое о Нечаеве). "Красный архив", 1926, № 1.
- 36 Литературное наследство. Т. 96. М. 1985. С. 534 - 561. В этом издании, посвященном теме "Герцен и Запад", по старой советской традиции сохранен пиетет не только к Бакунину, но и к Нечаеву. Но вряд ли можно согласиться с выводами комментаторов, что "у Нечаева, вопреки предписаниям его же собственного "Катехизиса революционера", могло возникнуть искреннее чувство к Н.А. Герцену" (там же, с. 436). В своей попытке завоевать ее расположение он руководствовался скорее корыстными соображениями, тесно переплетавшимися с грубо физиологическими. Нелишне вспомнить свидетельство В. Засулич о том, что Нечаев "признавался в любви, когда считал это нужным для дела"... Сторонники версии об "искреннем чувстве" Нечаева исходят из неверного, глубоко порочного, на мой взгляд, тезиса о "неоднозначности его душевного мира". Этот тезис всегда открывал путь к романтизации личности Нечаева - делу во всех отношениях сомнительному..

Судьи и адвокаты - I

*«...Этот дух кажется призраком,
и лучшее средство против него -
яркий солнечный свет».*

А. Урусов.

Процесс 1871 года, называвшийся нечаевским, проходил в отсутствие своего заглавного персонажа. Скрываясь в горах Швейцарии, он по-прежнему продолжал изображать из себя героя-мученика.

А в Петербурге судили тех, кого он обманул и подставил под удар репрессий - под расправу, выражаясь его любимым словом. Официально это был суд над участниками «заговора с целью ниспровержения правительства, обнаруженного в различных концах империи». Основной их группе вменялась в вину принадлежность к «московскому отделению женевского международного революционного комитета».*

Грубая тенденциозность судилища, стремление запугать обывателя масштабами «заговора» угадывалось всеми критически мыслящими русскими людьми. Но таких было не слишком много.

Важным преимуществом в этом отношении обладали адвокаты. Имея возможность по новым судебным уставам встречаться с арестованными, они еще до начала процесса получили ясную картину всей закулисной стороны дела. Облегчало их задачу то, что процесс был объявлен гласным - со свободным доступом публики и с распечаткой полных стенограмм заседания в «Правительственном вестнике» и других газетах. Такого еще не бывало в России: открытый политический процесс! Правительство, располагая, казалось бы, неопровержимыми данными о «заговоре», решило устроить публичную порку всем «ниспровергателям» и заодно продемонстрировать Европе, что в России все в порядке с гражданскими правами.

Узнав об этих условиях, участвовать в процессе решили лучшие представители молодой русской адвокатуры, ее цвет - В. Спасович, Д. Стасов, К. Арсеньев, А. Урусов, В. Танеев, К. Хартулари и другие (имена ныне полузабытые, и с некоторыми придется познакомиться поближе). Весьма показательно, что адвокаты первой, самой тяжелой категории дела - к ней принадлежал и Прыжов - вели защиту бескорыстно, отказавшись от гонорара.

* К следствию по делу были привлечены 152 человека. За недостаточностью улик 65 из них были освобождены, а остальные, разбитые на несколько категорий в зависимости от тяжести обвинения, преданы суду. Ко времени начала процесса двое арестованных умерли в крепости и один сошел с ума. (См.: Троицкий Н., Царские суды против революционной России, с 123.)

Судя по воспоминаниям Арсеньева, накануне процесса, 30 июня, защитники «сошлись в квартире Спасовича, чтобы потолковать о способе ведения дела и о плане защиты». Это тоже было необычным: адвокаты не просто совещались, а тщательно продумывали единую тактику действий. Точнее будет сказать: они готовились дать бой обвинителям и тем, кто стоял за ними.

Интеллектуальное ристалище либералов с консерваторами! Редкий случай в отечественной истории...

Начал его, открыв прения, Александр Иванович Урусов - самый молодой (28 лет), самый родовитый (князь, потомок татарского мурзы) и самый дерзновенный из этой когорты отнюдь не трусливых людей.

Должен признаться, что, открывая для себя биографию Урусова, я все больше влюблялся в него. Он стал впоследствии близок Чехову, провел с ним зиму в Ялте в 1899 году, обсуждая поэтичную и жестокую «Чайку». Тогда же, в связи со 100-летием Пушкина, он первым высказал идею издания Пушкинского словаря и начал ее осуществлять. Замечательный человек, а кто знает его? Поскольку с нечаевским делом тесно связана личная судьба Урусова, стоит о нем рассказать подробнее.

Он рос в кругу старых московских вольнодумцев, где хорошо помнили Герцена. Урусов рано стал горячим сторонником республиканских идей своего знаменитого тезки. «Абсолютизм по своему существу не отрицает благ свободы, но хранит их для правителей», - такой афоризм родился у князя еще в юности. Но первая же попытка следовать ему в жизни закончилась плачевно: в 1861 году за участие в студенческих волнениях 18-летний аристократ был отчислен из университета и попал под надзор полиции.

Поклоннику изящных искусств помогло найти себя учреждение института присяжных поверенных в 1865 году. Здесь он мог приложить и все свои таланты, и гражданские чувства. Обладавший редкостным даром красноречия, Урусов быстро становится одним из самых популярных в Москве адвокатов. Цена всего превыше честь, за свои блистательные защиты он иногда не получал ни гроша.

Пожалуй, лучшее представление о независимом характере Урусова дает случай, произошедший незадолго перед нечаевским процессом. Благодаря ему, он навлек на себя немилость самого императора Александра II.

Сохранивший связь с высшим светом князь был приглашен на большой бал к московскому генерал-губернатору В. Долгорукову. На балу присутствовал царь. Проходя мимо него, близорукий Урусов демонстративно достал пенсне и «позволил себе осматривать государя», как передавала друг другу возмущенная свита. Сам Александр II тоже заметил это и выразил неудовольствие, сказав: «Кто этот нахал?»²

Монарший гнев всегда имел какие-то последствия. Это прекрасно понимал и молодой адвокат. Но выступая на открытом политическом процессе, к которому было приковано внимание высших сфер, он действовал без всякой оглядки на сгустившиеся над ним тучи. Более того, в своей речи он продолжал «дразнить медведя», что позволяли себе в России во все времена очень и очень немногие...

Мы уже знаем слова Урусова: «Возникновение тайных обществ, начиная с 1861 года, указывает на такое патологическое состояние страны, которое, по-видимому, не устранимо, несмотря на самые энергические меры».

Непривычно читать эти исполненные убийственного сарказма строки на страницах официозного «Правительственного вестника». Но таков был один из парадоксов процесса: объявив о его полной гласности, власти вынуждены были проглатывать и горькие пилюли, которые заготовили адвокаты.

Впрочем, речь Урусова могли прочесть лишь те немногие, кто следил за «Правительственным вестником» - в других газетах ее, по указанию цензурного комитета, изыали. Например, «Санкт-Петербургские ведомости» (№190, 1871 г.), объявив, что «печатание речи кн. Урусова по некоторым обстоятельствам отлагается на завтра», так и не опубликовали ее.

Знаток театра и кулис, Урусов прекрасно сознавал, что участвует в большом политическом спектакле. Ему выпала роль резонера - своего рода Чацкого. Чацкого, умудренного в делах Фемиды, и тем не менее снова испытавшего горе от ума...

Урусов сразу подчеркнул, что «основная черта всех подсудимых - беззаветное чувство товарищества», что ими двигали «честные увлечения», «неудовольствие» своим положением и положением народа (студенты Петровской академии, по его словам, стали вступать в общество потому, что «знали кровные нужды народа, особенно в голодные 67 и 68 годы»). Правительство же в своих жестоких преследованиях доходит до абсурда: «Ревностное отыскание преступников простирается до того, что им инкриминируется самый малейший, самый незначительный проступок».

Выведа наружу бесцеремонные карательные замыслы устроителей процесса, Урусов раскрыл и юридическую несостоятельность обвинения. Тонкий анализ соответствующих статей Уложения о наказаниях, проделанный им, в решающей степени повлиял на то, что в конечном итоге действия главных подсудимых были квалифицированы не как «заговор против верховной власти» (печально известная в России статья 250), а как менее тяжкое «участие в тайном обществе» (статья 318). Тем самым уже была во многом предreshена та сравнительная «мягкость» приговора, которая вызвала потом негодование Александра II. («Просто срам, как решено дело», - выговаривал царь министру юстиции з).

Говоря про общество, созданное Нечаевым, Урусов нашел самое, пожалуй, точное его определение. Это общество было построено, по его словам, «на данных химерических» (выделено мною - В. Е.), представляло собой «одну из самых бессильных политических ассоциаций, когда-либо существовавших».

Возражая прокурору В. Половцову, заявлявшему, что «тайное общество было сильно по духу», он говорил: «Этот дух кажется призраком, и лучшее средство против него то, которое принято в настоящем случае - именно яркий солнечный свет».

Общий вывод адвоката был краток и недвусмыслен: «Не явись Нечаев, ничего бы и не было». И с этим - мы уже знаем - невозможно не согласиться! Не было бы «Народной расправы», и, глядишь, и история России потекла бы по немного измененному руслу (это к вечному вопросу о роли личности в истории)...

«Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение», - говорил выступавший вслед за Урусовым В. Спасович. 4

Трудно дать более яркую и точную характеристику Нечаева!

Самый маститый из адвокатов, Владимир Данилович Спасович не пользовался выгодной репутацией ни в консервативных, ни в радикальных кругах. Скептик по складу ума (сказывалась, очевидно, польская кровь), он всегда высмеивал «розовый социализм» молодежи. И тем более знаменательны его горячие речи в защиту обвиняемых (кроме А. Кузнецова он защищал П. Ткачева).

Главная заслуга Спасовича в том, что он подробно, без всяких недомолвок, раскрыл перед публикой арсенал гнусных приемов Нечаева. Он прямо заявил, что жертвой Нечаева мог стать всякий, кто попытался бы вывести его на чистую воду. При этом Спасович ссылался на пример с М. Негрескулом - одним из наиболее

яростных противников Нечаева: «Если бы Негрескул стал противодействовать планам Нечаева в Петербурге, с ним было бы то, что с Ивановым в Москве».

Такая аналогия имела полное основание. М. Негрескул - человек, близкий русской эмиграции, имел случай встретиться с Нечаевым в Женеве летом 1869 года. Наблюдая его интриги, он открыто стал заявлять о его шарлатанстве. Вернувшись в Петербург и узнав, что Нечаев появился в Москве, он послал на имя П. Успенского несколько предупреждающих конспиративных записок. Одна из них особенно красноречива: «Еще раз умоляю вас - будьте осторожны в коммерции с этим барином - иначе обанкротитесь!»⁵

Успенский не внял этим призывам, поскольку Нечаев загодя предупредил его о «происках» Негрескула. В разговорах с новыми знакомыми Нечаев всегда с особой ненавистью упоминал эту фамилию, сопровождая ее грубой бранью и угрозами. Вероятно, для убийства Негрескула у него не хватило бы ухищрений, но отомстить своему врагу он все-таки сумел: Негрескул из-за посланных ему прокламаций тоже угодил в руки III отделения. И это имело самый печальный исход: после шестимесячного заключения в одиночке Петропавловской крепости он, выйдя на свободу, умер от чахотки. Так что параллель с Ивановым в итоге оказалась, увы, полной...*

Страстное негодование, с которым говорил Спасович о Нечаеве, переплеталось с горячим сочувствием к его жертвам.

«Он был в чаду, в бреде, а теперь стоит перед вами отрезвленным», - это о Кузнецове. Действительно, Кузнецов своими очень искренними, взволнованными показаниями на процессе давал понять, что расстался со многими иллюзиями.

Попутно давал свои оценки Спасович и Прыжову. Их никак нельзя обойти. Слова, которые подобрал адвокат, необычайно теплы и выразительны:

«Добряк, простой, как дитя, фантазер, любящий толкаться между народом без всякой определенной задачи», «добрейшая душа, мечтатель, на которого Нечаев возлагал огромные надежды, чтобы сойтись с подонками общества (выделено мною - В. Е.)».

Спасович настойчиво проводил мысль о случайности появления Прыжова в рядах «Народной расправы», абсолютной чуждости его природы «страшному» духу нечаевщины. Зная уже обстоятельства дела, мы несколько не удивимся такому взгляду. Но в условиях процесса он был новым и неожиданным: вопреки установившемуся предубеждению одного из «злодеев» впервые прямо и открыто назвали добрым человеком. (Становится понятно, что Достоевский полностью пренебрег выводами речи Спасовича: Толкаченко в «Бесах» до конца остался, как было задумано, злым и жестоким. Может быть, здесь истоки будущей яростной полемики Достоевского со Спасовичем в «Дневнике писателя»?..).

Спасович упомянул Прыжова еще в одной связи: он подчеркнул в своей речи, что историк пережил две политические реакции - 1848 и 1862 годов, в то время как остальные подсудимые - только одну, последнюю. Такое заявление адвоката само по себе было актом гражданской смелости. И выводило дело на широкий исторический «контекст». Особая симпатия к «добряку» и «мечтателю» со стороны Спасовича не случайна. Он знал Прыжова и до процесса. Об этом можно судить по воспоминаниям

* М. Ф. Негрескул был освобожден под домашний арест (в связи с начавшейся болезнью) в мае 1870 г., а умер 12 февраля 1871 г., не дожив до начала процесса, на котором он намеревался выступить с разоблачением Нечаева, а заодно и Бакунина. Это одна из драматических страниц нечаевской истории, которая заслуживала бы целого исследования.

букиниста и литератора С. Либровича, который ярко описал сцену прихода Прыжова, одетого в «рубашку», к издателю М. Вольфу с рукописью «Истории кабаков» в 1867 году.

Мемуарист сообщал при этом, что «рукопись, просмотренная М. Вольфом и его тогдашними литературными советчиками в делах издательства Разинным и Спасовичем, оказалась в высшей степени интересной». 6

Может быть, Спасович и не встречался с Прыжовым лично, но Вольф, его близкий друг и земляк (из Польши), наверняка рассказал о своих впечатлениях от знакомства с необычным автором необычной книги. Во всяком случае, Спасович был причастен к появлению в свет «Истории кабаков» - факт, увеличивающий и без того немалые заслуги знаменитого адвоката. Его доброжелательные слова о Прыжове на процессе, несомненно, были продиктованы уважением к труду историка.

Ближе всех из адвокатов сумел познакомиться с Прыжовым, конечно, его непосредственный защитник - Константин Константинович Арсеньев.

Это тоже одна из замечательных и, к сожалению, почти забытых личностей, украшавших российскую жизнь второй половины XIX века и начала XX. Можно сказать, классический либерал: спокойный и необычайно пунктуальный в отстаивании прав и свобод человека (предмет диковинный для тогдашней России).

Подобно Урусову, Арсеньев принадлежал к высшему свету - отец его, К. И. Арсеньев, известный ученый-статистик и географ, был придворным учителем царской фамилии. Получив блестящее образование (он окончил привилегированное Училище правоведения, затем Боннский университет), молодой юрист избрал адвокатуру из самых благородных побуждений. Как и другие «дети судебных реформ», он увидел в ней реальный путь приобщения страны к цивилизации.

В 1866 году, одновременно с вступлением в сословие присяжных поверенных, он начал активно сотрудничать в возобновленном «Вестнике Европы». Журнал очень старался оправдать свое название. Статьи и обзоры Арсеньева, проникнутые духом конституционализма, обратили на себя внимание не только публики, но и III отделения. В глазах последнего, естественно, он слыл «социалистом».

У Арсеньева был непререкаемый авторитет среди коллег. А. Ф. Кони писал, что Арсеньев «внес в адвокатскую деятельность глубоко благородство, чистоту приемов, безусловное стремление к изысканию и разъяснению прежде всего истины в деле». 7 Его несколько сроков подряд избирали председателем петербургского совета присяжных поверенных, называли «стражем адвокатской этики», отмечая, что сам он был «чрезвычайно щепетивен в выборе дел».

Последние детали весьма многозначительны: они придают особый смысл и выбору Прыжова в качестве подзащитного, и делают очень важными и ценными все отзывы Арсеньева о нем.

Я разыскал дневник К. Арсеньева, хранящийся в РГАЛИ. Он хорошо иллюстрирует главную черту адвоката - его нравственную строгость, переходящую порой в суховатый педантизм. Записи в дневнике велись - поразительная самодисциплина! - ежедневно, на протяжении всей жизни. Здесь не найти ни философских медитаций, ни выпретенных «государственных соображений», ни злоязычных суждений о ближних, чем отличаются дневники многих деятелей той (да и не только той) поры. Хроника жизни Арсеньева очень лаконична - всего несколько строк в день, о самом существенном. И хотя для нас этот лаконизм огорчителен, некоторые записи могут сказать многое.

21 мая 1871 года адвокат отметил: «С 3 часов до 3 1/4 в крепости у Прыжова». 8

Эта короткая 15-минутная встреча была, очевидно, первым официальным представлением защитника. После этого Арсеньев еще несколько раз посетил Петропавловскую крепость, подолгу беседуя с Прыжовым (очевидно, тогда он ознакомился и с «Исповедью»). 16 июня отмечено пребыванием в Москве. Надо полагать, в этот день Арсеньев прибывал на квартире Прыжова, а также, возможно, в Петровско-Разумовском, у грота.

1 июля, в день открытия суда, он записал:

«Утром была Прыжова. С 11 до 7 1/2 в судебной палате, где началось политическое дело. Первая категория состоит из 11 подсудимых. Любимов страшно тянет заседание от Половцева. Жара ужасная».

О ходе суда сведения маловыразительны. И запись по поводу его итогов кажется совсем бесстрашной: «Объявлен приговор. Признано тайное общество. Прыжов - 12 лет в крепостях. Была Прыжова...» 9

Но бесстрашность эта обманчива: Арсеньев приложил огромные усилия к тому, чтобы облегчить участь, отстоять честь и достоинство своего подзащитного.

Свою речь на процессе он начал с рассказа о трудной судьбе Прыжова-ученого, который «в течение 20 лет ведет жизнь двойственную - служит и занимается наукою». 10 Ссылаясь на «Историю кабаков» (экземпляр книги он представил суду), адвокат подчеркивал, что занятия наукой открывали Прыжову, «как велики страдания народа», и именно это заставляло его неустанно трудиться. «Я сам видел громадные рукописи Прыжова», - свидетельствовал Арсеньев.

Касаясь политических взглядов своего подзащитного, он тоже обращался к его опыту изучения народной истории: «Прыжов должен был понять, что эти стихийные массы, к несчастью, еще недалеко ушедшие от того, чем они были несколько столетий назад (Разин, Пугачев), не могут в минуту восстания создать ничего стройного, правильного, систематического, под чьим бы они в эту минуту ни были руководством».

Этот вывод словно взят из «Исповеди». Он верно отражает не только теоретическое кредо историка, но и уже известную нам практику его «уклонения» от нечаявских авантур. При этом адвокат, не склонный вообще к идеализации своих подзащитных, не стремился представить Прыжова вовсе уж аполитичным: «Мы видим в нем человека надломленного, порывистого, подготовленного к увлечениям политического свойства, но не к роли заговорщика, идущего к насильственному перевороту».

Хорошо зная характер Прыжова, Арсеньев дал вполне убедительную, как представляется, картину его душевного состояния в день убийства Иванова.

«Он старался не верить и действительно не мог верить тому, что должно было произойти», - говорил адвокат (выделено мною - В. Е.). Здесь точно подмечены и наивность Прыжова, и его беспомощность в противостоянии Нечаеву, и простодушное инстинктивное самообольщение. **«Может быть, хотят запугать, но остановятся»,** - с такой мыслью, по словам адвоката, направлялся он к гроту вместе с Ивановым. При этом Арсеньев подчеркивал, что поведение Прыжова было бы совсем иным, не будь рядом вооруженного Николаева: **«Он мог по дороге в академию сказать Иванову: не ходи в грот, но боялся Николаева с револьвером».**

В итоге адвокат определял участие Прыжова в убийстве как «совершенно пассивное», замечая, что «нельзя сказать даже, что он привез Иванова в академию, потому что он исполнил это поручение вместе с Николаевым».

С учетом всех обстоятельств дела Арсеньев предлагал применить к Прыжову статью не о соучастии в убийстве, а лишь о попустительстве ему («знал, не

предупредил»). Но и применение этой статьи он допускал с оговорками, указывая на грозившую Прыжову в случае неповиновения расправу.

Очень знаменательны слова, заключающие речь адвоката:

«Мне кажется, господа судьи, что как бы снисходителен ни был ваш приговор, во всяком случае он будет выше действительной вины Прыжова».

Его подзащитный вызывал наибольшее сочувствие публики. Даже прокурор В. Половцов отмечал, что «все отзываются о нем как о человеке добром, готовом на всякую услугу, оставлявшем по себе самое лучшее воспоминание». И сам называл его «человеком труда, честной жизни, хороших отношений».

Но это было в конце концов не более, чем реверансом, внешней данью гуманности. Прокурор тут же заявил, что Прыжов «все принес в жертву обществу», что он во всем поддерживал Нечаева и хотел уехать за границу, чтобы примкнуть к Бакунину - то есть, развивал официальную версию о нем как о сознательном и деятельном участнике «Народной расправы». Хотя Половцов и не злобствовал откровенно, подобно обвинителям на других политических процессах, он оставался, как все прокуроры, служителем государственной машины. И его холодные аргументы в глазах судей возымели куда больший вес, нежели самые убедительные контраргументы адвокатов...

Конечный результат дела вряд ли мог удовлетворить К. Арсеньева. 12 лет каторги никак не соответствовали вине Прыжова! Вызывающее безразличие к доводам защиты суд продемонстрировал и в других случаях. И, очевидно, поэтому после процесса адвокат решил взяться за перо.

Статья Арсеньева «Политический процесс 1869-1871 г.г.» появилась в «Вестнике Европы» уже через месяц после суда. Это очень смелая и глубокая статья. К сожалению, она была недооценена в исторической литературе, как недооценено, увы, многое другое в деятельности лучших представителей русского либерализма. Всегда считалось, что единственно верную позицию в оценке нечаевского дела в России занимал орган демократии - «Отечественные записки». Между тем, суждения К. Арсеньева на этот счет в сущности мало чем отличаются от суждений Н. Михайловского, Г. Елисеева или П. Ткачева, а в политической остроте даже превосходят их. Недаром за публикацию его статьи «Вестник Европы» получил первое в своей истории цензурное предупреждение (после второго журнал мог быть закрыт).

«Истекшее десятилетие было для России не только эпохой преобразований, но и эпохой политических процессов. С самого 1861 года они следовали один за другим почти непрерывно», - с трудно скрываемой язвительностью констатировал Арсеньев. 11 Их вызвала сложившаяся в стране, по его словам, «система недоверия», «система чрезвычайных карательных мер, возбуждающая озлобление молодежи».

Касаясь студенческого движения, Арсеньев подчеркивал, что «оппозиционное направление молодежи - преимущественно той, что учится в высших учебных заведениях - явление общее всем континентальным государствам Европы», тут же замечая, что лишь «в государствах, не привыкших к умственной свободе, такое настроение умов кажется чем-то безусловно несовместимым с общественным спокойствием».

Да, прав был А. Ф. Кони, назвав Арсеньева «прямолинейным либералом»! В своей статье защитник Прыжова безбоязненно ссылаясь и на Герцена, и на пример декабристов («представители тогдашней русской интеллигенции, слишком далеко опередившие не только массу народа, но и большинство так называемого образованного общества»).

Может, Ленин потом читал Арсеньева («страшно далеки они от народа»)? У него ведь много заемного. Хотя от Ленина и пошло - либералы обязательно трусливые...

Высокий пример декабристов понадобился Арсеньеву, чтобы провести мысль о «постепенном измельчании, вырождении русских тайных обществ». Начало этого он увидел уже в деле петрашевцев (с уважением отозвавшись при этом о Достоевском). В нечаевском деле, по его мнению, эта тенденция достигла крайней точки: в нем, как он писал, «громкая роль принадлежит с одной стороны обману, с другой - доверчивости и самообольщению».

Адвокат-публицист провел еще раз строгую разграничительную линию между Нечаевым и другими членами общества. Последние для него - «социалисты по чувству», которых в России «больше, чем где-нибудь», и устремления которых связаны «с простою заботливостью об улучшении материального положения народа» (выделено мною - В. Е.). Блестящая и, по-моему, самая точная оценка всех представителей русского социализма - от Радищева до наших дней...

Столь же точен Арсеньев и в характеристике «нечаевцев»:

«Между ними и идеалом революционера, начертанным в «Катехизисе», нет ничего общего». Поверим тому, кто лично наблюдал всех подсудимых...

Упомянул он в статье и Прыжова: «Это человек с пылким воображением, но разбитый жизнью, болезненный, никогда не пробовавший своих сил на другом поприще, кроме литературного, более кабинетный ученый, чем практический деятель». Деликатная и вместе с тем абсолютно верная характеристика.

Стремясь до конца развеять миф о четырех «злодеях-убийцах», Арсеньев описывал их переживания: «Ни в одном из четырех второстепенных участников убийства Иванова не заглохло гуманное чувство, заставляющее нас уважать личность, жизнь человека; над каждым из них - не исключающая и того, который на суде старался оправдать свой поступок* - воспоминание о 21-м ноября тяготеет с уменьшающею силой».

Статья Арсеньева никак не могла пройти незамеченной. «Вестник Европы» был серьезным журналом, который читался всеми образованными людьми, где бы они ни жили. (Я легко нашел этот номер в Вологодской научной библиотеке, где после революции собирались книги и журналы из помещичьих усадеб).

Есть основания полагать, что с журнальным выступлением Арсеньева ознакомился и Достоевский. Не случайно вскоре сам он напишет большую статью, где тоже вспомнит кружок Петрашевского и гораздо более сдержанно отзовется о тех, кто стал прототипами его романа 12...

Подробно остановиться на этой статье меня заставило еще одно обстоятельство. «Косвенное оправдание нечаевщины как протеста против разгула реакции» увидел в ней почему-то один из авторитетных специалистов темы Н. Троицкий.¹³

На самом деле нечаевщину, то есть обман, возведенный в принцип, Арсеньев никак не оправдывал и не мог оправдывать. Он не только резко осуждал «дикие тенденции» (его слова) «Народной расправы», но и выступал против заговорщичества вообще, открыто заявляя, что «тайное общество - плохая школа для политического воспитания народа»; «когда мысль сделается силой, она не нуждается в тайном обществе».

Столь же бесосновательно заявление Н. Троицкого, приписывающее оправдание нечаевщины А. Урусову. По его мнению, Урусов «доказывал, что нечаевщина - дело политическое, а безнравственность политических преступлений далеко не так очевидна и постоянна, как преступлений частных».¹⁴

Такое заблуждение встречается не впервые. В одной из советских книг о русских юристах утверждалось даже, что «после рассмотрения нечаевского дела Урусов,

* П. Успенский. См. о нем ниже.

находясь в Швейцарии, ратовал за то, чтобы Нечаева как лицо, обвинявшееся в политическом претсуплении, швейцарское правительство не выдавало бы России.¹⁵

Все это тоже не более, чем легенды, которые вносят большую путаницу в и без того запутанное дело. Поэтому стоит еще раз обратиться к событиям, происходившим на процессе и вокруг него. Тем более, что здесь затрагивается самая важная сторона нечаевского дела - нравственно-этическая.

Действительно, А. Урусов на процессе заявлял, что «безнравственность политических правонарушений далеко не так ясна и далеко не так незыблема, как безнравственность преступлений частных». Но эта мысль принадлежала не ему, а известному французскому историку и государственному деятелю Ф. Гизо. Урусов оговаривал это, иронически замечая, что «консервативность Гизо - писателя набожного, известного представителя буржуазии - не может быть поставлена под сомнение».¹⁶

Эта ссылка в преамбуле речи адвоката нужна была ему для того, чтобы опровергнуть, как он говорил, «весьма распространенную вульгарную точку зрения о преступлениях политических как самом тяжком и безнравственном деле». Тем самым Урусов выступал против «набожной» обывательской морали - именно на нее опиралось правительство, пытавшееся всячески очернить участников «заговора».

В контексте речи нет и намека на то, что Урусов каким-либо образом оправдывал Нечаева. Создатель «химерической» «Народной расправы» и организатор убийства Иванова был для адвоката за пределами нравственности. Самое яркое подтверждение на этот счет содержится в поздних воспоминаниях Урусова, изданных посмертно в 1907 г., где он характеризовал мораль Нечаева вполне однозначно - как «мораль бандитизма».¹⁷

Эти же воспоминания дают представление (естественно, с поправкой на время) об отношении Урусова к другим участникам дела. «Не отказывая в сочувствии и сострадании к некоторым идеалистам из этой среды, я не испытывал ни малейшего влечения к их ребяческим планам», - писал он.

Конечно, под «идеалистами» имелся в виду прежде всего П. Успенский - его подзащитный. Именно эта фигура, ее оценка вызвала на процессе самые горячие разногласия. И коль скоро они продолжают и поныне, задевая отчасти и репутацию Прыжова, надо внести ясность.

В вину Успенскому обычно ставится его речь на суде, где он - неожиданно для всех - доказывал необходимость убийства Иванова. На этом основании некоторые историки делают вывод о «родстве» Нечаева и Успенского, о том, что последний тоже разделял принцип «вседозволенности».¹⁸ А писатель Ю. Давыдов без обиняков утверждает: «Верный «Катехизису революционера», Успенский и на суде тщательно обосновывал необходимость устраниения Иванова».

Замечу сразу, что никаких твердых данных о знакомстве Успенского с «Катехизисом» нет. Сам он на суде заявлял, что «познакомился с «правилами революционера» только во время чтения дела». Но даже если усомниться в этом и предположить, что Успенский все-таки сумел сам, тайком, расшифровать (!) и прочесть текст «Катехизиса», переданный ему на хранение Нечаевым (этот текст в синей книжечке был обнаружен при обыске в спинке дивана на его квартире), то тут остается много вопросов.

Можно допустить в конце концов, что Успенский, прочтя «Катехизис», был в какой-то мере заворочен его пышной риторикой, фразами типа: «Суровый для себя, он (революционер) должен быть суровым и для других», «все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем

единою холодной страстью революционного дела...» Но сам он таковым, однако, не стал, да и не мог стать. Трудно поверить в молниеносное превращение библиотекаря-интеллигента в сурового бунтаря-фанатика! Еще невероятнее представить «задавленными» «чувства дружбы, любви» в отношениях молодых супругов Успенских, которые в период своего общения с Нечаевым ждали ребенка...

Помимо объяснений Успенского на суде, казущихся холодно-циничными («еще нельзя думать, что самая смерть Иванова не принесла пользы»; «у больного делается ампутация какого-нибудь члена для того, чтобы сохранить весь организм» и т. д.), на неприятие его личности у историков и писателей, возможно, оказывают влияние строки известного письма жене из крепости накануне суда:

«Если бы я убил на дуэли кого-нибудь или украл 800 тысяч пудов соли - это бы все поняли, а убить **по принципу** (подчеркнуто Успенским - В. Е.) - дико и непонятно!»¹⁹

Прочтя такое, трудно, наверное, удержаться от литературных аллюзий: устами «нечаевца» словно бы говорит Родион Романович Раскольников! «Вечный спутник» нашего повествования Достоевский, кажется, и здесь оказался провидцем, предугадав реального «убийцу-теоретика»... Но как ни заманчива такая аналогия, она не имеет под собой никакой почвы.

Разумеется, «по принципу» у Успенского не означает «из идейных, теоретических соображений». Мы уже знаем, что в его глазах Иванов был - благодаря внушениям и «доказательствам» Нечаева - предателем, а это сильно меняет дело. Ибо устранение предателей всегда являлось действительно принципиальной, хотя и неприятной акцией.

Наверное, уместно будет напомнить, что пункт о «смерти изменнику» обсуждался в свое время и в кружке Петрашевского.²⁰ Еще более важно напомнить, что кружок этот был раскрыт и разгромлен благодаря доносам Антонелли - платного агента III отделения. В целом не будет преувеличением сказать, что доносчики и провокаторы стали палачами и главными дезорганизаторами русского освободительного движения в XIX веке - практически каждое политическое дело, влекшее за собой казни, торгору и ссылку десятков и сотен людей, было подготовлено ими. Все это приводило к необходимости ответных, защитных действий. По данным Н. Троицкого, только в период «Народной воли», в 1878-1881 г.г., революционерами были убиты за предательство и шпионаж 8 человек. Отметим очевидное: заповедь «не убий» может, увы, терять свою универсальность. Между прочим, даже сама христианская мораль сделала на этот счет исключение, лишив жизни Иуду Искариота...²¹

Естественен вопрос: почему Успенский сохранил убеждение в предательстве Иванова не только до суда, но и в ходе его? Ведь если в крепости оно могло поддерживаться условиями одиночного заключения (все четверо полтора года содержались изолированно и не имели возможности обменяться мнениями о происшедшем - что было само по себе огромной пыткой!)*, то уже на первых судебных заседаниях стала проявляться зловещая роль Нечаева. Неужели Успенский, который выступал позже остальных, продолжал уверовать в его честность?

* К вопросу о пытках. Физическое воздействие на политических преступников с целью получения нужных показаний в «золотом» XIX веке было не принято, однако, это не значит, что следователи особенно церемонились. П. Успенский оставил свидетельство: «Когда я был вызван на допрос к полковнику Горемыкину, он заметил мне, чтобы я говорил громче, и на мой ответ, что у меня слаба грудь, полковник сказал: «Ну так мы вам здесь ее еще слабее сделаем». (ГА РФ, ф. 112, д. 490, л. 22). Горемыкин, Слезкин, Сукин... Какие родные фамилии для карательных учреждений!

Как ни удивительно, но это, по-видимому, так. Иначе не объяснить упорного стремления Успенского оправдать акт 21 ноября и опровергнуть «антинечаевские» выступления на процессе (он оспаривал, например, мысль Спасовича о том, что убийство Иванова было организовано Нечаевым для того, чтобы «спаять кровью» остальных, и говорил: «О цементации кровью у нас и речи не было. У нас была другая связь, более крепкая - это идея, идея общего дела...»).

Речь Успенского можно рассматривать, на мой взгляд, как попытку защитить честь революционного общества, которое понималось им идеально. Это самый наглядный образец мощного воздействия нечаевской демагогии и его личного «магнетизма» на молодых, романтически настроенных людей. В психологическом плане этот пример как бы превосходит печальные следствия слепой веры в узурпатора-демагога - той «веры больше, чем себе» (А. Твардовский), которая заставляла людей умирать с именем палача на устах...

Но процесс все-таки серьезно пошатнул иллюзии бывшего секретаря «Народной расправы». Дальнейший ход прений, оглашение новых и новых фактов об интригах Нечаева - и, надо полагать, честный критический самоанализ - заставили его усомниться в собственных выводах о «пользе» убийства Иванова. Свидетельство К. Арсеньева на этот счет мы уже приводили. Есть и еще одно живое подтверждение, обнаруженное в архиве III отделения.

После процесса, определившего ему 15 лет каторжных работ (наивысший срок, на котором сказалась, несомненно, и его нераскаивная речь на суде), Успенский содержался в Московской пересыльной тюрьме. Вместе с ним в камеру был посажен тайный осведомитель жандармского ведомства Я. Моллисон. Вот что докладывал он своему начальству:

«Расстался с Успенским. Он постоянно охал да ахал и чуть ли даже не раскаивался в том, что был при убийстве Иванова, его, как он говорит, мучает совесть». 22

Как явствует из документов того же дела, Успенского в московской тюрьме посетил А. Урусов. Будучи, как и Арсеньев, не в силах пробить твердокаменную стену правосудия, он продолжал оказывать своему подзащитному моральную поддержку. О чем они говорили с Успенским, установить, конечно, невозможно. Однако бесспорно, что беседа в тюрьме была преисполнена большого такта. Ибо это качество, крайне необходимое в такой ситуации, ярко продемонстрировал адвокат и в своей защитительной речи.

Задача, стоявшая перед Урусовым на процессе, была, пожалуй, самой сложной: ему надо было найти аргументы, смягчающие вину того, кто сознательно способствовал убийству и сам заявлял об этом... И адвокат пошел по единственно верному пути: он брал за отправную точку не общепринятые моральные императивы, а внутренние законы тайного общества.

«Тайное общество есть status in statu, - говорил Урусов. - Оно имеет свою организацию, свои законы, свой суд. Оно ведет тайную войну против государства, в котором образовалось. Находясь на военном положении, оно подчиняет свободу лиц непреклонной дисциплине, судит и казнит их...» 23

На первый взгляд, такой подход как раз и открывал путь к оправданию Успенского. Но ни эти положения, ни фраза об условии разделять нравственность «частную» и «политическую» («что по частной нравственности преступление, по политической - мера необходимости») не имели целью оправдание. «Задача защиты, - как говорил Урусов, - не утверждать, не обличать, а объяснять». Следуя этому

принципу, он и стремился сделать понятными мотивы действий Успенского, который стал участником «тайной войны», не имея ни малейшего опыта («в нем не было следов практичности», - подчеркивал адвокат).

Одним из предметов муссирования на процессе была зыбкость доказательств предательства Иванова. Слова Успенского о его личном «твердом убеждении» в предательстве вызывали у членов суда скептические усмешки. И действительно, это было самым уязвимым местом его позиции: ведь реальных подтверждений свершившегося факта доноса он привести не мог - речь шла только о «намерении», якобы известном «Комитету».*

Урусов, надо полагать, сознавал эту уязвимость. В то же время он не сомневался, что Успенский был искренен в своем заблуждении, что его «сознательность» была не более, чем сторонним внушением. Поэтому адвокат считал безосновательным спор о доказательствах задним числом, прямо заявляя: «Мнения подсудимых о виновности Иванова никогда не будут нашими, на этой почве мы никогда не сойдемся».

Главным в действиях помощников Нечаева он считал отсутствие у них «личной вражды» к Иванову. Подчеркивая, что в деле на этот счет «нет ни одного факта», он заключал: «Коль скоро этого нет, то нравственное чувство обязывает нас не преувеличивать вину подсудимых».

Такой подход был в высшей степени корректным. Не освобождая всех четверых от моральной ответственности за печальную участь Иванова, он в то же время защищал их от огульных и беспартийных обвинений в бесчеловечности и малодушии.

Горячее одобрение действий адвокатов в демократической печати, эпитеты, которыми они награждались («блистательной» назвал речь Урусова Н. Михайловский, «безукоризненной» считал защиту Арсеньева Г. Елисеев), были не только знаком признания их профессионального мастерства, но прежде всего знаком признания верности их нравственно-этической позиции. Касалось это, несомненно, и определения той меры вины в гибели Иванова - минимальной, невольной, вымученной, - которую отводили своим подзащитным адвокаты.

...Свидание в тюрьме с Урусовым было последним для «нечаевцев» касанием с миром благожелательности и понимания. Им предстояло пройти огромные суровые испытания - каторгой, одиночеством и почти всеобщим отчуждением.

* Чрезвычайно важна с этой точки зрения еще одна подробность, на которой ни разу не останавливались историки. Как явствует из материалов следствия, при первичном дознании, проводившемся полицейским приставом 26 ноября 1869 года (день, когда в пруду был обнаружен труп Иванова), «в кармане брюк убитого найдены были бумаги, на которых значатся фамилии лиц, принадлежащих к тайному обществу» (ГА РФ, ф. 112, д. 495/1, л. 149). Факт этот кажется более чем странным. Допустить, что Иванов вообще владел списком членов общества, а тем более носил его с собой - невозможно. Совершенно невероятно другое - то, что он, «предатель», вынашивая идею передать этот список полиции (представим на мгновение и такой вариант), прихватил его с собой в грот. Остается только одно объяснение: список был подложен в карман ему, уже убитому, Нечаевым! И цель ясна: создать мнение о том, что Иванов действительно намеревался донести, представить будущим следователям и судьям «вещественное доказательство» политического характера убийства... Столь изощренная предусмотрительность превосходит даже самые подлые приемы родоначальников иезуитизма! Но она вполне соответствует всей манере действий Нечаева. (Реальность этого подлога подтверждается показаниями Успенского и Кузнецова о том, что после убийства Нечаев «обыскивал карманы» Иванова: в этот момент, очевидно, он незаметно и вложил список).

Ярлык злонамеренных «убийц Иванова», от которого так старались освободить их адвокаты, оказался, к несчастью, слишком липким и стойким. Такое мнение о них сохранилось даже среди части ссыльных революционеров.

История дальнейшей судьбы Успенского, Кузнецова и Николаева, как и судьбы Прыжова, - отдельная важная тема. Я много занимался ею, и удалось найти интереснейшие факты. Пока же замечу, что необычайно трагичная участь Успенского (он был убит на каторге товарищами по вздорному обвинению в шпионстве) не дает никакого повода для спекуляций на ней. Только стремлением к броскому беллетристическому эффекту можно объяснить версию Ю. Давыдова о некоем мистическом «бумеранге», якобы покаравшем Успенского.*

Возможно, читателя заинтересует и дальнейшая судьба адвокатов?

На первый взгляд, складывалась она вполне благополучно. Урусов долго еще славился как блестящий судебный оратор. Но основную популярность ему приносили яркие и острые театральные рецензии: многие соотечественники считали его выдающимся театральным критиком.²⁴ О вкладе Урусова в пушкинистику, о дружбе с Чеховым мы уже знаем. Та же многообразная культуртрегерская деятельность наполняла в последующие годы и жизнь Арсеньева: он стал одним из редакторов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, избирался почетным академиком и председателем Литературного фонда, продолжая неустанно трудиться в «Вестнике Европы». Оба адвоката не забывали и свое первое громкое дело. Причем, для Урусова оно имело крайне негативные последствия, о которых стоит рассказать.

Смелая речь на процессе 1871 года не прошла незамеченной в правительственных сферах. Но формального повода к преследованиям она не давала. Зато после свидания с «нечаевцами» в тюрьме повод появился: возникло дело о «сношениях кн. Урусова с политическими преступниками». В мае 1872 года на квартиру адвоката в Москве неожиданно явились жандармы с обыском. Причем, возглавлял их сам генерал Слезкин, уже известная нам фигура.

Обыск ничего не дал, но подозрения не рассеялись. Они усиливались доносами тюремных осведомителей, которые сообщали о впечатлениях «нечаевцев» в связи с визитом Урусова. Один из доносов гласил, что В. Черкезов (будущий анархист - В. Е.) «благодарил адвоката за защиту и посещение и сравнивал его, Урусова, по своему влиянию на молодежь с Чернышевским, заявляя свое желание направить к нему лучших молодых людей и вести с ним переписку»; другой сообщал, что «студенты убеждены в том, что кн. Урусов станет во главе народного движения и вполне сыграет роль Гамбетты, от чего Урусов не отказывается».²⁵

Трудно принять эти подобострастные преувеличения за истину. Но у генерала Слезкина были на этот счет и другие сведения, о которых он до поры умалчивал.

Летом того же года Урусов отправился за границу - как сам писал, «вследствие расстроенных нервов». «Побывав, так сказать, в лапах у медведя, я, под впечатлением обыска, бала у кн. Долгорукова, ехал за границу довольно напуганным, - вспоминал он. - Если уж отпустили меня за границу, значит - ничего! - рассуждал я, забывая, что ничего нет опаснее логических умозаключений».

И действительно, по возвращении в Россию Урусова ждали арест и административная ссылка на шесть лет (!) в Лифляндию.

* Давыдов Ю. Две связки писем. М., 1983. С. 164. Еще более странно видеть повторение этой версии в серьезном труде И. Пантина, Е. Плимака и В. Хороса «Революционная традиция в России», М., 1986. С. 217.

Это неожиданное для многих событие вызвало различные толки. Тогда же и возник слух о его выступлении в защиту Нечаева как причине ареста. Эта фантастическая версия была изложена в воспоминаниях театрального деятеля той поры И. Захарьина:

«Летом 1871 года (т. е. - в разгар процесса?! - В. Е.) он заехал в Швейцарию и попал там в кружок русских революционеров с Нечаевым во главе. Нечаев не верил, что кантоны его выдадут, однако, на всякий случай он, познакомившись с Урусовым, заручился его словом, что в случае его выдачи он будет непременно защищать его на суде. При этом Урусов имел еще неосторожность, посещая собрания русских революционеров, держать там речи в духе, сочувственным целям собрания, а на этих собраниях были, по всей вероятности, тайные агенты нашей полиции». 26

Ничего подобного, естественно, не могло быть - учитывая и «напуганность» самого Урусова, и подпольный образ жизни Нечаева в Швейцарии, и массу других обстоятельств. Эти домыслы, некритически воспроизведенные в наше время, были опровергнуты еще близким другом Урусова Е. Пушкиным, который свидетельствовал, что тот «заехал в Берн исключительно для свидания со своим двоюродным братом князем Горчаковым (сыном канцлера)». 27

На самом деле причиной ссылки адвоката послужили его прежние «предосудительные поступки». В архиве III отделения сохранилась вся богатая коллекция доносов на него. Даже при всех передержках она дает яркое представление о волнолюбивом духе Урусова, который он никогда не скрывал.

... «В нынешнем году на обеде в артистическом кружке в годовщину Московского университета (12 января) убеждал студентов питать презрение ко всему, что носит на себе печать рабства и холопства, намекая в общих выражениях на отношение к правительству и властям. Подобные поучения высказываются им молодежи при всяком случае, возбуждая в ней пагубные инстинкты (так!)... Поэтому пребывание его в столице я нахожу, по глубокому моему убеждению, положительно вредным и полагаю, что в интересах правительства и общества его следует безотлагательно выслать административным путем в одну из отдаленных губерний под строгий надзор полиции».

Это - из большого доклада генерала Слезкина высшему петербургскому начальству, датированного 23-м июля 1872 г. 28 Дата тоже подчеркивает сказочность домыслов о «связях» Урусова с Нечаевым как причине ареста - участь адвоката была предreshена еще до отъезда. На докладе есть резолюция Александра II: «Надеюсь, что надзор над ним будет действительный, а не мнимый». Это дает повод думать, что царь хорошо запомнил «нахала» на балу и «смутьяна» на процессе и был доволен, что его, наконец, приструнили...

Так царизм «обламывал» одного из тех немногих отважных русских людей, кто с открытым забралом боролся за истину в суде и за свободу в жизни. История эта, думаю, очень наглядно показывает, как труден был «третий» - легальный, «умеренный, в рамках законности» - путь борьбы с самодержавием. Но она же подтверждает, что подлинно верные «рыцари цивилизации» (так называли Урусова и его коллег их современники) даже при всех гонениях не оставались рыцарями на час. Продолжая до конца дней и в более мрачные времена выступать поборниками свободы, культуры и прогресса, они доказывали, что путь эволюций «вправо» отнюдь не являлся единственным исходом для либерала.

Столь же стойкий иммунитет был у них и против любого радикализма. Не последнюю роль, полагаю, здесь сыграл процесс 1871 года. Рассматривая дело,

адвокаты исходили из понятий «нормальной» человеческой нравственности и «здорового смысла», свойственных всем либералам в истории. И этот взгляд, свободный от политических и религиозных пристрастий, имел важное преимущество: он позволял предельно трезво оценить демагогию и аморализм Нечаева, бессовестно попиравшего самые основы нравственности. Непреклонность этого отношения («страшный, роковой человек», носитель «морали бандитизма») могла служить ориентиром, предупреждающим знаком для всех, кто имел склонность увлечься «красными перьями» нечаевской риторике.

В сущности, адвокаты выполняли ту же роль, которую взял на себя Достоевский в «Бесах», - только без «отрицательной» энергии («т.е. злобы») последнего. Но их голос был плохо слышен в огромной стране с дремучими лесами и дремучими мыслями в головах многих людей...

Бесспорно одно: никто из адвокатов, защищавших «нечаевцев», не стал бы защитником самого Нечаева ни на суде над ним в 1873 году, ни позже.



«Вон его!» - кричала публика в зале Московского окружного суда в январе 1873 года.

Такой была реакция на появление Нечаева. Он вошел в зал с вызывающе наглым видом, держа руки в карманах (с лицом «франтоватого мещанина», как писал один из репортеров) и уселся спиной к судьям, заявив: «Я не признаю этого суда, я эмигрант, не признаю русского императора и здешних законов».

Публика на этот раз была иной - избранное, верноподданническое общество. И все же «вон!» слишком многозначительно. Нельзя же отказать и самым ярым консерваторам хоть в малой доле здорового нравственного чувства. Убийца, беззащитно отрицающий свою вину, во все времена вызывал только негодование и отвращение...

Да, Нечаева судили как заурядного уголовного преступника, организовавшего убийство Иванова «из личной ненависти».29 Объяснялось это прежде всего тем, что власти стремились соблюсти юридические приличия перед швейцарским правительством, выдавшим Нечаева русской полиции на основании международной конвенции. Однако, были и другие мотивы, о которых говорил Александр II: «Мы имели полное право предать его вновь суду как политического преступника, но пользы мало и возбудит только страсти».30

Выгоду из политической направленности суда мог извлечь в конце концов только сам Нечаев. Еще во время допросов в III отделении он заявлял, что «не признает себя виновным в убийстве Иванова и считает себя только политическим преступником». Причины этого понять нетрудно: такой суд создал бы ему ореол «страдальца за свободу», смягчив его злодеяния в глазах людей.

Своей боязливой перестраховкой правительство лишило его возможности взобраться на героический пьедестал. Нечаев де-юре отделялся от политики, представляя во всей наготе своих порочных помыслов, которые не могли прикрасить никакие высокопарные фразы.

Фраз было много. Все они запечатлены в судебном протоколе. И самая, может быть, характерная: «У меня могут отнять жизнь, но честь никогда!» - кричал Нечаев, «ударив себя в грудь».

Было от чего возмутиться не только публике, но и читателям судебных отчетов. Ведь улики против Нечаева были неопровержимыми. Для большей убедительности власти сочли необходимым опубликовать в «Правительственном вестнике» даже следственные показания некоторых участников процесса 1871 года (в частности, Прыжова), содержавшие подробности подготовки к убийству.* И если на процессе они фактически не были приняты во внимание, то теперь власти, наконец, оценили их доказательную силу. Причем, и общая оценка действий трех соучастников на этот раз изменилась: «Кузнецов, Николаев и Прыжов объясняют свое участие в этом преступлении тем, что их отказ неминуемо повлек бы месть со стороны Нечаева и они сами боялись быть убитыми».31 Хотя с опозданием, но шаг к истине был сделан...

Поведение Нечаева на суде не представляло особой психологической загадки. Неудавшийся диктатор никак не мог смириться с мыслью, что его разоблачили, свергли с заоблачных высот и поместили за решетку. Он был вне себя от ярости. Сравнение с волком, оказавшимся в клетке, напрашивается само собой... Уязвленная гордыня не позволяла ему «унизиться» до объяснений перед судом. Тактика запирательства, тотального отрицания тут вполне понятна. И демонстративный отказ от услуг адвокатуры можно считать лишь звеном этой тактики. (Да и вряд ли кто-либо из адвокатов, даже не очень разборчивых в выборе дел, взялся бы его защищать - это был бы апофеоз беспринципности с соответствующей репутацией на всю жизнь!).

Припертый к стенке, Нечаев вынужден был обороняться последним спасительным средством - демагогией. И заключительные его слова на суде - выкрик: «Это Шемякин суд! Долой деспотизм! Да здравствует земский собор!» - тем более трудно воспринимать как-либо иначе.

«Да неужели же он ничего не смог умнее придумать в своем положении! - так откликнулся на эти фразы Нечаева Достоевский (в черновиках к «Дневнику писателя» 1873 г.). - Ведь уж, кажется, следил за делом, даже писал о нем и вдруг удивился: никогда я не мог представить себе, чтобы это было так несложно, так однолинейно глупо. Нет, признаюсь, я до самого последнего момента думал, что все-таки есть что-нибудь между строчками, и вдруг - такая казенщина!.. Какие восклицания, какой маленький-маленький гимназистик»...

Впрочем, высказывались на этот счет и другие мнения.

«Я затрудняюсь указать в жизни революционеров, западных и русских, хоть один такой пример революционной непреклонности и выдержки до конца», - писал пятьдесят лет спустя один уважаемый историк (П. Щеголев). Тот самый, который приводил в своем труде массу примеров нечаевской лжи, в том числе феноменальное по наглости заявление Нечаева, что публика на суде ему якобы «рукоплескала».32

Поистине безгранична магия революционной фразы! И если спустя еще пятьдесят лет другой авторитетный исследователь (Н. Троицкий) заявлял, что «поведение Нечаева перед судом не только делает ему честь, но и может служить примером для любого революционера» (ссылаясь при этом на Ленина33), если respectable научный журнал «Вопросы истории» мог еще в 1989 году публиковать апологетическую статью о Нечаеве (с которой мне, в числе многих, пришлось полемизировать34), если, наконец, даже у Варлама Шаламова - чуждого, казалось бы, любым иллюзиям - я встретил фразу: «Нечаев и Бакунин останутся в мировой истории без всякого Достоевского».35 - то можно сделать печальный вывод:

Нечаеву все-таки удалось перехитрить историю!

* Цитированные в предыдущей главе показания Прыжова от 13 февраля 1870 г.

Причем, речь не о нечаевщине как явлении (это вопрос особый), а именно о самом Сергее Геннадьевиче как поразительно наглой персоне, которая, согласно русской поговорке, раз за разом влезает в окно, как ни гони ее в дверь.

И это не просто наше российское наваждение. Помню, как я вздрогнул, увидев в журнале «Иностранная литература» за 1996-й год анонс о публикации романа испанского писателя Хорхе Семпруна под названием «Нечаев вернулся»... И прочтя этот роман, написанный еще в 1987 году на реалиях политической жизни Франции и Латинской Америки, лишний раз убедился в том, что миф о Нечаеве глобален, и век XX-й сделал для этого стократ больше, чем XIX-й.

Кто же способствовал тому, что этот Квазимодо (вспомним Г. Енишерлова) или «бес», заклеянный Достоевским, стал столь популярен в мире? Если читатель еще не утомился от подробностей судебного детектива, пусть прочтет и следующую главу, которую можно назвать детективом библиографическим.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Урусов А.И. Статьи. Письма. Воспоминания о нем. М. 1907. С. 142.
- 2 Исторический вестник. 1902. XI. С. 496.
- 3 Цит. по: Троицкий Н. Царские суды против революционной России. С. 135.
- 4 См.: Спасович В. За много лет. СПб. 1872. С. 427.
- 5 Революционное движение 1860-х годов. М. 1932. С. 213.
- 6 Либрович С. На книжном посту. СПб. 1914. С. 61.
- 7 Кони А. Отцы и дети судебных реформ. СПб. 1914. С. 240.
- 8 РГАЛИ, ф.40, оп. I, ед/ хр. 24, л. 187.
- 9 Там же, л.195.
- 10 Правительственный вестник. 1871. № 166.
- 11 Вестник Европы. 1871. XI. С. 383.
- 12 Наряду со статьей К. Арсеньева на изменение позиции Достоевского оказал суд над Нечаевым в 1873 г. См. об этом след. главу.
- 13 Троицкий Н. Царские суды против революционной России. С. 137.
- 14 Троицкий Н. Царизм под судом прогрессивной общественности. С. 210.
- 15 Речи известных русских юристов. М. 1957. С. 697.
- 16 Правительственный вестник. 1871. № 165.
- 17 Урусов А. Статьи... М. 1907. С. 9.
- 18 Пантин И., Плимак Е., Хорос В. Революционная традиция в России. С.217.
- 19 Революционное движение 1860-х годов. С. 233.
- 20 Каторга и ссылка. 1924. № 4 /III/. С. 133.
- 21 «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И бросив сребренники в храм, он вышел, пошел и удавился» (Евангелие от Матфея, гл. 27). Самокальн в данном случае больше соответствовала христианским канонам - в реальной жизни подобные поступки предателей, как известно, крайне редки.

22 ГА РФ, ф. 109, д.32, ч. I, л.6.

23 Правительственный вестник. 1871. № 165.

24 Яркое представление о таланте Урусова-критика (а еще больше - о его взглядах) может дать следующий отрывок одной из статей 1881 г.: «В настоящее время Петербург чествует знаменитого путешественника, полковника генерального штаба Н. М. Пржевальского, который проник в неизведанные области внутренней Азии и обогатил науку обильным географическим и этнографическим материалом. Подобная заслуга принадлежит и А. Н. Островскому. Не выходя из своего дома в Москве, где-то близ «Серебряных бань», он открыл и исследовал неизведанные области «внутренней Азии», которую мы носим в себе. Он изучил разновидности русского человека («*homo rossicus domesticus familiaris*» - «русский человек в домашнем приближении» - лат.), которые до него в литературе были мало известны. Он обогатил наши этнографические коллекции великолепными экземплярами самодуров-Брусковых и прощелыг-Подхалюзиных. Он не только набил из них чучела, которые не отличались от живых, но отчетливо препарировал их сердца и мозги, сохраненные в спирту. Оказалось, что Азия лежит совсем не так далеко от нас, как мы могли думать, увлекшись мыслью, будто Россия-де отдельный мир. Оказалось, что азиатский деспотизм семейной власти, азиатское вероломство, азиатская жестокость в отношении к женщине, азиатское мистическое невежество, азиатская нетерпимость - не за горами, а за плечами...» (Урусов А. Статьи. С. 256-257).

25 ГА РФ, ф. 109, д. 32, ч. I, л.л. 15, 40.

26 Исторический вестник. XI. 1902. С. 493.

27 Урусов А. Статьи... С. 107.

28 ГА РФ, ф. 109, д.32, ч. 1/2, л.л. 130, 136.

29 Правительственный вестник. 1873. № 10.

30 Щеголев П. Алексеевский равелин. С. 189.

31 Правительственный вестник. 1973. № 10

32 Щеголев П. Алексеевский равелин. С. 203.

33 Троицкий Н. Царские суды против революционной России. С. 151. Он же - Царизм под судом прогрессивной общественности. С. 287. Имеются в виду слова Ленина из статьи «Каторжные правила и каторжный приговор» (1901 г.): «...Нам пора позаботиться о том, чтобы каждый такой процесс был превращен в политический процесс самими обвиняемыми, чтобы правительство не смело свою политическую месть прикрывать комедией уголовщины!» (Ленин В. И. ПСС. Т. 5. С. 294).

34 Вопросы истории. 1989. № 4; отклики в № 11, 1990 г.

35 Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда. Грифон. 1997. С. 54.

Судьи и адвокаты - II

«Книга - источник знаний».

Неизвестный автор

«Опасный мир книг».

В. Шаламов

Плутая в лабиринте нечаевской истории, не заглянуть ли нам в Вологду начала уходящего столетия?

Типичная российская провинция - вроде Скотопригоньевска (Старой Руссы) у Достоевского. Это с одной стороны. А с другой - город политических ссыльных, которые, по словам выросшего здесь Шаламова, - «вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд».

Мрачную иронию, с которой писал Шаламов после Колымы о «заря надежд», не надо объяснять. А вот его свидетельство о том, что ссыльная Вологда давала «обязательную школу», «техминимум революции» (своими рефератами, диспутами, спорами), - прием к сведению.

Что же входило в этот «техминимум»? И какое место в нем занимал Нечаев?

Среди знаменитых вологодских ссыльных (а тут что ни имя, то знак: Бердяев, Луначарский, Савинков, Кистяковский, Ремизов - в 1901-1902 годах; Сталин, Молотов, Шкирятов - в 1909-1912) не теряется и фигура Павла Елисеевича Щеголева. В ту пору он - 24-летний студент-историк, еще не написавший свой прославленный труд «Дуэль и смерть Пушкина», но успевший посидеть в «Крестах» за участие в университетских беспорядках. В Вологде он женился на местной актрисе Валентине Богуславской и горел желанием поскорее вернуться в столицу. Он рвался к архивной работе, которая была его пламенной страстью. Именно Щеголеву и выпадет роль первооткрывателя документов о пребывании Нечаева в Алексеевском равелине Петропавловской крепости - документов, ставших одной из самых громких сенсаций начала века и, увы, послуживших черному делу героизации негодяя...

Признаться, когда-то у меня был графоманский замысел: написать нечто вроде драматических сцен из жизни знаменитых вологодских политссыльных. На тему: что они думали тогда о будущем России и чем это обернулось на самом деле. Щеголеву у меня отводилась роль вестника о Нечаеве как предтече революции. Разумеется, это был бы анахронизм, т.к. Щеголев получил доступ в архивы и сделал свою находку после 1905 года, а действие происходило в 1902-м, когда рядом были Бердяев и Савинков. Но в театре и не такие анахронизмы возможны.

И тут, после восторженного монолога «архивного юноши» о «герое» Нечаеве, на сцене должны были появиться две грозные бородатые тени - Достоевского и Маркса... Какую отповедь дал бы Щеголеву автор «Бесов», догадаться нетрудно. А

вот Маркса на этих страницах мы еще почти не касались. Может, попытаться сейчас вообразить его монолог? Тем более, что он прямо касается «техминимума революции».

Итак, начинается тень Карла Маркса (для постановщиков: можно использовать и профиль Энгельса, как на популярных советских плакатах, но без Ленина и тем более без Сталина):

«Уважаемые русские товарищи! Должен всех вас уведомить, что мы с моим другом Энгельсом имеем свою точку зрения на деятельность господина, о котором здесь идет речь. Мы посвятили ему, а также его покровителю господину Бакунину целую брошюру под названием «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих». Она имеет также немецкое название Ein Komplot gegen die Internationale ARBEITER-ASSOZIATION» («ЗАГОВОР ПРОТИВ ИНТЕРНАЦИОНАЛА») и издана еще в 1873 году в Гамбурге. Мы написали эту брошюру, самым тщательным образом изучив (вы, конечно, знаете немецкий педантизм и нашу научную добросовестность?) все обстоятельства так называемого нечаевского дела. И пришли к заключению, что господин Нечаев, смеющийся называть себя революционером, на самом деле - проходимец и прохвост. Возможно, вам покажутся слишком грубыми эти определения, но мы никогда не злоупотребляем деликатностью, имея дело с теми, кто наносит нашему движению безусловный вред...

Издавая свою брошюру, мы надеялись на то, что ее прочтут прежде всего в России. Как только она вышла из гамбургской типографии, мы отправили несколько пачек с нею в Санкт-Петербург нашему знакомому Николаю Даниельсону. Это умный и порядочный человек. Он, как вы знаете, издал в России мой «Капитал», переведенный им вместе с нашим общим другом Германом Лопатиным. Полагая, что ваша цензура стала достаточно либеральной, чтобы печатать такие труды, мы рассчитывали, что господин Даниельсон сможет издать и нашу брошюру, придав ей при необходимости более лояльный по отношению к русскому правительству вид. (Хотя ваша пресса и ваши адвокаты в те годы позволяли себе откровенную нелояльность). Почему брошюра о Нечаеве и Бакунине так и не вышла в России или где-либо на русском языке, почему она до сих пор недоступна - для нас большая тайна. Смеею предположить, что здесь сыграли свою роль некие корпоративные интересы ваших революционеров, связанных с русской эмиграцией. Ведь практически вся эмигрантская литература набросилась на нас с бранью за то, что мы позволили себе так бесцеремонно обойтись с Бакуниным...

Мы не могли и не можем оставаться равнодушными к делам в России. Нам хотелось бы предостеречь вас от поклонения ложным кумирам, каковыми являются и Нечаев, и Бакунин. Заодно я хочу предостеречь вас и от излишне восторженного отношения к моей собственной персоне и моим научным трудам. Среди ваших социал-демократов распространилась вера во всеислие моего учения. Но я не господь Бог. Я всего лишь ученый-экономист и немного политик. Я хорошо знаю Германию, Англию, но еще плохо знаю Россию. Правда, не могу не сказать о некоторых своих успехах в изучении русского языка. Я знаю уже несколько пословиц, которые свидетельствуют о талантливости вашего народа. Одна из них мне кажется особенно остроумной: «Заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьет». Вероятно, это имеет отношение не только к церкви...

Насколько я могу судить даже по этой истории с Нечаевым, в которой вы никак не можете разобраться, у некоторых из вас извращено моральное чувство. Одумайтесь! Такой человек достоин только презрения - и здесь я целиком согласен с вашим христианским писателем Достоевским...»

Вполне сознавая, что передать мысли гения - задача непосильная, я, конечно, не ручаюсь за стиль. Но смысл того, что мог сказать поднявшийся из гроба Маркс своим русским *genossen*, должен бы быть примерно таков - тут нет сомнений. Почти каждую фразу можно подтвердить документами.

Начать с того, что Лондонская конференция Интернационала еще в октябре 1871 года, т.е. сразу по завершении нечаевского процесса в России, сделала специальное заявление:

«Нечаев никогда не был ни членом, ни агентом Международного товарищества рабочих. Нечаев обманным путем использовал имя нашего товарищества с целью одурачивания людей в России и создания жертв». 1 В брошюре об «Альянсе» об этом же было сказано более пространно: «Перед нами общество, под маской крайнего анархизма направляющее свои удары не против существующих правительств, а против тех революционеров, которые не приемлют его догм и руководства. В России это общество полностью подменяет собой Интернационал и, прикрываясь его именем, совершает уголовные преступления, мошенничества, убийство, ответственность за которые правительство и буржуазная пресса возлагают на наше товарищество». 2

Здесь столкнулись, как я полагаю, не просто две разные идеологии, а две культуры, два менталитета: европейский (немецкий) и русский. Русское слово «самозванец» труднопереводимо для немцев. Но термин «узурпация», многократно употреблявшийся в брошюре (ср.: «Тайное общество, узурпировавшее имя Международного товарищества рабочих») очень близок по смыслу. Тот, кто присвоил себе чужое имя и чужое право, столь жестоко скомпрометировав их, по обычаям и законам любой из европейских стран - уже преступник. Никакой российской снисходительности к мошенничеству, оправданию его «условиями времени» или «высокими целями» у авторов брошюры, естественно, не наблюдалось. Уже в самом названии нечаевской организации они нашли порочную черту: расправа, как они замечали, по-русски означает не «правосудие», а «месть», «расплату».

«Законники-педанты, а как же собирались революцию делать, коммунизм строить!» - мог воскликнуть какой-нибудь непоколебимый сторонник Нечаева и Бакунина, потрясая «Катехизисом революционера», в котором провозглашалось: «Нравственно все, что способствует торжеству революции».

На это бородатые основоположники могли бы ответить очень кратко (словами своей брошюры о «Катехизисе»):

«Критиковать такой шедевр значило бы затушевывать его шутовской характер».

И так далее, и тому подобное - желающие могут разыскать в списанном в макулатуру собрании сочинений Маркса и Энгельса 18-й том и прочесть (перечеть) «Альянс».

Между прочим, там несколько раз упоминается и фамилия Прыжова, разбираются эпизоды с его участием. Авторы брошюры внимательнейшим образом изучили стенограммы процесса - они пользовались «Санкт-Петербургскими ведомостями» - и, в отличие от российских литераторов, не пропустили там ничего существенно важного. Наверное, поэтому в их оценках рядовых участников дела нет и тени моралитета: «Успенский, Иванов и еще четыре или шесть юношей были, по-видимому, единственными людьми в Москве, которые дали себя одурачить этими фокусами»; «этот эмиссар (Нечаев - В. Е.) принудил некоторых из них оказать ему помощь в совершении убийства», «Нечаев хотел убить Прыжова за то, что тот посмел возражать против убийства Иванова»...

Иван Гаврилович Прыжов, начавший в то время (в 1873 году) отбывать ссылку в далеком Петровском Заводе, конечно, не подозревал, что у него окажутся такие

серьезные защитники в Европе. Ведь кроме как от адвокатов на процессе, доброго, сочувственного слова он ни от кого не слышал. (Между прочим, очевидно, что Маркс и Энгельс опирались главным образом на адвокатскую версию событий).

Но ни Прыжову, ни кому другому из русских людей не дано было - и тогда, и позже - ознакомиться с этой брошюрой, которая, словно волшебное перо Жар-птицы из сказки, в один миг могла осветить, сделать ясным то, вокруг чего потом десятилетиями ломались копыя и напускался туман легенд!

Увы, увы и увы - словно какой-то Кашей Бессмертный спрятал эту брошюру в сундук за тридевять земель, подальше от людских глаз.

Тот, кто доберется до примечаний к 18-му тому сочинений основоположников, обратит внимание на странную деталь: здесь черным по-белому написано, что «Альянс» был опубликован в России - и то не полностью, а фрагментами - лишь в 1928 году, в книге Вяч. Полонского, посвященной Бакунину.³ То есть, больше чем полвека понадобилось, чтобы труд великих немцев, чьи имена, казалось бы, была освящена русская революция, стал, наконец, известен тому читателю, которому он прежде всего был адресован. А полный его текст был опубликован лишь десятилетие спустя.

Чем не загадка? Чем не сюжет для захватывающего детектива - и всего-то на скучном библиографическом материале? И может, это и не детектив вовсе, а нечто посерьезнее?

Нахально потревожив тень Маркса, не могу не признаться, что я не очень-то силен в деталях марксизма, а тем более марксведения. Просто, читая в свое время комплект журнала «Минувшие годы», где была опубликована «Исповедь» Прыжова, натолкнулся на публикацию (первую в России - на дворе был 1908-й год, оттепель) писем Маркса и Энгельса к Николаю Даниельсону, где шла речь о нечаевском деле и борьбе с Бакуниным. Переписка шла конспиративно, Маркс подписывался «А. Вильямс» и употреблял некоторые иносказания. Тут и был этот исторический фрагмент:

«Мы печатаем в настоящую минуту «Разоблачения» касательно «Альянса». Так вот я желал бы знать самый дешевый способ отправить вам довольно значительное число экземпляров этой вещи» (письмо от 2 августа 1873 г.).⁴

Публикатор писем Г. Лопатин расшифровал странное слово «дешевый» как «надежный» - разумеется, так оно и было: Маркс желал, чтобы пачки брошюры с гарантией дошли до адресата. Видно, что он придавал этой акции огромное значение. Дошли ли брошюры? Вопрос долгое время оставался открытым для меня, пока, наконец, в книжке одной добросовестной исследовательницы биографии Н. Даниельсона я не узнал более-менее утвердительные сведения на этот счет.⁵ В конце концов, департаменту полиции не было никакой нужды арестовывать почту с брошюрой, направленной против заклятого врага русской монархии - Бакунина. Почему же Николай Францевич Даниельсон (между прочим, финн по происхождению и народник по взглядам) не предпринял никаких шагов для ее распространения в России - хотя бы нелегального (ибо следов и об этом нет)?

Вероятно, эта тема ближе сотрудникам бывшего ИМЛ (Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Почему же нельзя было открыто и широко - а не в примечаниях, которые мало кто читает - поведать миру о судьбе этой злополучной брошюры и причинах ее неприятия в России? Может, потому что при этом всплыли бы очень неприятные выводы? Вроде такого: от марксизма до ленинизма - дистанция огромного размера? Или такого: год 1917-й свершился в России под знаменем не

Маркса-Энгельса, а Бакунина-Нечаева? Ведь сейчас бывшие сотрудники этого института приходят именно к таким выводам.*

Никак не претендуя на роль Ватсона (у нас ведь детектив), предлагаю свою версию. Она достаточно проста и исходит не из «идейных расхождений» русских революционеров с Марксом - об этом написано с избытком, а из известных психологических законов групповой борьбы (или драки - что примерно одно и то же). Суть этих законов выражается популярным уличным кличем: «Наших бьют!»

Брошюра была могучей оплеухой не только и не столько Нечаеву, сколько Бакунину. Именно Бакунин, по мысли основоположников, нес всю полноту ответственности за нечаевские акции. «Безмозглые людишки, которые пыжатыся, произнося революционные фразы» - это и в его адрес. А всю идеологию Бакунина авторы брошюры назвали кратко и емко - «татарскими фантазиями».

Забегая вперед, скажу, что перечитывая работы Бакунина, я испытывал очень похожие ощущения. Живописнее всего его политическое кредо представлено в одном из последних писем к Нечаеву:

«...Всецелостное разрушение государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством народно-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальной, но безыменной и коллективную диктатуру друзей полнейшего народного освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество и действующих всегда и везде ради единой цели, по единой программе.

Такова мысль и таков план, на основании которого я соединился с вами и для исполнения которых я подал вам руку.»

Надо было иметь очень буйную голову, чтобы формулировать такое! Всем, кто испытывает еще какие-то иллюзии относительно Бакунина и его идей, могу посоветовать почаще заглядывать в том 96-й «Литературного наследства», где опубликовано это письмо. Признаюсь, что этот том, вышедший в 1985 году и выписанный тогда же через издательство «Наука», - один из любимых в моей библиотеке. Редчайшее собрание материалов о закулисной стороне нечаевского дела. Например, из того же печально известного письма Бакунина Нечаеву (оно было впервые опубликовано на Западе в наши 60-е годы и вызвало много откликов), следует, что апостол анархизма был, мягко говоря, неискренним, пытаюсь откреститься от Нечаева и от «Катехизиса» («Ваш «Катехизис», «ваше самоотверженное изуверство» и т. д.). Невозможно откреститься от того, с кем прошел причастие и стал как близнецы-братья у матери-истории... Нечаевщину с большой долей истины можно назвать и бакунинщиной. Разница лишь в том, что Нечаев исповедовал и проводил в жизнь принцип «цель оправдывает средства» без всякой оглядки, с упоением, как систему, годную в любых случаях, а Бакунин ограничивал его применение «особыми условиями». В том же письме он откровенничал, что в деле «уничтожения правительства... одною пропагандою истинны ничего не сделаешь - необходима хитрость, дипломатия, обман. Тут место и пезуитизму, и даже опутыванию; опутывание - необходимое и великолепное средство для того, чтобы деморализовать и уничтожить врага; полезное средство для того, чтобы приобрести и привлечь нового друга». (Несчастный Прыжок! Знал бы он об этих инструкциях из Локарно...)

* См. напр.: Кантор К., Немецкая идеология Маркса и Энгельса и русский марксизм - Вопросы философии, 1995, № 12. К этой статье, впервые раскрывшей многие «горизонты» в данном вопросе, придется еще обращаться. Более скромные суждения автора на ту же тему изложены в статье «Не верьте «бесам» - Диалог, 1991, № 14 (сентябрь).

Разумеется, вся эта подноготная была скрыта и от русских эмигрантов, оказавшихся в 1873 году рядом с Бакуниным, в Женеве и Париже. По крайней мере для П. Лаврова и П. Ткачева - лидеров двух лагерей эмиграции - авторитет Бакунина как неустрашимого борца с царизмом и «собираателя русских сил» был непререкаем. Впервые окунувшись в политическую жизнь Европы и не зная ее подводных течений (Лавров еще недавно тосковал в вологодской ссылке в заштатном Кадникове, откуда его вызволил Герман Лопатин, а Ткачев испытал все прелести Петропавловской крепости, куда угодил по нечаевскому делу), они невольно тянулись под бакунинское крыло. И прочтя брошюру, сразу встали на защиту «своего» от «чужих». Вежливый Лавров нашел в ней «характер желчной полемики против личностей, стоящих в первых рядах федералистов», а прямолинейный Ткачев - «запятнание грязью одного из величайших и самоотверженнейших представителей революционной эпохи». Даже человек принципа Герман Лопатин в этом случае отказался от поддержки Маркса, заявив: «Я не оправдываю Бакунина, но никогда не соглашусь помогать позорить на всю Европу человека, игравшего такую роль в нашем революционном движении». 6

Эта самоцензура сослужила очень недобрую службу. Впрочем, сомневаться в заслугах Бакунина в те годы - и не только в те - считалось ересью. Отважный борец с мировым злом деспотизма, участник нескольких крупных восстаний, дважды осужденный европейскими судами на смертную казнь, шесть лет при Николае I проведший в русских тюрьмах, друг Герцена - этими индულгенциями без стеснения козырял и сам Бакунин, выступая (в вечном подпитии) перед эмигрантской молодежью. Первый популист в российской политической истории не брезговал никакими средствами для укрепления своей славы. Истинное его лицо - гораздо менее симпатичное - открылось много позднее, когда широкой публике стала известна «Исповедь» Бакунина, обращенная к Николаю I (пример лжи во спасение, но разве случайся с тех пор ложь и пресловутое «опутывание» стали для него нормой?)

Когда-то я с содроганием узнал, что во время Дрезденского восстания в 1849 году Бакунин предлагал вынести из знаменитой галереи «Сикстинскую мадонну», чтобы прикрываться ею от пушек нападавших пруссаков (по его же предложению в галерее был тогда устроен склад горючих материалов)... Комментируя этот факт, советские историки 20-х годов соотносили его с самопризнанием Бакунина о том, что он «полностью лишен эстетического чувства». Но тут явно не в одной эстетике дело! В свое время Бакунин написал статью «Бог и государство», где открыто, еще до Ницше, возглашал: «Хвала Сатане, вечному мятежнику!» Жаль, что все это осталось неизвестным Достоевскому, а не то в «Бесах» мы увидели бы другого Николая Ставрогина, о котором автору романа не пришлось бы делать оговорку: «Это лицо трагическое. Я его из сердца взял». Впрочем, Бакунин - не единственный прототип Ставрогина, и если уж касаться Достоевского, то лучше тут вспомнить карамазовщину и бессмертное: «широк, слишком широк человек - я бы сузил»...

Широта природы Бакунина, помимо прочего, проявилась и в его зоологическом антисемитизме, о котором предпочитали умалчивать историки. Это и было одной из главных причин его враждебности к Марксу. Весьма красноречив отклик Бакунина на брошюру об «Альянсе»: «Маркс ввиду своего тройственного характера, как коммунист, немец и еврей, таит против меня ненависть... Я удаляюсь с арены борьбы». 7

Нельзя сказать, что так называемые этнические предубеждения вовсе уж не играли роли и у его противников. От этих предубеждений не свободен никто, даже самые стерильные интернационалисты - пока к «этносу» примешивается политика.

Известно, как воспринимали основоположники панславизм - государственную доктрину царской России. Экстатические, чисто эмоциональные пророчества Бакунина о «великой будущности» славянства - революционный панславизм - естественно, тоже не мог вызвать у них энтузиазма. Но главным было, конечно, не это. Энгельс, отвечавший своим оппонентам Лаврову и Ткачеву, едко иронизировал и над их «требованием истинно христианской терпимости по отношению к разоблаченным нами мошенникам», и над убеждением в том, что «**подлинным** революционером не следует разоблачать **показных** революционеров».⁸

... При сегодняшней аллергии на слово «революция» и все однокоренные слова вопрос о подлинном и показном (мнимом), казалось бы, расплывается, как в тумане. Но для большинства тех, кто в условиях карательного единодержавия в России не желал и не мог только «годить» (язвительное слово Щедрина), кто смело решался на «протест своими боками» (тоже Щедрин) и даже жизнью, - нравственная сторона этих действий была далеко не безразлична. Изгнанные из университетов благословленные студенты, по неопровержимому свидетельству главы полицейского ведомства В. Плеве, составляли «главный контингент, из которого крамола вербует своих деятелей».*

Объединяясь в первые революционные кружки, эти молодые люди вовсе не всегда склонялись к признанию принципа «цель оправдывает средства». Хорошо известно, что народники первого поколения совершенно сознательно противопоставляли себя Нечаеву и его аморализму. В то же время, загнанные властями в подполье, они, по словам того же Плеве, «ожесточались против всего общественного и государственного строя», а ожесточение, как известно, не располагает к разборчивости в средствах. Вот тот истинный заколдованный круг, тот дьявольский доводорот, в который попала российская жизнь на исходе «великих реформ» Александра II и из которого выплеснется вся будущая нечаевщина (как ни открещивайся она от этого имени)...

Была ли какая-либо альтернатива этому «бесконечному тупику»? И могло ли вывести из него чье бы то ни было слово? Слово Достоевского (мы к нему скоро вернемся) не помогло. Слово Маркса - не дошло. Слово Толстого - дойдет, но не поможет... Между прочим, сам Толстой связывал свои упования не только с евангельским, прочтенным заново, словом. В 1880-е годы он много раз вспоминал дорогое ему имя Герцена. «Из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган»; «Если бы он вошел в дух, плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий - нужно только читать Герцена, как казнится всякое насилие именно самим делом, для которого оно делается. Если б не было запрещения Герцена, не было бы и динамита, и убийств, и виселищ...»⁹ Можно было бы считать все это утопией (очередной толстовской), если бы здесь не было печальной исторической правды: произведения Герцена были запрещены в России вплоть до начала XX века. Это букварь, ликбез, но о нем забывают. Русская молодежь, помнившая и читавшая Герцена раннего, с теорией «общинного социализма», практически не знала Герцена позднего, которого имел в виду Толстой. Того, кто не боялся говорить своему другу Бакунину самую горькую, подчас убийственную

*Из отчета, представленного департаментом полиции Александру III в 1882 г. Это был не произвольный вывод, а результат серьезного анализа. «Судебно-полицейская статистика свидетельствует, - докладывал Плеве, - что беспорядки в высших учебных заведениях, происходившие в 1861 году, подготовили каракозовцев, а беспорядки 1869 и последующих лет - тех лиц, которые судились по так называемому процессу 193-х...» (Цит. по сб. Наша страна, 1907, № 1. С.221).

правду: «Ты прожил 50 лет в мире призраков и явился тем же теоретиком, болтуном, с чешоткой революционной деятельности» (из письма 1863 года).

Замечу, что это очень похоже на характеристику, данную Бакунину не только Марксом, но и человеком другого лагеря, других воззрений - М. Катковым: «Ум пустой и бесплодно возбужденный». Но главная черта в Бакуине выражена Герценом все же точнее: «чешотка революционной деятельности» - это диагноз болезни, очень заразной. О последней, самой важной работе Герцена, письмах «К старому товарищу» можно бы и не говорить - ввиду изжоги, которую вызывает у читателя ее ленинская интерпретация, но все же напомним, что программное, выстраданное у Герцена (и обойденное, отсеченное Лениным) - «великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей»; «я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам»; «пора с глупостью считаться как с громадной силой» и т.д. - адресовано не только Бакунину и Нечаеву, но и всем радикалам будущего. И Нечаев, всеми силами пытающийся помешать изданию посмертного сборника статей Герцена в Женеве осенью 1870 года, - это так же символично, как и Ленин, прodelывающий свою вивисекцию над Герценом в его столетнюю годовщину в 1912 м...

Впрочем, Герцен был не единственным из русских людей, кто не верил, что будущее у России - это только бунт. Одним из главных властителей дум русской молодежи в те годы был Н. Михайловский - идеолог народничества, одна из будущих жертв ленинской полемики. Человек, проделавший сложный путь, он дал в конце жизни отповедь своим хулителям, назвав теорию классово́й борьбы едко и метко - «школой озверения». Михайловского всегда отличало обостренное нравственное чувство, недаром он был другом Глеба Успенского, недаром первым выступил против разведения в русском сознании понятий совести и чести, вины и достоинства. И его взгляд на нечаевское дело и роман Достоевского никак не обойти, даже если для кого-то это будет повторением.

«Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом».

Эти слова часто цитируются в современной литературе - причем, в упрек их автору, который-де недооценил романа и содержащегося в нем предупреждения об опасности нечаевщины. Между тем уже в самом определении «монстр» («чудовище!» - и «во всех отношениях») у Михайловского содержится категорическое неприятие всего, что связано с Нечаевым. События осени 1869 года он воспринимал как «печальное, ошибочное и преступное (выделено мною - В. Е.) исключение» в общественном движении.

Михайловскому - как и всему русскому обществу - была практически неизвестна заграничная сторона нечаевской истории, роль и место в ней Бакунина (А. Урусов и В. Спасович, высказывавшие на процессе 1871 года мысль о причастности Бакунина к «Катехизису», подчинялись скорее интуиции, чем фактам). Но в своих конечных выводах Михайловский оказался очень проницателен. Об этом свидетельствует прежде всего его трактовка понятия «бесы», выдвинутого Достоевским:

«Бесы» - это утрата способности различать добро и зло».10

Очевидно, что эта формула, свободная от религиозной окраски, выражала для Михайловского суть руководителя «Народной расправы». Но на самом деле она охватывала гораздо более широкий круг лиц и явлений, куда мог быть отнесен и Бакунин.

В своем осуждении такого рода «бесовства» Михайловский целиком сходил с Достоевским. Но он резко протестовал против нескрываемого стремления писателя

распространять тезис об «утрате способности различать добро и зло» на всю новейшую историю и ее деятелей. Будучи хорошо осведомлен о действительных тенденциях в стране, публицист имел право заявить, что «тон времени» задают люди «с совестью хрустальной чистоты и твердости».

Острая критика романа с этих позиций была, безусловно, справедливой. Лично обращаясь к Достоевскому и касаясь коренных русских вопросов («если бы вы не играли словечком «Бог» и ближе познакомились с позоримым вами социализмом, вы убедились бы, что он совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды», - крещендо полемизма Михайловского!), его статья выражала умонастроения не только народников, но и всех честных людей России.

Известно, что страстная и искренняя статья Михайловского сильно задела автора «Бесов». Ответ последовал на исходе того же 1873 года.

Это был заключительный тур в полемике современников об уроках нечаевского дела. И хотя он уже не мог поколебать устоявшихся мнений, некоторые новые признания Достоевского весьма важны и знаменательны.

Главу «Одна из современных фальшей» из «Дневника писателя» (декабрь 1873 года) обычно рассматривают как автокомментарий к роману, причем, без каких-либо принципиальных изменений в позиции писателя. И действительно, Достоевский продолжал здесь свои нападки на атеизм и на «политический социализм» и еще раз открыто заявлял о разрыве с «петрашевским» прошлым.

Фактически прежним осталось и его отношение к Нецаеву: отказываясь считать его «идиотическим фанатиком», писатель отнес его к типу «очень хитрых мошенников, изучивших великодушную сторону души человеческой, чаще всего юной души», намекая на то, что этот тип распространен среди «коноводов-социалистов».

Но нельзя не заметить, насколько «подобрел» автор «Бесов» по отношению к другим участникам дела!

«Нецаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нецаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во времена моей юности», - писал он.

Хотел того Достоевский или нет, но апелляцией к личному опыту - словами «я сам старый «нецаевец», я тоже стоял на эшафоте» - он уже перечеркивал многое из того ядовитого и карикатурного, что было им вложено в образы сподвижников Петра Верховенского. Ведь следуя этой логике, он неизбежно должен был отвести себе самому, «бывшему», роль... если не Толкаченко, то Виргинского, Липутина или кого-либо еще из «наших» в своем романе. И поскольку сам он считал себя - как и других петрашевцев - отнюдь не «шалопаем» (его собственное ироническое слово), то и вопрос о «шалопайстве» или «шутовстве» изображенных им героев должен был подвергнуться пересмотру.

Такой пересмотр и был сделан самим Достоевским в той же статье. «В моем романе, - писал он, - я попытался изобразить те многообразные и многообразные мотивы, по которым **даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди** (выделено мною - В. Е.) могут быть привлечены к совершению такого чудовищного злодейства».¹¹

Увы, ни у кого из персонажей «Бесов» - участников убийства Шатова - подчеркнутых черт не обнаруживается. Все они изображены в явно отгалкивающем виде. Так что своим запоздалым объяснением писатель не совсем точно - скажем так - интерпретировал собственный замысел и его художественное воплощение.

Но коррективы Достоевского - сделанные, надо полагать, с учетом острой критики романа, а также с учетом статьи К. Арсеньева и материалов суда над Нецаевым - чрезвычайно важны для уточнения его общей, итоговой позиции в этом

деле. Они свидетельствовали, что писатель в конце концов пришел к более глубокому и верному пониманию событий осени 1869 года и реальной психологии их действующих лиц. (Несомненно, что эти авторские поправки должны бы принять во внимание все, что привык судить об отношении Достоевского к «нечаевцам» только по его роману.)

Надо иметь в виду, что яростный гневно-обличительный пафос «Бесов» был во многом обусловлен еще и тем, что современники, по мнению Достоевского, оказались неспособными разобраться в нравственной стороне дела - ввиду всеобщей «шатости понятий». «Нечаев - неужели нет, кто бы сказал, что это действительно гнусно»; «достоинство появлений Нечаева совершенно равняется достоинству умолчания о Нечаеве, то есть в том смысле, что одно другого стоит и обозначает всю нетвердость нашего либерализма, всю несмелость, рабскую боязнь, что скажут, и проч.», - записывал он в своем дневнике.12

Наивность заблуждений писателя на этот счет (или неосведомленность?) очевидна. Достоевский был отнюдь не единственным суровым судьей нечаевщины в свою эпоху - более того, его скорый художественный суд был далеко не во всем правым. И русские демократы в лице того же Михайловского, а еще раньше - Герцена, и лучшие из либералов не хуже него создавали «гнусность» того, что принес с собой создатель мнимой «Народной расправы». Они сказали об этом свое посильное - пусть не столь громкое, но твердое - слово. (Между прочим, и Прыжов в «Исповеди» употребил те же слова - «гнусно и скверно», но кто мог услышать его голос из-за решетки?).

А передовая мысль Европы, в лице затурканных ныне основоположников, согласимся, намного превзошла автора «Бесов» и в глубине, и в точности, и в конкретности. Окончательные выводы у нас еще впереди, но и сейчас ясно, что брошюра об «Альянсе» была по большому счету судом политического разума над безумием политического экстремизма и шарлатанства. Адресованная непосредственно участникам освободительной борьбы в России, она могла бы стать для них даже не настольной книгой, а карманной инструкцией - о том, каких людей и каких идей следует остерегаться на этом трудном и долгом пути... Увы, информационный барьер (назову это современным языком) оказался непреодолимым. К библиографическим загадкам марксизма мы еще обратимся, а пока - самые общие причины, о которых писал один из основоположников:

«Впрочем, в такой стране, как ваша, где современная крупная промышленность привита к первобытной крестьянской общине и где одновременно представлены все стадии цивилизации, в стране, к тому же окруженной более или менее прочной интеллектуальной китайской стеной, возведенной деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и причудливых сочетаний идей... Это стадия, через которую страна должна пройти. Постепенно, с ростом городов, изолированность талантливых людей исчезнет, а с нею исчезнут и эти идейные блуждания, вызванные одиночеством, бессистемностью случайных знаний, а отчасти также - у народников - отчаянием при виде крушения их надежд. В самом деле, народник, бывший террорист, вполне может кончить тем, что станет монархистом.»13

... Даже и столетие спустя (письмо Энгельса к Плеханову было написано в 1894-м), все здесь сыплет соль на раны. А причудливость сочетаний идей в современной России - еще богаче, еще пестрее. И к монархизму обращаются уже не бывшие народники, а бывшие коммунисты. Сколько же нам еще проходить эту «стадию»?..

И тогда тоже раздавались голоса «пойти на выучку к капиталистам» (П. Струве), и тогда почти всем было понятно, что Россия - страна догоняющего развития, а

«бедный русский мужик более всего беден сознанием своей бедности» (эти слова из «За рубежом» Щедрина очень запали в душу Ленина).

Но крупнейшие европейские державы, такие цивилизованные, во главе со своими королями, президентами и парламентами, поигрывали мускулами, состязаясь друг перед другом в том «высокомерии», которое точно подметил Достоевский. И это государственное «высокомерие» оказалось в конце концов очень даже не чуждо России: что стоит такой огромной стране приструнить какую-то крохотную Японию, копошащуюся возле нашей Маньчжурии?..

Так думал и тот реальный человек, кто, разуверившись в терроре, безоговорочно встал на сторону монархии и кто, может быть, сам видел - не призрак, нет, а живую тень Нечаева в глухом углу Петропавловской крепости. Очень неглупый был человек Лев Александрович Тихомиров, автор тоже своего рода исторической брошюры «Как я перестал быть революционером» (первое издание в Париже в 1888 г., второе - в Петербурге в 1895-м). Много верного, точного, бьющего в самое больное в русском революционном движении сказал он в этой брошюре - будущий сборник «Вехи», можно сказать, целиком будет основан на его идеях (исключая монархическую).

Честнее всего Тихомиров обрисовал психологию террориста-заговорщика: «Это жизнь затравленного волка. Всех поголовно (исключая 5-10 единомышленников) нужно обманывать с утра до ночи». ¹⁴ Примем к сведению и его суждение о Нечаеве: «Фанатик вполне исключительный, он мог только ложью и самым страшным деспотизмом сплотить свое тайное общество, по раскрытии и уничтожении которого возникла в молодежи самая страшная реакция против заговоров... Самого Нечаева считали агентом полиции до тех пор, пока он не был выдан и осужден».

Не упомянул Тихомиров единственного, самого важного для нашей темы факта - что он тоже в немалой степени способствовал созданию легенды о Нечаеве. Не кто иной, как Тихомиров первым, будучи редактором нелегального «Вестника Народной воли», огласил захватывающую дух историю о тайных ночных встречах своих сподвижников с Нечаевым - узником Алексеевского рavelина. (Историю эту прекрасно описал Ю. Трифонов в романе «Нетерпение». И какая глубокая правда была в словах, вложенных писателем в уста Желябова, говорившего о Нечаеве: «Мы заметки к нему приближались... Мы почти выполняем программу «Катехизиса»...)

По крайней мере Тихомиров тоже причастен к нашему библиографическому детективу - именно он первым ввел в гутенбергову галактику печатного слова эту романтическую историю - род российской революционной Железной Маски. Она вскоре получит широчайшую известность и серьезно пошатнет то устоявшееся резко отрицательное отношение к Нечаеву, которое было завещано его современниками, людьми XIX века. И здесь пора вернуться к бывшему вологодскому политссыльному П. Щеголеву.

В 1906 году, на волне свобод, принесенных первой русской революцией, в Петербурге начал выходить журнал «Былое». Легендарный журнал, которым зачитывалась вся Россия! Тираж его сам по себе был огромен для того времени - 30 тысяч экземпляров, а с учетом того, что он по обычаю переходил из рук в руки, читало его, пожалуй, не меньше ста тысяч человек. Страна впервые узнавала своих героев - тех, кто был повешен, убит, закован в кандалы, сослан в Сибирь, затравлен цензурой и полицейским надзором, кто не хотел жить «как все» у себя дома, а хотел

жить «как все» в нормальных странах, кто, увлекаясь социальными мечтаниями, почел бы за счастье еще сто, пятьдесят или двадцать лет назад узреть наяву провозглашенное в царском манифесте 17 октября 1905 года: «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»...

Журнал, задуманный с благородной целью исторического просветительства, в условиях продолжающейся революции неизбежно превращался в мощное орудие пропаганды. Не кто иной, как великий непротивленец Лев Толстой в те годы говорил: «Если бы я был молод, то после чтения «Былого» я взял бы в обе руки по револьверу». ¹⁵ Чего же было ожидать от гимназистов, которые, отбросив скучный учебник истории Иловайского, жадно вчитывались в подробности биографий Каховского и Бакунина, Желябова и ... Нечаева (он всплыл именно тут!).

Должен признаться, что я и сам прошел через этот искуc - не в смысле револьверов, разумеется, а в смысле не критического отношения к журналу, который в некоторых случаях заслуживал бы названия «Былое без дум».

Название его имело явно герценовский исток, но вторая часть знаменитого герценовского завета была грубо оторвана. Сохранившиеся в Вологодской областной библиотеке (как и положено бывшему городу политссыльных) комплекты журнала в свое время были основательно проштудированы. Для историка это сущий клад. Но только историк и поймет, что практически весь материал - сырой, горячий, неосмысленный как должно ни с политической, ни с моральной стороны. То есть, правда - но не вся, полуправда, источник мифов и исторических недоразумений.

Я понимаю, что Павлу Елисеевичу было не до того. С какой радостью он бежал из полицейского архива со своей находкой - материалами о Нечаеве в раверлине! Страсть архивиста и коллекционера - святая страсть. «Эврика!» - святое слово. Но задуматься бы покрепче, прежде чем обмакнуть перо и написать первые строчки своей публикации: «До сих пор это было непроницаемой тайной, но в настоящее время тайнам приходит конец... Письма Нечаева проливают яркий свет на его личность: в этом (подчеркнуто мною - В. Е.) их главная ценность»... ¹⁶

Ну, не читал Маркса, Герцена, но Достоевского или Михайловского должен бы помнить Павел Елисеевич? «Мошеник», «монстр» - это положено знать каждому русскому интеллигенту, тем более историку. Злодейски убил товарища, обманывал всех и вся на каждом шагу - можно ли верить хоть единому слову этой явно порочной и преступной личности? Хотя бы оговорку сделать об этом в публикации... Увы, увы и увы (второй раз троекратно в этом повествовании, но случай того стоит). Историк Щеголев не сделал никаких оговорок, никаких комментариев. Он был молод, тщеславен, а по России гуляла долгожданная революция. И журнал «Былое», июльский номер за 1906-й год, полетел по взбодораженной стране, а потом и по миру, заноса сенсационную весть о русской революционной Железной Маске.

Вправду сказать, соредакторы журнала (их было трое - В. Богучарский, В. Бурцев и П. Щеголев), соблюли некоторую объективность, поместив в этом же номере воспоминания З. Арборе-Ралли (студента-молдаванина, затем анархиста), знавшего Нечаева. Но вряд ли эти воспоминания, где убийство Иванова было названо только «несчастьем», а прочие «подвиги» Нечаева описаны со снисходительностью, - могли перевесить резонанс от щеголевской публикации.

В ней были приведены заявления и письма Нечаева, написанные в Петропавловской крепости, где он содержался с 1873 года до смерти в 1882-м. Заявления были адресованы министру юстиции, а письма - в исполком «Народной Воли».

Министру юстиции Нечаев сообщал, в частности, о той «плюхе», которую он дал в своей камере жандармскому генералу Потапову и которая станет легендарной.

Скажу сразу, что у меня изначально были большие сомнения в правдоподобности этой истории, как преподнесена она Нечаевым. Во-первых, трудно представить, чтобы генерал со свитой пришел к нему в камеру, чтобы потребовать (три года спустя после суда!) «списки революционной партии» - как заявлял Нечаев, «с гнусным предложением». И далее слишком уж живописно: «Когда Потапов стал грозить мне телесными наказаниями как каторжнику, я, в ответ на угрозы, заклеил Потапова пощечиной - в присутствии коменданта, офицеров, жандармов и рядовых. От плухи по лицу Потапова потекла кровь из носа и изо рта...»

Герой? Даже если так и было - скорее безумец, маньяк, которому нечего терять. А может - это, пожалуй, ближе к истине - расчетливый ход закоренелого прохиндея, знающего, что за это по закону не расстреляют, не повесят - только накажут телесно, ужесточат режим - как оно и получилось; ход прохиндея, которому надо создать вокруг себя ореол безстрашия, несокрушимости, особой важности своей персоны, чтобы потом этим пользоваться?

Судя по дальнейшим событиям, Нечаев извлек максимум из этой истории.

Наказание за пощечину Потапову последовало жестокое - можно сказать, адекватное - Нечаев был посажен в кандалы, «скован по рукам и ногам и сверх того прикован к стене каземата». Эти детали Щеголев приводил, ссылаясь на рассказ неизвестного очевидца, и верить, видимо, можно. Но чтобы два года(!) пробыть человеку в таком зверином положении и потом вернуться к жизни, как ни в чем ни бывало, читать книги, писать, пропагандировать охранников, - не верю! Две недели, два месяца максимум - при этом, естественно, кормили, поили, согласно правилам, весьма гуманным (о чем расскажет позже сам Щеголев). А фраза «два года провалялся на полу каземата» принадлежит самому Нечаеву, исключительно ему - никаких документальных подтверждений ей нет. Писал он об этом «Народной Воле», полагаю, чтобы вызвать к себе не сочувствие даже, а поклонение - прием старый, знакомый: он ведь и в 1869 году уже «сидел» в Петропавловке и «бежал» из нее! Но Щеголев и не задумался об этих важных вещах - «двумя годами» Нечаев сломил его, вышиб слезу. А историк решил вышибить ее из читателей своего журнала, написав:

«Нечаев обнаружил живучесть и силу воли, едва ли имеющие где-либо пример».

Вот где исток легенды! Вот где, по-моему, Нечаев обманул историю, сыграв - точно по Достоевскому - на струнах «великодушной стороны души человеческой». И если кто сомневается, кто находит неправомерными или слишком жестокосердными мои сомнения, тому надо повнимательнее вчитаться в записки и письма Нечаева, где он ярко - ярче некуда! - раскрывает свою натуру **патологического** глуна.

Он советует «Народной Воле», публикующей в своем «Вестнике» суммы денежных пожертвований разных лиц, прибавлять эти цифры, - «увеличивать их **по крайней мере двумя нулями**» (это к вопросу о «двух годах» на полу каземата); он называет «буржуазной добросовестностью» привычку народолюбцев проверять качества тех, кто желал влиться в их ряды - «из-за этой буржуазной добросовестности задерживается успешная организация, а стало быть, дается время окрепнуть врагам народа»; он предлагает для подготовки государственного переворота план подложного царского манифеста с объявлением о том, что «новый император Александр III заболел недугом умопомешательства»... И так далее и тому подобное. А в своей истинной пропаганде среди неграмотных охранников мистифицирует их тем, что якобы имеет связи в царском дворе, подслушивает их разговоры, чтобы потом ошарашить своим

«сверхзнанием» (про жен, любовниц и т. д.). Именно так ему удалось расположить их к себе, и потом эти простодушные солдаты пойдут по этапу в Сибирь. В том же номере «Былого» опубликован их список, кто откуда родом: все - из самых глухих губерний, и не только из Вологодской, как напишет потом Варлам Шаламов, тоже, к удивлению, завороженный всей этой историей. (Впрочем, удивляться нечему - Шаламов читал «Былое» еще в юности, школьником, а писал свою «Четвертую Вологду» уже на склоне лет, после Колымы, и потому смотрел на Нечаева сквозь призму лагерного опыта - как на уника тюремного сопротивления, не более. Впрочем, к этому еще придется вернуться).

Но Щеголев, Щеголев - почему же он, публикуя эти записки Нечаева, назвал его в конце концов «смелым борцом» (до «пламенного революционера» еще на дошло, но и это будет в 1929 году, из его же уст)?

Очень просто - потому что Нечаев в одном из писем, еще к Александру II, назвал политический строй России «отжившим и разлагающимся» и требовал «земского собора» - «представительных учреждений». То есть, боролся за революцию, за то, что начало совершаться в 1905 году. Вот - главное, а остальное - мелочи....

Эта реконструкция щеголевского сознания - не только щеголевского, а обыденного политического сознания начала века - нисколько не произвольна. Так думали многие. Уж чего-чего, а желания отомстить ненавистой власти за «Кресты», за вологодскую ссылку у Щеголева было предостаточно. Получилась тоже «плюха» всем Романовым - почти нечаевская.* Все в духе времени, которому Нечаев пришелся очень ко двору...

«Легион бесов вошел в гигантское тело России и сотрясает его, мучит и калечит», - писал тогда один из авторов «Вех» С. Булгаков. Это были абсолютно справедливые слова: их религиозный, «достоевский» пафос подтверждается сухими цифрами статистики о размахе революционного террора. За один только год, начиная с октября 1905-го, в стране было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года число их, убитых или покалеченных террористами, достигло почти 4500. К этому надо прибавить 2180 и 2530 раненых частных лиц, и тогда общее число жертв террора в 1905-1907 годах составит более 9 тысяч человек. «Картина поистине ужасающая», - пишет, приводя эти цифры, современная американская исследовательница.¹⁷ И не случайно она вспоминает Нечаева, называя его «прототипом» новейших борцов за свободу, борцов, в которых революционер слился с бандитом и наоборот.

Вряд ли публикатор материалов о Нечаеве в «Былом» ощущал какую-то связь между своей публикацией и почти ежедневными убийствами в столице, где он жил. Разумеется, далеко не все боевики-исполнители умели даже читать. Разумеется, и первая русская революция произошла не от слов, сошедших с печатного станка или гектографа. Позорное, с огромными жертвами поражение в японской войне, которая задумывалась как «маленькая молниеносная» (хвастливые слова Плеве, убитого эсерами в 1904 году) и нерешенность земельного вопроса значили куда больше. И все-таки щеголевская публикация добавила свои, пусть и небольшие, градусы в раскаленную и без того атмосферу. Хуже того, она вызвала смещение, пусть микроскопическое, почти незаметное, а на самом деле - очень существенное, в умах незрелых, шатких (по Шатову из Достоевского), а также и в зрелых, дав им

* Правительство тоже отомстило молодому историку. За публикацию о Нечаеве (конкретно - «за оскорбление усопших царствовавших особ») он был привлечен к суду и два месяца провел в тех же «Крестах».

дополнительный аргумент и стимул к борьбе, в которой все дозволено... (Я не моралист, но проблема нравственной ответственности историка здесь, мне кажется, имеет место).

К сожалению, пока не удалось найти откликов современников на эту публикацию. А очень хотелось бы знать, как восприняли ее представители главных политических течений этого периода - с аплодисментами или без, с открытым (тайным) восторгом или с негодованием по отношению к ее герою. Я не случайно обмолвился о тайном восторге. Понимание того, что Нечаев - символ, олицетворение крайне отрицательной, осужденной лучшими людьми России **тенденции**, тогда было незбылемым в самых широких слоях общества. И откровенно признаваться в своих симпатиях к Нечаеву, о котором авторитеты старшего поколения отзывались как о «революционном обманщике» (В. Короленко), было очень рискованно. Очевидно, по этой причине молчали до поры те, кто меня больше всего интересует - теоретики и практики «русского марксизма», то есть большевизма.

То же самое можно сказать и об эсерах. Чтобы не было недоразумений, надо заметить, что далеко не все из приведенных выше цифр о жертвах террора имеют к ним отношение. Сами они до 1905 года брали на себя ответственность лишь за 6 политических убийств, правда, самых громких, включая убийство Плеве (ну, и остановились бы на этом, - всегда, наивный, думал я, - ведь это было последнее убийство действительного сатрапа, одобренное обществом, дальше началась девальвация террора и экспроприаций, в которой сами эсеры и повинны - как ни отрещивайся потом лидер партии В. Чернов от «средней, ублюдочной прослойки», «вольных казаков», «простых профессиональных воров», хлынувших в революцию).

Хотя террористическая практика эсеров - как и народовольцев - основывалась на высокой этической идее искупительной жертвы (об этом много написано, лучше всего - у А. Камю в «Бунтующем человеке»), во многих случаях эта практика тесно сплеталась с нечаевщиной - и не могла не сплетаться в силу общей «онтологии» террора. Совершенно очевидно, что действия боевиков подпитывались (сознательно или бессознательно - слишком сложный вопрос) постулатами «Катехизиса революционера», начиная с первого его параграфа: «Революционер - человек обреченный». Но в своем родстве с Нечаевым они никогда не признавались! Даже Б. Савинков, изощреннейший книжник, знавший вдоль и поперек «Бесы» Достоевского, нигде ни словом в своих романах и воспоминаниях, адресованных широкой публике, не упоминает Сергея Геннадьевича - своего, можно сказать, ближайшего родственника. (Не буду развивать эту тему - возможно, когда-нибудь в самом деле удастся осуществить замысел о спорах вологодских политссыльных: ведь именно из Вологды Савинков ушел в большой террор и именно здесь пришел к его теоретическому обоснованию, отринув «скудную» социал-демократию. (См. первую страницу «Воспоминания террориста»).

Между тем, социал-демократия, усвоив понятие о классовой борьбе как движущей силе истории, в своей тактике, как известно, раскололась на два непримиримых крыла. И во втором крыле, ориентированном на марксизм западный, реформистский, марксизм «ренегатов» К. Каутского и Э. Бернштейна, к Нечаеву отношение было вполне однозначным - резко отрицательным. Насколько на это повлияла брошюра об «Альянсе», несомненно, хорошо известная лидеру меньшевиков образованнейшему Плеханову, судить трудно. Но Вера Ивановна Засулич, ближайшая соратница Плеханова, надо полагать, давно просветила его относительно личных качеств того, кто сначала признавался ей в любви, а потом утек в тюрьму. Кстати, свои

разоблачительные воспоминания о Нечаеве она начала писать в 1909 году, вернувшись из эмиграции на родину, - не было ли это реакцией на публикацию Щеголева?

К социал-демократам был близок и соредатор журнала «Былое» (а затем «Минувшие годы») В. Богучарский, гораздо более опытный человек и ученый, нежели Щеголев. Он еще в 1903 году опубликовал за границей выдающийся с точки зрения источниковедения труд - «Государственные преступления в России в XIX веке». В нем были приведены газетные отчеты о всех политических процессах, включая и оба нечаевских (1871 и 1873 годов). В 1906 году этот труд большим тиражом был напечатан в России, и все, кто хотел узнать подробности нечаевского дела, получили такую возможность. Правда, процесс 1871 года представлен в этой книге неполно, одним обвинительным актом (из-за слишком большого объема, как извинялся в предисловии Богучарский), зато желающие - впервые после тридцатилетнего перерыва - могли прочесть здесь знаменитый «Катехизис» («Общие правила организации»), а также материалы суда над Нечаевым, где впервые была раскрыта подоплека убийства Иванова (в показаниях Прыжова и других). Должен сказать, что «Государственными преступлениями» Богучарского из фондов Вологодской библиотеки я пользуюсь до сих пор. Полагаю, что этот том доступен и в Москве всем историкам и писателям, изображавшим нечаевское дело, и они читали его, но почему мы делаем столь разные выводы?..

В 1912 году в популярном издательстве Сабашниковых вышла книга Богучарского, в которой впервые был дан более или менее обстоятельный анализ нечаевщины.¹⁹ При этом автор, явно отталкиваясь от Михайловского («монстр», «преступное исключение»), писал о событиях осени 1869 года как об «эпизоде, не имевшем корней в прошлом». Но важнее всего та недвусмысленная оценка, которую дал Богучарский самому руководителю «Народной расправы»:

«Сложив для Нечаева обстоятельства иначе, и в русских условиях из него мог бы выйти шеф жандармов и начальник III отделения, смотревший на мир теми же самыми глазами, но только обрекавший на истребление другие общественные элементы».

Это уже не «смелый герой» Щеголева! Ясно видно, что Богучарский спорил со своим бывшим коллегой по «Былому» (возможно, спор был еще во время прохождения материалов Щеголева в печать). Богучарский первым разглядел в ультрареволюционере, кипящем ненавистью к «врагам народа», тип диктатора, готового истреблять и сам народ - не столько во имя «высоких целей», сколько во имя желания властвовать. В этом резком снижении образа Нечаева можно увидеть не только протест против начавшейся героизации Нечаева, но и выражение точки зрения социал-демократов на диктаторство (каким противником этого в своей партии был Плеханов, хорошо известно).

...И вот теперь можно снова коснуться «Вех». Сборник, вышедший впервые в 1909 году и за короткий срок пять раз переизданный, открывался статьей Н. Бердяева - самого именитого из тех, кто был в вологодской ссылке в начале века. Правда, слава к нему пришла позднее (можно сказать, в конце столетия, если иметь в виду, как поздно его наследие пришло в Россию). На момент выхода «Вех» Бердяев вряд ли знал Ленина - из большевиков ему были хорошо знакомы лишь Луначарский и Богданов, с которыми он дискутировал в ссылке. Тех оценок, которые Бердяев дал Ленину и большевикам после революции, мы обязательно коснемся (ведь на черты Нечаева в вожде большевиков одним из первых указал именно он), а пока пофантазируем о том, что бы мог сказать этот персонаж в гипотетической вологодской дискуссии о Нечаеве.

Свободный и внепартийный философ, «ничей» (это мог говорить о себе Бердяев уже в Вологде), рано понявший пророческую устремленность «Бесов» Достоевского, Бердяев никогда не оперировал строгими историческими категориями и фактами. Его стихия - дух, сознание, метафизика, «вторая действительность», в которой Петруша Верховенский был для него реальнее Нечаева. Тем не менее Бердяев сказал бы, несомненно, самые страстные негодующие слова о человеке, который был прообразом Верховенского. Кто знает, может быть, именно этот антипример стоял перед его глазами, когда в своей статье 1902 года, называвшейся весьма символично по отношению к нашему предмету - «Этическая проблема в свете философии идеализма» - он взывал к своему любимому Канту: «Человек - это самоцель, с нравственной точки зрения его нельзя рассматривать как средство». 20

Это было главным кредо Бердяева, которое он пронес через всю жизнь, следуя ему и в самой высокой метафизике, и в эмпирике жизни. И щеголевские разыскания о Нечаеве-герое, надо полагать, были бы мгновенно посрамлены и испепелены неистовым философом. Потому что кто-кто, а он сразу разглядел бы, что Нечаев рассматривает всех и каждого (даже в равелине) исключительно как средство...

(Еще чуть фантазии, и тут можно было бы услышать голос Савинкова, подключившегося к этой дискуссии:

- Эти небесные материи - не для нас. Простой трюизм: человек сам выбирает, быть или не быть ему средством. Я, господа, уже выбрал, если вам угодно. И мой друг Иван Каляев - тоже...)

Савинков нашел бы свои аргументы и против статьи Бердяева в «Вехах», озаглавленной вызывающе дерзко - «Философская истина и интеллигентская правда». Конечно, это были бы другие аргументы, ведь в 1909 году Савинков уже отошел от террора и начал печатать своего нашумевшего «Коня бледного». Но статья Бердяева была уязвима со многих точек зрения. В сущности это была самая отвлеченная (и от политики, и от жизненных реалий) статья во всем сборнике. Бердяев, защищавший право на свободу философского творчества - после кровавой революции! - был в глазах многих просто смешон. Абсолютно верная в своей сути его мысль была явно несвоевременной. Это видно и с высоты наших сегодняшних прозрений.

Но и тогда, и сегодня трудно было бы воспользоваться призывом философа - «перестать во всем винить внешние силы» и согласиться с ним в том, что главная вина русской интеллигенции - ее атеистичность (тут Бердяев с очевидностью следовал за Достоевским). Так же, как, признав справедливость слов С. Булгакова о «легионе бесов, вошедших в тело России», принять его рецепт спасения: «Только религиозным подвигом, незримым, но великим, возможно излечить ее, освободив от этого легиона»... И хотя в статьях других авторов «Вех» присутствовали более рациональные идеи и была более предметная критика революционного «бесовства» и его корней, этот сборник скорее усугублял раскол среди интеллигенции, нежели способствовал ее «замирению».

Те, кто сегодня превозносят «Вехи», исходя из того, что в идеях сборника был «шанс» обойти катастрофу 1917 года, забывают о том холодном душе, который был пролит на головы его авторов многими весьма здраво мыслявшими современниками - и отнюдь не большевиками. При этом они (авторы ответного сборника «Интеллигенция в России», 1910 г.) гораздо конкретнее писали и о нечаевщине.

Откровенно говоря, у меня есть еще и, так сказать, личный повод быть неудовлетворенным «Вехами», точнее, одним из его авторов.

Незадолго перед выходом этого сборника в феврале 1908 г. кадетская газета «Речь» опубликовала небольшую заметку своего постоянного автора и будущего «веховца» А. Изгоева. Она была посвящена только что напечатанной у Богучарского в «Минувших годах» «Исповеди» Прыжова с предисловием Р. Хин. Заметку (в свое время обнаруженную М. Альтманом, но не включенную в его книгу) стоит привести почти целиком, т. к. она очень уж оригинальна.

«Опубликованная г-жой Хин исповедь, эта смесь бреда алкоголика с криком отчаяния погибающего человека - любопытный человеческий документ. О Прыжове у нас мало кто помнит, и теперь, в разгар антиалкогольной кампании (тогда в России проходили первые съезды трезвости - В. Е.), напомнить о нем своевременно. На нечаевском процессе среди студентов и юношей, которых Нечаев своими конспирациями довел до убийства товарища и до каторги, резко выделялся «сорокадвухлетний писатель» Прыжов. Как он попал в эту компанию, осталось не вполне выясненным, но фигура его запечатлелась, и его под именем Шигалева вывел Достоевский в «Бесах». Это был несчастный пропойца, часто допивавшийся до белой горячки, бедняк, голодавший неделями, и, как часто бывает, талантливый русский самоучка. Он целыми днями пропадал в харчевнях и кабаках и, пьянствуя с мужиками, изучал их мировоззрение, пословицы, сказки и проч... Как показывает его исповедь, во время своего общения с народом по кабакам Прыжов выработал своеобразную народническую социологическую теорию. Достоевский, излагая бред Шигалева, местами довольно близко подошел к этой теории».²¹

Если называть вещи своими именами, то все это - грубая инсинуация. Или, мягче, вздор, вызванный горячкой другого рода - горячкой идейной борьбы. По крайней мере очевидно, что А. Изгоев плохо знал не только нечаевское дело, но и роман Достоевского. Ибо перепутать Шигалева с кем-либо из других героев «Бесов» просто невозможно - даже не вникая в систему прообразов. И увидеть в теории Прыжова, которая в существе своем была **антиутопией**, воплощение шигалевского бреда о грядущем «рабстве», где «все равны, как в стаде», - мог только большой недоброжелатель. Право, тут придется согласиться с Лениным в том, что «авторы «Вех» (в данном случае - конкретный автор) в публицистике влияют, вертятся, изутичивают», и в том, что «изгоевщина», по его словам, есть явление.²²

«Исповеди» Прыжова, его историческим взглядам в моей книге посвящена отдельная глава, и здесь я для ясности лишь кратко объясню, в чем суть его «теории» - объясню его же неповторимыми формулировками.

Тезис первый. «Человек осужден идти прогрессивно вперед (не идет - так поташут силой!)».

Тезис второй. «Историческая жизнь народов управляется двумя непременными деятелями - умственным развитием и социальным движением, взаимно помогающими человеку и его культуре, дающими равновесие текущей жизни».

Тезис третий. «Борьба, предводимая умственным развитием, к которому потом присоединился социализм, исписала страницы истории бессмертными подвигами, но все-таки она была явлением несколько не нормальным, а потому безвыходным, так как социальная жизнь тут участвовала не как деятель, а как мертвое орудие. (Отсюда ругательства радикалов на народ, что это - подлая толпа)».

Тезис четвертый (мы его уже знаем). «Насколько высоко социальное учение с умственной стороны, настолько же вредно, когда оно обращается к практике, - это тот же деспот, который вертит по-своему народную жизнь, бессильный сделать что-либо доброе».

Тезис пятый (можно сказать - синтез). «Итак, рано или поздно, а должен быть восстановлен поруганный закон о равновесии умственной силы (социализм, ересь, вера или деспотизм - все равно) и социального движения масс. Вне этого - одна лишь вечная канитель. Ergo: разум и свобода жизни. Иначе беда всем. Неправильная жизнь влечет за собой и все неправильные последствия». 23

«Исповедь» была написана, напомним, в 1871 году, в Петропавловской крепости. У многих из тех, кто ее прочел в 1908-м, самодельная философия Прыжова могла вызвать лишь улыбку, тем более, что ссылался он на Г. Бокля, У. Фохта и других явно устаревших авторов. (Между прочим, упоминал Прыжов и Д. Милля в очень интересной связи: «Уровень наших общественных воззрений так низок или дошел до крайнего предела (радикализма), что он ничего не имеет общего даже с самыми нетребовательными воззрениями Джона Стюарта Милля»). То есть, можно сделать вывод, что Прыжов очень симпатизировал знаменитому политэконому, защищавшему частную собственность, - и причем тут шигалевщина!

Явно не подходила его «теория» и всем радикалам новой истории России, всем, кто вознамеривался «вертеть по-своему народную жизнь». Можно быть уверенным, что никто внимательно и не прочел эту исповедь человека далеких «шестидесятых годов» - других откликов на нее не было. Вряд ли кого интересовало и то, почему он оказался рядом с Нечаевым и чем это обернулось для него. Единственное прямое следствие публикации «Исповеди» - переиздание в Казани, в издательстве «Молодые силы», «Истории кабаков» в 1913 г. в связи с продолжавшейся антиалкогольной кампанией, о которой упоминал Изгоев. Рецензию на это издание написал, между прочим, известный историк Ю. Готье, прославившийся в наши годы своим дневником. 24

Впрочем, был человек, который никак не мог остаться равнодушным к памяти о Прыжове. Константин Константинович Арсеньев, которому в это время уже перешагнуло за семьдесят, нисколько не утратил интереса ни к политике, ни к литературе. Конечно, голос бывшего подзащитного на процессе 1871 года был им услышан (к сожалению, до дневника Арсеньева 1908 года мне в свое время добраться не удалось, но уверен, что там есть скупая, как всегда, запись о прочитанном в «Минувших годах», если нет - всплывут иные следы: редактор словаря Брокгауза и Ефрона был все же систематиком в знаниях).

К процессу 1871 году Арсеньев возвращался и в позднейших статьях. Значит, память была крепка. Но еще более крепка была верность старого либерала-конституционалиста идеалам своей юности. В 1905-1907 годах он входил в руководство партии демократических реформ, близкой кадетам, а ранее вместе с Н. Михайловским немало сделал для того, чтобы родился «Союз Освобождения» - первый росток партии «Народной свободы» (его роль, как и роль Михайловского, в создании идеологии этой партии особо отмечал П. Миллюков²⁵). Воплощая в себе черты, без преувеличения, идеального русского интеллигента, Арсеньев не мог не откликнуться и на «Вехи». Именно его фамилия стояла первой (алфавит тут совпал с авторитетом) в сборнике «Интеллигенция в России».

Статья Арсеньева «Пути и приемы покаяния», пожалуй, уступает другим статьям этого сборника в темпераменте полемики. Читая гневные инвективы, например, П. Миллюкова или М. Гредескула в адрес своих оппонентов, легко понять, что старику было трудно соперничать в этом плане с молодежью. Но он, безусловно, был солидарен с аргументами, которые приводил тот же Миллюков, - аргументами о том, что «Бесы» Достоевского - это «литературный прообраз «Вех», о том, что русской интеллигенции ее ненавистники всегда что-то «вменяли» - и петербургские пожары

1862 года, и Нечаева (спасибо Павлу Николаевичу, он единственный так откровенно сказал о спекуляциях на Нечаеве!), и «экспроприации» текущего момента»...

Но Арсеньев тоже любил называть вещи своими именами. В статье, вышедшей незадолго перед этим в «Вестнике Европы» (1909, № 5), тоже посвященной «Вехам», он писал, что «русская государственность возвратилась к той мертвой точке, на которой она стояла пять лет назад» (т. е., до манифеста 17 октября). Арсеньев подчеркивал, что «нельзя всей интеллигенции приписывать отщепенство» (о чем писал П. Струве) и выражал недоумение по поводу известного призыва С. Булгакова: «К покаянию призывается в сущности громадное большинство образованного класса».

В сборнике, обращаясь непосредственно к Булгакову, он задавал прямой вопрос: «Что следует считать более близким к нравственному совершенству: смирение, граничащее с самоуничижением, или сознание собственного достоинства?»

Для самого Арсеньева ответ был, конечно, ясен. Старому конституционалисту, всю жизнь положившему на то, чтобы достоинство страны и человека в ней не зависело бы в такой огромной степени от воли единого лица, невозможно было согласиться с идеями, которые он не принял в свое время и у Достоевского. Закljučая свою статью, он писал: «Плодотворным возбужденный спор мог бы стать лишь в таком случае, если бы, не отрицая первостепенной важности «общественных форм», авторы сборника подвергли критике выдвинутые до сих пор **способы** (выделено Арсеньевым - В. Е.) обновления общества и государства... Тогда бы стало ясно, что нельзя ограничиваться огульными обвинениями и однообразными увещеваниями». 27

Все это - к старому вопросу об альтернативах, в том числе альтернативах нечаевщине. Ее «способы» были категорически неприемлемы для конституционных демократов и поддерживавших их старых интеллигентов - истинных хранителей заветов Герцена. Несомненно, и «теория» Прыжова - вся в русле этих заветов.

А отчаянный выпад «Вех» - как в свое время «плеть» «Бесов» - был в сущности не только малокоинструктивен, но и деструктивен. Вся сложнейшая проблема выбора сдвигалась авторами сборника в типично российскую плоскость - «или-или» (вместо здорового «и-и»). Огульно охаявая с высоты христианского праведничества всю интеллигенцию, «веховцы», как замечал П. Милюков, впадали в тот же нигилизм - нигилизм отрицания всякой политики как «грязной». Примечательно однако, что при этом ни Милюков, ни Арсеньев, ни другие авторы «Анти-Вех» не отказывали своим оппонентам в верности «многих наблюдений». А то, что обрушил на их головы находившийся за границей идеолог не конституционной, а мужицкой демократии Ленин, можно бы назвать вселенской смазью, не иначе. Все эти «Аннибалы либерализма» и «безысходное празднословие» (это по адресу -то полемики Милюкова и Арсеньева с «Вехами!») - напоминало площадную ругань и было выражением другой стороны извечного российского «или-или»...

Я понимаю, что все это - азбука, уже надоевшая взрослым людям, что пора переходить к главному - к году 1917-му и искать в нем следы Нечаева и «Народной расправы», искать, находить «бесов» и обличать их без конца, с иступлением и ненавистью, как умеем делать только мы, русские люди!.. Можно просто цитировать Бердяева, «Духи русской революции»: «Сейчас даже враги Достоевского должны признать, что «Бесы» - книга пророческая... Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах... Русский революционный мессианизм есть шигалевщина... Достоевский предвидел торжество не только шигалевщины, но и

смердяковщины. Смердяковщина и привела к тому, что «умная нация» немецкая покоряет теперь «глупую» нацию русскую... Достоевский понял, как никто, что духовная основа социализма - отрицание бессмертия, что пафос социализма - желание устроить царство Божие на земле без Бога, осуществить любовь между людьми без Христа - источника любви...»

Кто бы мог остановить эту горячую проповедь-исповедь и сказать, что Бердяев в чем-то неправ? Даже самые трезвые, до мозга костей, люди должны были в те годы понять, что их «позитивистское» сознание оказалось слабосильным перед могучим религиозно-пророческим сознанием Достоевского. И личных свидетельств на этот счет более чем достаточно.*

Но если все же не впадать в истерику (у Бердяева она святая, чистейшая, праведная, но все же истерика) и опереться не на метафоры и метафизику революции (а у Бердяева именно метафоры и метафизика), а опереться на ее реалии - политические, экономические и все остальные - то станет ясно, что судьба России отнюдь не была predeterminedena фатально (Достоевским, Нилусом или Нострадамусом - тут уже значения не имеет), что она зависела от множества очень земных причин. (Об одной из этих причин см. статью «Сухой закон» и революция» в этой книге).

Давно известно, что желания и умения слушать друг друга в грозные моменты истории в России всегда не хватало... Ведь и явление Ленина в пресловутом plombированном вагоне не вело автоматически к Октябрю, и если бы все «дедушки» и «бабушки» русской революции от Плеханова и Засулич до Чернова и Брешко-Брешковской вкупе с Временным правительством, когда оно еще было коалиционным, нашли бы соглашение в вопросе о войне и мире - остановили бы эту проклятую войну (не боясь обвинений в «смердяковщине») - то и Ленин бы, пожалуй, остался навечно в своем Разливе, и Корнилов - в своей Ставке. Потому что лозунг «Война до победного конца», как он ни казался необходимым интеллигенту Милокову, очутившемуся в кресле министра, очень не нравился уставшим солдатам, и Ленин - надо же тут отдать ему должное за его «мужичий демократизм» - это лучше всех понимал. И если бы те же веховцы так не чурались «грязной» политики, не предавали анафеме слово «демократия» (как это делал С. Булгаков), то они тоже могли бы внести свою лепту в умирение страны и отсеечение крайностей...

Конечно, все это - из разряда утопий, которых в этой книге было уже предостаточно. Но опять же - почему бы нет? И если двадцать лет спустя, оглядываясь на 1917 год, Бердяев смог более спокойно и объективно его оценить, придя к выводу, что «Ленин не мог бы осуществить своего плана революции без переворота в душе народа»,²⁸ - то очевидно, что он нашел-таки иной угол зрения, иную призму во взгляде на эти события, нежели только «Бесы» Достоевского. К этой призме - не истерической, а исторической - мы теперь и обратимся, чтобы узнать, как и в ком воплотился тогда злобный маньяк из камеры Алексеевского рavelина.

*Наиболее близок нашей теме отклик историка Е. Колосова (в журнале «Былое» за ноябрь-декабрь 1917 г.), перечитывавшего в этот грозный момент популярную тогда книгу А. Туна «История революционного движения в России». Е. Колосов сообщал, что «не так давно в Петрограде литературный критик И. Кубиков-Дементьев прочел чрезвычайно ценную по мыслям и сопоставлениям лекцию: «Нечаевщина и смердяковщина в русской революции... Лекция заставляет пересмотреть отношение русских революционеров к Достоевскому». В книге А. Туна о Нечаеве говорилось как об «эпизоде» истории. Е. Колосов как свидетель всех событий 1917-го сделал вывод, что это «не эпизод»...

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Цит. по статье Г. Ульмана в ученых записках ЛГПИ. 1948. Т. 62. С.256.
- 2 Маркс К., Энгельс Ф., Соч. Т.18. С. 329.
- 3 Там же. С. 705. Полностью текст брошюры об «Альянсе» на русском языке было опубликовано в 1940 г. в XIII томе первого собр. соч. Маркса и Энгельса под ред. В. Адоратского.
- 4 Минувшие годы. 1908. № 1. С. 59.
- 5 Грин Ц. Переводчик и издатель «Капитала». Очерк жизни и деятельности Н. Ф. Даниельсона. М. Книга. 1985. С. 164.
- 6 Цит. по: Сажин М. Воспоминания о 1860-1880 г.г. М. 1925. С. 59.
- 7 Полонский Вяч. Материалы для биографии М. Бакунина. Т. 3. М. 1928. С. 432.
- 8 Эти отзывы приводились в статье Энгельса «Эмигрантская литература». См. Маркс К., Энгельс Ф., Соч. Т. 18. С. 526.
- 9 Литературное наследство. Т. 41-42. С. 506.
- 10 Отечественные записки. 1873. № 2. С. 334.
- 11 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 131.
- 12 Там же. С. 252.
- 13 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М. 1947. С. 282.
- 14 Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. 1895. С. 46.
- 15 Свидетельство Д. Маковицкого. Цит. по: Лурье Ф. Хранители прошлого. Лениздат. 1990. С. 105.
- 16 Былое. 1906. № 7. С. 151-177.
- 17 Гейфман А. Революционный террор в России (1894 - 1917). М. 1997. С. 31.
- 18 Непролетарские партии России. М. 1984. С. 31.
- 19 Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М. 1912. С. 147.
- 20 Проблемы идеализма. М. 1902. С. 93. Статья Бердяева «Этическая проблема в свете философии идеализма» была написана в Вологде.
- 21 Речь. 1908. № 47 (литературно-общественный дневник).
- 22 Ленин В. И. Полн. собр. соч., Т. 19. С. 69; Т. 48. С. 229.
- 23 Минувшие годы. 1908. № 2. С. 57.
- 24 Прыжов И. История кабаков в России. Казань. «Молодые силы». 1913 (с предисловием И. Кочергина). Рецензия Ю. Готье, отмечая несовершенство исторического метода Прыжова («он не исследует исторического процесса... он скорбит о народе»), в то же время рекомендовала книгу как «богатый сборник бытового материала, заимствованный из всех известных и изданных в то время первоисточников, прекрасно использованных автором» (Минувшие годы. 1915. № 1. С. 315).
- 25 Милюков П. Воспоминания. М. 1990. Т.1. С. 354.
- 26 Вехи. Интеллигенция в России. Сб. статей 1909-1910 г.г. М. 1991. С. 341, 342.
- 27 Там же. С. 226.
- 28 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990. С. 102.

Судьи и адвокаты - III

«Подлинно трагичен лишь тот человек, который страдает и гибнет, но по своей ценности на весах истории заслуживает лучшей участи... Трагическим героем может быть и представитель отживающих сил при условии, если такой человек не лишен хотя бы некоторых проявлений красоты и человечности, а в своих заблуждениях он субъективно честен и бескорыстен».

Словарь по эстетике, 1975 г.

В Вологде из прежних десятков осталось два памятника Ленину - один маленький, в физический рост вождя, установленный в 1924 году на деньги, собранные вологжанами, другой - большой, возвышающийся над площадью, работы скульптора Н. Томского. На первом Ленин - весь устремленный вперед, на втором - серьезный и задумчивый. Оба сохранены после 1991 года как памятники истории и культуры и никто на них уже не посягает.

«И слава Богу, - думаю я, проходя мимо вместе со спешащими куда-то людьми. - Все-таки прав был историк, который говорил: «Важно и то, как было, и то, как запечатлелось в памяти потомства. Нередко последнее важнее первого». Тут точно - важнее последнее. Против народной памяти - не поспрешь...»

Среди огромного моря современной антиленинианы (справедливой, мне кажется, ровно настолько, насколько была лжива официозная лениниана) для меня особую ценность имеет сценка, запечатленная в воспоминаниях бывшего секретаря Учредительного Собрания М. Вишняка.

«Ты не трожь нашего Лёнина. Он святой!» - кричал ему разъяренный солдат, прибывший с фронта в Петроград в 1917 году.!

Примерно те же слова я слышал в 70-х годах от одного старика-крестьянина в никольской глухомани. Дед, в чью избу мы с приятелем-журналистом определились на постой, после очередной остановки под чаек, излил нам свою душу. «Какая жись была до раскулачивания! И все он, родимый», - со слезами говорил дед, указывая пальцем на профиль вождя, отштампованный на висевшей в кухне почетной грамоте. Да и от собственного деда, воевавшего в империалистическую, я ни разу не слышал плохого слова о Ленине. А вот про то, что в 20-е годы в большой семье его отца, до раздела между сыновьями, было **сто голов скота** (включая телят, жеребят и ягнят) - слышал неоднократно. И семья считалась середнячком.

Но и в народное сознание, где реальность смешана с апокрифом, фигура Ленина вошла не одной благостью. Самый ближний пример - расхожее присловье: «Что ты смотришь, как Ленин на буржуазию!», подразумевающее ненависть, злбу и недоверие. То есть, ленинский классово-догматический переход в отношении к буржуазии (а также к либералам, оппортунистам и интеллигенции, которая «г»), стоивший громадных и ничем не оправданных жертв, отражен в фольклоре вполне адекватно. Между прочим, у народа, нормальной, средне-зажиточной его части, такого злобного отношения к «буржуйам» и интеллигенции никогда не наблюдалось. И Ленин, в своем книжном «мужицком демократизме» делавший ставку на бедняка, люмпена и пресловутую «кухарку», совершил здесь, наверное, свою главную и непоправимую историческую ошибку...

Все это - предварительные замечания к теме «Ленин и Нечаев», которая стучится в дверь и требует ясных ответов.

Вначале - чтобы не уходить в библиографические дебри: что знал Ленин о Нечаеве? читал ли «Альянс» и т.д. - еще раз о 1917-м годе и об ассоциациях, возникавших у современников.

...«Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева - на всех парах через болото», - писал месяц спустя после Октябрьского переворота (в газете «Новая жизнь» от 23 ноября) М. Горький. Впоследствии писатель изменит свой взгляд на Ленина - как изменил взгляд на «Бессов» в 1917-м по сравнению с 1913-м, когда он горячо протестовал против инсценировки романа по мотивам «социальной педагогики». Но во всех этих случаях Горькому невозможно отказать в искренности: менялся не он, а менялась - фантастическим, зловещим образом - непредсказуемая российская действительность. И сравнение в ту пору Ленина с Нечаевым (правильнее - с Петром Верховенским, потому что «на всех парах через болото» - из монолога Верховенского) - это честное сравнение гуманиста-интеллигента, которому больно за родную страну, над которой проделывается громадный и непонятный «жесточайший научный опыт».*

И если уже в мае 1918-го «несвоевременные мысли» Горького меняются в тоне, и писатель, социал-демократ по убеждениям, отдает должное большевикам, «личная честность» которых ему известна «точно так же, как известна искренность их желания добра народу», - то и сравнение Ленина с Нечаевым в его сознании тушевеваются, уступая место другим категориям. Таким, как «здоровый, облагораживающий идеализм», до которого ни Нечаев, ни Верховенский никогда не достигали...

Горький вел речь в сущности о средствах достижения цели, а не о личностях. Но некоторым современникам виделось сходство Ленина с Нечаевым и по типу характеров. Причем, высказывались на этот счет в 1917-м те, кто хорошо помнил живого Нечаева, - Г. Лопатин и В. Засулич. Именно они вместе пришли к заключению, что «Ленин - вылитый Нечаев!»²

Можно ли опспорить это суждение? Те, кто его впервые огласил в наше время, известные «достоествоцентристы» Ю. Карякин и Л. Сараскина, к сожалению, не стали углубляться в вопрос, почему и в каких отношениях «вылитый»? Столь же неясен вопрос, какими сторонами Нечаева и его деятельности «восхищался» Ленин

* Такие же ассоциации - но более строгие политически - возникли тогда и у Г. Плеханова: «Тактика большевиков есть тактика Бакунина, а во многих случаях просто-напросто Нечаева». Характерно, что Плеханов, в силу присущей ему корректности, не касается эффектной темы о персональном сходстве вождя большевиков со своим предшественником.

и какими чертами своего сходства с ним «гордился» (это в связи с другой нашумевшей публикацией, о которой речь ниже).

Эти мудреные предметы - для диссертаций, по крайней мере докторских и коллективных. То, что есть сказать у меня по этому поводу - достаточно скромно, и на открытие, даже библиографическое, не претендует. Но, полагаю, что и те, кто произносил, и те, кто вернул из небытия слова о «вылитом» Нечаеве, не стали бы отрицать, что масштаб личностей тут просто несопоставим. Не стали бы они отрицать, наверное, и то, что Ленин при всем своем уникальном «даре упрощения» (Г. Плеханов), упрощавший все, в том числе и мораль, обладал, действительно, и интеллектуальной, и обычной человеческой, в обывательском смысле, честностью - тем, чего начисто был лишен создатель «Народной расправы». О честности же Ленина как политика можно, вероятно, говорить с той же мерой условности, какая прилагается ко всякому политику - и до, и после Макиавелли (и тут, к несчастью человеческого рода, по-видимому, мало что можно изменить).

Причем, Ленину было бы что ответить и на вечный вопрос Достоевского, адресованный всем, кто считает себя честными («Недостаточно определять честность верностью своим убеждениям. Надо еще непрерывно спрашивать себя: верны ли мои убеждения?»). Ведь вождь революции все же пришел в конце концов и к признанию своей «вины перед российским пролетариатом», и к «коренной перемене нашей точки зрения на социализм» - что и запечатлелось в памяти поколений, в волне **задумчивых** скульптур Ленина после сброшенных сталинских. Так что слишком увлекаться параллелями «Ленин - Нечаев», на мой взгляд, не стоит - тут есть предел, черта, за которой начинается пресловутое российское «абличение», «при свете дня» или в потемках, что одно и то же.

А ответить на вопрос, почему вождь мировой революции и присяжный поверенный В. Ульянов-Ленин никогда и нигде открыто не выступил ни в роли судьи, ни в роли адвоката Нечаева, - все-таки надо попытаться. Хотя во всех 55 томах его сочинений и биохронике об этом - ни-ни. Лишь десять лет назад, словно бомба, взорвала тишину публикация о замолчанных в свое время воспоминаниях В. Бонч-Бруевича, где открылось широкой публике, что Ленин, оказывается, и восхищался, и гордился своим сходством с Нечаевым. На эту публикацию (Н. Пирумова, «Разрушитель», в журнале «Родина», 1990, № 2) и на первоисточник (журнал «Тридцать дней», 1934, № 1) ныне ссылаются как на бесспорное доказательство отнюдь не тайной, а явной симпатии Ленина к создателю «Народной расправы».з

В свое время мне уже приходилось высказывать сомнения по поводу достоверности свидетельств Бонч-Бруевича, т.к. они появились ни раньше, ни позже, как в период апофеоза героизации Нечаева в СССР, выполняли социальный (политический) заказ, а следовательно, и волю всемогущего заказчика - Сталина, у которого тут был свой интерес.4 Тем не менее, несмотря на преувеличения и очевидные искажения при реконструкции прямой речи вождя кремлевским Эккерманом, он, по-видимому, не сильно погрешил против истины, передавая общий положительный тон суждений Ленина о Нечаеве. Это было в некоей приватной беседе, происходившей, вероятно, в 1919 году, когда они гуляли по Кремлю (см. кинохронику).

Мне сразу показалось подозрительной эта запоздалая откровенность того, кто раньше писал только о «добром дедушке» Ленине. В конце концов, даже из таких фраз Бонч-Бруевича: «До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался (!); « - Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где писал, расшифровать все его

псевдонимы, собрать воедино и все печатать», - неоднократно (!) говорил Владимир Ильич», - даже из таких фраз можно, вероятно, извлечь «сухой остаток» правды. Но в таком случае мы должны с неизбежностью сделать два печальных вывода:

1) либо Ленин, прочитавший у Маркса, по собственному признанию, «почти все», не знал брошюры об «Альянсе»; 2) либо он, зная эту брошюру, был принципиально не согласен с ее положениями. Другими словами, либо Ленин был недостаточно образованным марксистом, либо он был «русским марксистом», препарировавшим учение основоположников исключительно на свой лад, т. е. применительно к психологии русского мужака...

Современные исследователи этой проблемы склоняются ко второму выводу.⁵ Я, после некоторых колебаний (вызванных пустотами в лениноведении на сей счет), - тоже. Одно из подтверждений того, что в «почти все» у Ленина все-таки входит брошюра об «Альянсе», - обнаружилось недавно. Это статья известного немецкого «рenegата» Э. Бернштейна в старом журнале «Минувшие годы» за тот же 1908 год, когда была впервые опубликована «Исповедь» Прыжова. В свое время я пропустил эту статью, о чем жалею. Она, несомненно, имела большой резонанс среди русских большевиков, живших в это время в Швейцарии, и Ленин ее вряд ли оставил без внимания. Тем более, что Бернштейн прямо писал об «известной обвинительной записке против Бакунина под заглавием «Заговор против Интернационала» и делал примечательную оговорку: «Борьба Маркса с Бакуниным столько уже раз излагалась и обсуждалась в России, что со стороны немца может показаться несколько дерзким выступать перед русскими с подробным изложением этого дела».

Среди интересных подробностей Бернштейн сообщал о «суде чести» между Бакуниным и представителем Маркса В. Либкнехтом, который обвинял Бакунина в том, что он - «агент русского правительства» (намек на это был и в брошюре - В. Е.). Бернштейн подтвердил и яростное неприятие брошюры русскими эмигрантами, которые в момент конфликта «не желали ничего слышать о Марксе». Но интереснее всего - отношение самого Бернштейна, тогдашнего лидера немецких социал-демократов, к этому конфликту:

«Брошюра «Альянс», имевшая целью обосновать и оправдать изгнание Бакунина из Интернационала, делает, между прочим, еще и ту несправедливость, что выставляет его некоторым образом соучастником нечаевского дела, что не соответствует фактам».⁶

Тут можно поставить много восклицательных и вопросительных знаков - Бернштейн с очевидностью был «не в курсе» этой истории! И пафос его статьи - всяческое обеление и оправдание Бакунина, который, по его словам, был «баснословно доверчив к людям», в том числе к Нечаеву. (Между прочим, о Н. Утине, основном информаторе Маркса в бакунино-нечаевских делах, Бернштейн написал, что он был «ничуть не лучше Нечаева»).

Очень любопытен конец этой статьи:

«Маркс, несмотря на все свои формальные ошибки, все же отстаивал, даже с этической точки зрения, более высокое дело: а именно политику, основанную на научном исследовании, против политики простого дилетантства».

Блестящий диалектический пассаж, который, несмотря на «формальные ошибки» самого Э. Бернштейна, сводил концы с концами в этом старом споре и открывал перспективу! И не случайно здесь сказано об этической стороне политики и о науке в противовес дилетантству - все это камни в огород «русского марксизма»-большевизма. Как воспринял Ленин эту статью - можно только догадываться. Но ни одного доброго

слова об «оппортунисте» Бернштейне у него нет. И легко предположить, что, исходя из своей собственной «диалектики упрощения» (вспомним Плеханова), он взял отсюда аргументы лишь в пользу того, что ему было ближе по духу, русскому, так сказать. Аргументы не в пользу Маркса, а в пользу Бакунина, а также Нечаева, которого Бакунин называл «героем без фраз» (эти слова приводил Бернштейн). Вполне вероятно, что именно из этой статьи Ленин почерпнул если не главный, то дополнительный аргумент к своей идее использования войн для дела революций. Ведь Бернштейн, помимо прочего, писал о горячей надежде Бакунина на то, что «Россия будет побита в ближайшей войне»...

Как бы то ни было, здесь весьма важный сюжетный поворот нашего библиографического детектива. Бернштейн писал, что «брошюра об «Альянсе» сделала бесконечно много для того, чтобы отчудить (так переведен в статье глагол от слова «отчуждение»! - В. Е.) от Маркса тогдашний социалистический мир в России». Но статья самого Бернштейна «отчудила» тут не меньше. Надо было быть воистину самоотверженным поклонником Маркса, чтобы после этого пытаться издать в России брошюру об «Альянсе». И Ленину это было совершенно не нужно - не выгодно как политику, если говорить прямо. Поэтому он ни до, ни после революции ничего не сделал для распространения этой брошюры в России (в его личной библиотеке в Кремле была только старая книжка Энгельса «Бакунисты за работой», которую Ленин сам редактировал еще в 1907 г., борясь с анархизмом).

О том, что анархизм был не только врагом, но и другом большевизма, было известно в России еще в годы первой революции. В 1917 году эта дружба окрепла и почти не скрывалась. Отряды матросов и бывших уголовников, амнистированных Временным правительством, выступавшие под черным знаменем анархизма, стали одним из могучих политических орудий, разметающих в пух и прах «старый мир». Решение Совнаркома от 30 июля 1918 года установить памятник Бакунину (в числе других «великих деятелей социализма», среди которых странным образом оказался и Достоевский) - окончательно легализовало и канонизировало того, кого Маркс называл «безмозглым», а Герцен «болтуном». Весьма характерной для того времени была оценка, вышедшая из-под пера влиятельного историка и литературного критика Вяч. Полонского (в годы гражданской войны - начальника агитпропа Красной Армии): «Ничто не мешает нам, ученикам и наследникам Маркса, признать, что в авторе «Государственности и анархии» мы чтим величайшего предтечу Октябрьской революции, фигурой которого, полной революционной страсти, вправе гордиться история нашего прошлого»⁷

До памятников Нечаеву дело не дошло, но есть сведения о том, что после революции его имя было выбито на гранитном обелиске героям революции у стен Кремля, в Александровском саду, - выбито, а затем стерто.* К сожалению, разыскать подробности этой истории (кто к ней причастен, по чьему указанию все сделалось, по чьему было прекращено и т. д.) мне не удалось, но есть другой факт: одна из улиц в мануфактурном пролетарском городе Иваново в те же годы была названа именем Сергея Нечаева.

У этой исторической фантазмагии, помимо интересов персональных и корней книжно-пропагандистских, были корни и поглубже: сама атмосфера «мировой»

* Добровольский Е. Герой и нашего времени. - Московские новости. 1996. № 34. Любопытно было бы узнать также источник, на основании которого автор утверждает далее, что "Сталин затребовал к себе дело Нечаева и посматривал, почитывал время от времени в своем кремлевском кабинете". Если такие данные есть, то отпадает надобность в гипотезах.

революции с ее переоценкой всех ценностей, в том числе нравственных. Можно сказать, что здесь присутствовало своего рода великодушные победителей: за цель, которой следовали Бакунин и Нечаев, им многое пришлось. Средства же, к которым они прибегали, с одной стороны, были мало известными или замолчаны, с другой, просто меркли перед гигантскими масштабами насилия и других отнюдь не стерильных методов борьбы, к которым обращались большевики (как, впрочем, и их противники). Знаменитая речь Ленина на III съезде РКСМ, где кроме троескратного «учиться» прозвучала формула, очень напоминавшая «Катехизис революционера»: «Нравственность это то, что служит победе коммунизма», 8 - могла появиться только в этой горячечной обстановке. Цепляться сегодня за эту формулу как за доказательство приверженности Ленина нечаевщине было бы некорректно: его речь отражала требования «текущего момента» (1919 года), и уже через два года Ленин мог бы, пожалуй, сказать другое: «Нравственность это то, что служит победе новой экономической политики»...

Сознание того, что Ленин был стократ умнее и политически опытнее Нечаева, не говоря уже о честности в том понимании, которого мы касались, - не отменяет факта его близости к Нечаеву. И линии сопряжения между ними проходят, вероятно, по параметрам как характерологическим (исключительная сила воли и целеустремленность - то, что называется фанатизмом и при обращении на людей превращается в «волю к власти», в нетерпимость и деспотизм), так и идеологическим (в сущности, обоими владела одна сверхидея, и Ленин бы, безусловно, обеими руками подписался под тем призывом, которым Нечаев вербовал себе сторонников: «Надо работать на благо обездоленного народа!»).

Именно эти параметры, как представляется, прежде всего имел в виду Н. Бердяев, когда включал Нечаева в когорту тех, чьи черты соединил в себе Ленин.*

При этом Бердяев отнюдь не подразумевал Нечаева как символ аморализма и политического мошенничества. Ленин, по его словам, «не был дурным человеком», его революционность имела «моральный источник», а утрата «непосредственного различия между добром и злом», «обман, ложь, насилие, жестокость» с его стороны были следствием «одержимости максималистской революционной идеей». И даже называя Ленина «роковым человеком», Бердяев был далек от того смысла, который вкладывал в те же слова адвокат В. Спасович, говоря о Нечаеве на процессе 1871 года (у Спасовича «роковой» означало скорее «порочный», «преступный»).

Стоит заметить, что в этой характеристике Ленина, данной через двадцать лет после революции, Бердяев уже не прибегал к аллюзиям из Достоевского («бесовство», «шигалевищина», «смердяковщина») и, можно сказать, намного опередил в своей объективности и диалектичности тех, кто к концу нашего века пытался и пытается дорисовать «недорисованный портрет» одной - черной или красной - краской.

Обращаясь к теме героизации Нечаева в 20-30-е годы, невозможно обойти имя М. Покровского. Автор формулы «История - это политика, опрокинутая в прошлое» был первым официальным историографом большевизма. Учитывая его близость к руководящему ядру РКП(б), можно говорить, что он был в известной мере выразителем

* "Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа". (Н. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990. С. 95). Трудно сказать, почему Бердяев не вспомнил здесь и Бакунина. Его идея - "страсть к разрушению - это творческая страсть", - была, несомненно, одной из вдохновляющих для Ленина.

взглядов этого ядра на историю и ее отдельных персонажей. Вот что писал Покровский по интересующему нас предмету:

«В настоящее время никакой грамотный человек не рассматривает Нечаева как какого-то полоумного бандита, который устраивает какие-то совершенно сумасшедшие подпольные кружки для проведения какой-то полуразбойничьей революции. Нечаев - это можно считать доказанным - был в России агентом Бакунина, и нечаевская попытка была первой попыткой бакунистской революции в России».⁹

При этом «советский Карамзин», первый «красный профессор» ни словом не упомянул ни о мошенничествах Нечаева, ни об убийстве Иванова и ставил в заслугу создателю «Народной расправы» то, что тот якобы первым в истории разработал «план назначенной революции» (имея в виду авантюру с восстанием 19 февраля 1870 г.). Поскольку историк в данном случае выступал еще и пропагандистом - все эти перлы из курса его лекций 1923 года для секретарей уездных партийных комитетов - можно представить, как сильно было желание заказчиков этих лекций сделать Нечаева одним из своих предтеч. С точки зрения науки, это был полный разрыв с фактами, с точки зрения морали - полный разрыв с традицией XIX века, с точки зрения здравого смысла - полный абсурд (впрочем, о здравом смысле у большевиков были свои понятия).

Насколько ко всему этому причастен Ленин - судить сложно. Но Марксом и марксизмом здесь не пахнет. Пахнет исторической шигалевицной да еще, пожалуй, романтической «щеголевицной». К ней мы скоро вернемся, рассмотрев прежде личный интерес к Нечаеву со стороны еще одной персоны, олицетворявшей дух и плоть этого времени.

На то, что второй вождь, пристроивший свой профиль к колодке основоположников вслед за Лениным, - стопроцентный Нечаев, без всяких натяжек и фантазий, давно обратили внимание и самые пронизательные из современников, и историки, и писатели. Они нашли полное родство и в характере, и в идеологии, и в кровавой практике двух деятелей, разделенных в истории почти полувековой дистанцией...

Пальма первенства в этом открытии принадлежит, очевидно, грузинскому писателю Г. Робакидзе, опубликовавшему в эмиграции, еще в 1931 г. роман «Убненная душа». В романе проводится прямая параллель между Сталиным и Нечаевым, причем писатель обнаруживает незаурядную осведомленность в подробностях нечаевской истории - очевидно, она его давно занимала; а деятельность Сталина проходила у него на глазах и в Грузии отзывалась особенно остро.¹⁰

То, к чему Робакидзе пришел интуитивно, как художник, чуткий к характерологии, получило через тридцать лет подтверждение у писателя, который свой метод называл «следовательно-исследовательским». Александр Бек, завоевавший признание военным романом «Волоколамское шоссе», в 60-е годы углубленно занимался сталинской темой. Кроме известного «Нового назначения» он написал тогда повесть «На другой день», где использовал сведения о Сталине, добытые в беседах с близко знавшим его старым большевиком С. Кавтарадзе.¹¹ В повести есть сцена, где молодой Сталин, читая тайком «Катехизис революционера», отчеркивает ногтем слова: «Нравственно все, что способствует торжеству революции». Некоторая натянутость этой сцены (в ней фигурирует почему-то «старый комплект «Правительственного вестника», хотя гораздо доступнее были «Государственные преступления» Богучарского с

«Катехизисом») не мешает признанию того факта, что Сталин, по свидетельству Кавтарадзе, с молодости испытывал симпатию к Нечаеву. Это неудивительно, учитывая его раннее тяготение к уголовщине, проявившееся в кавказских «экспроприациях», а затем - в открытых симпатиях к ворам и бандитам в вологодской ссылке (в чем он впоследствии признавался Н. Хрущеву). Любопытно, что и Бакунин называл Нечаева «абреком»...

В трудах «вождя народов» тоже нет прямых отзывов о создателе «Народной расправы». Это и понятно: признаваться ему в такой склонности было бы полным саморазоблачением. Подтверждений же личностного сходства Нечаева и Сталина столь огромное множество, что можно ограничиться лишь одним: не кто иной, как Ленин, в конце жизни признал, что Сталин «лишен элементарной честности, простой человеческой честности». 12 (Почему Ленин не мог понять этого раньше - вот мировая загадка).

Но не будем все же увлекаться характерологией - она может легко увести и в демонологию. Хотя «желтые глаза тигра» у Сталина стоят «сурового и дикого» взгляда Нечаева, масштаб личностей и, тем более, масштаб возможностей, опять же, - несопоставим... Для нас интереснее другое - проследить, какие трансформации претерпел миф о Нечаеве в сталинскую эпоху.

Начало «культы личности» обычно относят к концу 20-х годов, когда были разгромлены все оппозиции. На самом же деле поклонение новому идолу началось уже в 1925 году, когда Царицын, бесславный для него, был переименован в Сталинград, и на XIV съезде большевиков прозвучали в его адрес аплодисменты, «переходящие в овацию».

Известно, что получив уже тогда - исключительно «нечаевскими» методами - почти полную власть над страной, Сталин взял под личный контроль всю идеологическую (читай: жреческую) работу, в том числе издание сочинений Маркса, Энгельса и Ленина. И вряд ли случайно, что уже в 1926 году - без недомолвок и оглядок, а открыто - среди историков-жрецов и тех, кто не желал быть таковыми - разгорелась бурная дискуссия о Нечаеве. Поводом послужила книга А. Гамбарова, в которой было прямо заявлено о необходимости его реабилитации. 13

Каких только доводов не приводил этот автор в обоснование своей идеи! И то, что Нечаев якобы был «единственным для своего времени примером классового борца», и то, что Иванов, убитый им, «действительно был предателем», и то, что у Нечаева впервые был выработан «план назначенной революции» (тут Гамбаров ссылался на М. Покровского). С поистине нечаевской одержимостью в книге возглашалось: «Революция одинаково освящает все средства в политической борьбе», «отныне весь мир, все общество неизбежно должны разделиться на две неравные части, на друзей и врагов, на тех, кто идет вместе с революцией, и тех, кто всячески старается задержать поступательный ход ее развития... Лозунг Нечаева «Кто не за нас, тот против нас» - служит нам девизом». Резюме автора было столь же безапелляционным и саморазоблачительным: «Силою своего несомненно гениального политического чутья Нечаев как бы предвосхитил характер будущей классовой борьбы, ее методы и тактику, а также и роль партии в этой борьбе... История его давно уже реабилитировала».

Меня давно интересовали два вопроса: что за человек был автор этой книги Александр Гамбаров и чей заказ он выполнял? К сожалению, на сегодня первый вопрос так и не прояснен. Имя Гамбарова больше не всплывало в исторической литературе: нет его ни среди более-менее крупных имен, расстрелянных Сталиным в 30-е годы (хотя такой исход не исключен), ни среди тех, кто уцелел и воспрял в 50-е годы.

Сдается мне, что это был псевдоним - только чей, еще одна загадка. Ведь автор неплохо знал историографию темы, он спорил в своей книге и с В. Богучарским, и с В. Засулич, и с Е. Колосовым, со всей «мемуарной накипью современников», а единственно достоверными считал воспоминания А. Успенской в «Былом» за 1922-й год и шеголевскую публикацию 1906 года. Очевидно, что это был не наивный рабфаковец, а человек, по крайней мере, с подготовкой уровня института красной профессуры. Чей же политический заказ он выполнял?

Дух ультралевизны, которым дышит книга «реабилитатора» Нечаева, может вызвать ассоциации, пожалуй, лишь с двумя политическими тенденциями середины 20-х годов и двумя олицетворявшими их персонами - Троцкого и Сталина. Но Троцкий, к тому времени уже начавший сдвигаться в тень, едва ли позволил бы себе когда-либо публичную апологию Нечаева (он слишком хорошо знал литературную традицию, связанную с осуждением его как прототипа «Бесов»). Остающийся при этой логике вариант со Сталиным не следует, конечно, понимать буквально. Разумеется, не сам генсек ВКП(б) диктовал Гамбарову (или другому лицу), как правильно преподнести Нечаева массам, как связать это с требованиями текущего момента, который состоит в выборе: вместе с революцией, вместе с нами или против нас.*

Возможно, этот заказ делал кто-то из круга Сталина, а еще возможно - книга была продиктована обыкновенной конъюнктурщиной, обыкновенным желанием угодить, если не персоне, то «генеральной линии», которая начала выкристаллизовываться в решениях последних съездов и пленумов. Угодить и заодно проверить, как на этом спорном вопросе, на «нашем» Нечаеве, покажут себя те, кто колеблется, еще решает, за кем и куда идти. Провокационный характер книги Гамбарова не вызывает сомнений - это как бы предвестие 37-го года в 26-м.

Нетрудно представить, какую бурю негодования вызвала книга Гамбарова среди тех, для кого вопрос о Нечаеве был давно и однозначно решен в отрицательную сторону. Правда, таковых после революции, после 1922 года, когда «философский пароход» увез из России Бердяева и других защитников наследия Достоевского, оставалось не слишком много. Пожалуй, единственным упрямым островком исторической антинечаевщины оставалось Всесоюзное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, где помнили еще и Михайловского, и Богучарского. Не случайно на страницах журнала «Каторга и ссылка» - органа этого общества - появилась резкая рецензия на книгу Гамбарова, названная с вызовом - «К вопросу о реабилитации Нечаева». Автором рецензии был уже знакомый нам Е. Колосов. И то, что он не решился подписать ее собственным именем, прикрывшись псевдонимом (Д. Кузьмин), наглядно свидетельствует об опасениях преследований за мысли, идущие «против течения». Действительно, через несколько лет журнал будет закрыт, общество политкаторжан - разогнано, а Е. Колосов стинет неизвестно куда (точно проследить судьбу этого замечательного человека и историка мне не удалось, но есть сведения, что он был репрессирован в 30-е годы).

* Лучшей иллюстрацией этой жестко поставленной альтернативы может служить заявление 72-летнего А. Кузнецова, последнего оставшегося в живых «нечаевца». После ссылки он прославился в Забайкалье как подвижник-просветитель, но имел несчастье в свое время состоять в партии эсеров. Это аукнулось в 1927 году. Кузнецов подписал коллективное письмо бывших эсеров с отречением от «контрреволюционной» политики своих вождей и готовностью «с оружием в руках (!) стать на защиту завоеваний Октября». О судьбе Кузнецова тоже можно написать целую книгу...

А рецензия не оставляла камня на камне от построений Гамбарова! Основной упор Е. Колосов сделал - и вполне разумно - на убийство Иванова. Возвращаясь к событиям 21 ноября 1869 года, он напоминал, что накануне, на «теоретическом» совещании Нечаев заявил, что преступление Иванова (намерение донести жандармам) - факт доказанный. Нечаев, ввиду конспиративных обстоятельств, отказался привести эти доказательства. Он ссылаясь на авторитет ЦК «Народной расправы». Нечаеву верили, а он **знал**, что обвинения эти «мнимые», - подчеркивал Е. Колосов. 14

Надо полагать, автору рецензии, вспомиравшему еще в 1917 году о шигалевщине, были хорошо известны случаи бессудных расправ большевиков со своими противниками по таким же мнимым обвинениям. Но в 1927 году он был уже не так свободен. Принявший революцию за ее «народнический» дух и отвергнувший белогвардейщину (он специально занимался расследованием зверств армии Колчака в Сибири), Е. Колосов не мог не сознавать, что шигалевщина и нечаевщина вновь набирают силу. И то, что он написал в конце своей рецензии: «Сам принцип нечаевщины - цель оправдывает средства - не коммунистичен» - можно считать и знаком мужества, и воплощением последних упований идеалиста...

Других, столь же смелых и решительных протестов против реабилитации Нечаева в эти годы не последовало. Более осторожным (что вполне понятно и оправдываемо) показал себя в данной ситуации Б. Козьмин. Но прежде чем перейти к его тогдашним подходам в оценке Нечаева, к его тактике исторического разоблачения этого персонажа (которая в тех условиях была, несомненно, и тактикой политической), надо привести одну поэтическую цитату, которая, полагаю, косвенно тоже касается этих споров.

*«...Шли на жизнь
и на то,
чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
утаил
От времен, и врагов, и друзей».*

Поэма Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» была написана в 1926 году, а глава «Отцы» со строчками о «затворницах», чью красу «скрыл, утаил» Нечаев, - в 1925-м. 15 В связи с этим никак нельзя поддаваться соблазну считать эти строки откликом поэта на завязавшуюся дискуссию. Очевидно, что Пастернак переосмыслил и воплотил в своих стихах общее для послереволюционной интеллигенции отношение к Нечаеву - безусловно, отрицательное, идущее от Достоевского (строка «Здесь бывал Достоевский» - очень многозначительна: это знак культурной традиции), хотя и не свободное от романтической демонизации.

Сопоставив строки из «Девятьсот пятого года» с написанной тогда же «Высокой болезнью», где налицо столь же романтическое восприятие Ленина, можно сделать вывод, что Пастернаку никогда не приходила и не могла прийти в голову мысль о том, что Ленин - «вылитый Нечаев». Связывавший имя Ленина с историческим выбором народа, масс («он был их звуковым лицом» - блестящая по своей верности метафора!), Пастернак был абсолютно искренен в своем преклонении перед Лениным, особенно «поздним». В знаменитом последнем двустишии «Высокой болезни», написанном в 1928 году:

*«Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход», -*

поэт гениально - и предельно точно исторически - отразил кризис настроений в обществе, связанный с уходом Ленина и возвышением Сталина...

Гнет в самом прямом смысле в эти годы ощутили на себе и историки, занимавшиеся Нечаевым. Впрочем, не все - были и те, кто сумел и в этой ситуации извлечь для себя выгоду.

Год 1929-й можно назвать годом пика славы Нечаева в Стране Советов. То, что это был «Год Великого перелома» (официально, по-сталински, а фактически «перелома хребта народного», как утвердилось сегодня), - не совпадение, а закономерность. Стране нужны были герои, способные так ломать - люди с железной волей, преданные идеи, как рыцари ордена меченосцев (или иезуитов - тут разница была невелика).

Откликнулся на этот призыв и Павел Елисеевич Щеголев - к тому времени обласканный властью и уважаемый всеми историк, ближайший друг и соавтор «красного графа», писателя А. Толстого. В 1929 году государственное издательство «Федерация» выпустило массовым тиражом книгу Щеголева «Алексеевский равелин», в которой был пропет такой гимн Нечаеву, какого не ожидали, пожалуй, даже те, кто помнил еще публикацию 1906 года...

Издание имело несколько двусмысленный подзаголовок «книга о величии и падении человека». Но «падение» относилось, увы, не к Нечаеву, а к другому узнику равелина - Л. Мирскому. К Нечаеву же относилось исключительно «величие» - то, что когда-то составляло пафос публикации «Былого». На этот раз Щеголев, правда, прибавил пафоса: «Победителем равелина стал пламенный революционер Нечаев». 16

Насколько во всем этом сказались искренность побуждений автора, а насколько - его желание **плотно покушать** (в чем он очень походил на своего друга А. Толстого), судить трудно. Я не раз перечитывал эту книгу, стараюсь найти следы какого-либо «диссидентства», «кукиша в кармане», что могло бы дать повод говорить о подневольности миссии Щеголева. Ведь он как историк-профессионал старой школы не мог не знать всей совокупности данных о Нечаеве. Парадокс: многие факты из книги «Алексеевский равелин» (как в свое время в «Былом») опровергали концепцию автора о «величии» Нечаева! С сожалением приходится констатировать, что Щеголев так никогда и не усомнился в своей концепции. С еще большим сожалением приходится признать, что историк оказался слишком податлив к «детерминирующим факторам» своей эпохи, на что справедливо указывают и современные комментаторы. 17

Чтобы не было иллюзий относительно «героизма» Нечаева, надо обратиться прежде всего к режиму «самой страшной тюрьмы». Строго говоря, заслуживать такого названия Алексеевский равелин стал лишь на рубеже 1870-80 г.г., когда на общей волне ужесточения порядков был смещен прежний комендант Петропавловской крепости барон Майзель. А при либеральном Майзеле, как отмечал сам Щеголев, в Алексеевском равелине поддерживались достаточно гуманные даже по европейским меркам порядки. Например, пищевой режим «был удовлетворителен и как небо от земли отстоял от позднейшего народовольческого режима» (кроме плотного обеда Нечаеву два раза в день выдавался чай «с булкой и четырьмя кусками в каждый раз сахара»).

Если же посчитать этот фактор не столь существенным в сравнении с режимом полной изоляции, подавлявшим «дух», то надо остановиться и на последнем.

Как и все его предшественники по Петропавловской крепости, Нечаев имел возможность пользоваться письменными принадлежностями, книгами из тюремной библиотеки, а также - по требованию - другой литературой, исключая, разумеется,

запрещенную. При всех понятных неудобствах это были условия, вполне достаточные для плодотворной умственной работы. Как воспользовались этим не худшие люди России, заточенные в Петропавловке, хорошо известно: роман Чернышевского «Что делать?» (как к нему ни относиться) и статьи Писарева (как к ним ни относиться) были рождены в каменных мешках государевой тюрьмы.

В книге Щеголева не проводилось таких параллелей. А жаль.

Нечаев в крепости тоже писал. Основными его «литературными опытами» были роман «Жоржетта» и отрывок «На водах». Они, к сожалению, не сохранились. Но о них можно получить неплохое представление по вполне квалифицированным отзывам читавшего их чиновника III отделения (сам Щеголев, публикуя эти отзывы, признавал, что этому неизвестному чиновнику нельзя отказать в объективности).

Роман «Жоржетта» был связан с событиями Парижской коммуны и, очевидно, был навеян Нечаеву его кратким пребыванием в Париже в 1871 году. Но основное содержание романа составляли отнюдь не рассказы о подвигах коммунаров, а, как писал тюремный рецензент - «многочисленные эротические сцены, на которых автор останавливается с особой любовью, имеющей, кажется, физиологический источник в его летах и одиночном заключении. Женщины более высокого общественного положения представлены чудовищами разврата. Картины его в отрывке «На водах» доходят до самого грязного цинизма».

Понятно, что такое «творчество» могло бы представить интерес только для психоаналитиков. (А если для историков, то лишь как повод задуматься над времяпрепровождением молодого ивановского «мещанина», попавшего в Париж).

Писал Нечаев в крепости и политические статьи. В них, по отзыву того же чиновника, звучал один мотив (эти строки стоит выделить - В. Е.): «презрение ко всему, что он не знает, самая беспощадная ненависть к тем, кому легко далось то, что взято им с боем, ненависть ко всему, что выше. Один автор и люди его кружка, одним их происхождением и образом мыслей, признаются за слуг народа и пользуются народным доверием и сочувствием. Все остальное выставляется как враги народа, и эра плодотворного развития, мирного и многостороннего, начинается лишь с их уничтожением».¹⁸

Если бы знать только эту часть «наследия» Нечаева, то можно было бы списать все на тюремное отчаяние и озлобленность. Но зная «Катехизис революционера» и прокламации «Народной расправы», за всем этим нельзя не увидеть нечто более серьезное - цельную и последовательную идеологию. По своему основному постулату (разделение людей на «чистых» и «нечистых» с уничтожением «нечистых»), она весьма близка тому, что вновь, после 17-го и гражданской войны, начинало разворачиваться в России - на этот раз под лозунгом «обострения классовой борьбы».

Очевидно, что Щеголев был очень далек от таких аналогий. Слово «шигалевицина», столь созвучное его собственной фамилии, вряд ли нравилось ему. Тем и печальнее читать восторженные строки его книги...

Они относились, увы, и к тем гнусным приемам, которые использовал Нечаев для подготовки к побегу из крепости.

Ни слова комментария о том, что путь к цели усеян жертвами: раскрывшаяся «пропаганда» привела к аресту и отправке в дисциплинарные батальоны более 40 солдат.

Ни слова о том, что Нечаев лжет не только чужим, но и своим: в записке, переданной на волю, он пишет, что солдаты якобы «в Бога не верят, царя считают

извергом и причиной всего зла, ожидают бунта, который истребит все начальство и богачей».

Все это преподносилось автором книги «Алексеевский рavelин» как пример, достойный подражания. И он был не одинок в своих панегириках.

В том же 1929 г. в массовой серии «Дешевая библиотека» вышла целая книга о Нечаеве. «Вечно мятущийся работник и человек, друг угнетенных, враг жандармов и помещиков и друг народа», - характеризовал своего героя ее автор.¹⁹ Вскоре подоспел фундаментальный труд профессора М. Гернета «Истории царской тюрьмы», где автор, безоговорочно принимая архивные находки и выводы Щеголева, продолжал творить легенду о Нечаеве, подчеркивая его «несгибаемость» и «исключительные качества пропагандиста» 20...

Тем временем в реальной жизни была написана уже не одна глава истории советской тюрьмы. На Север шли эшелоны с раскулаченными. В 1929 году начал отбывать свой первый срок Варлам Шаламов, арестованный за распространение «завещания» Ленина («Письма к съезду»). На Вишеру его отправили в одном вагоне с ворами как «социально опасный элемент».

В этом тоже было преломление нечаевщины, восторжествовавшей в стране. «Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских «амальгам», - писал Шаламов в очерке «Бутырская тюрьма 1929 года».²¹

«Амальгама» - слово очень точное. В нем отразилось то воистину бесовское смещение идей, понятий, смыслов, знаков нормальной и криминальной жизни, которое творилось волей алхимика, засевшего в Кремле. Амальгамированной оказалась и историческая наука: черное в ней называлось белым, преступное - героическим.

Чтобы не было сомнений в личной причастности Сталина к возвеличению Нечаева, стоит привести еще ряд любопытных фактов.

На роль ведущего историографа большевизма к этому времени вместо М. Покровского выдвигается Ем. Ярославский. Он еще в середине 20-х годов сделался «верным сталинцем» и немало потрудился на поприще превозношения заслуг нового вождя в революции и гражданской войне. Он работает под непосредственным руководством генерального секретаря ВКП(б), проводя его установки в науку, за что заслужил прозвище «Емельян Иловайский»...

Чтобы оценить степень зависимости Ярославского в данной ситуации, надо помнить, что он был сурово раскритикован Сталиным в печально известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» (1931 г.) - за «ошибки принципиального и исторического характера». Дабы не допускать таких губительных (смертельных!) ошибок впредь, следовало очень хорошо знать вкусы и пристрастия своего патрона - всегда советоваться с ним, либо угадывать и угождать.

В связи с этим вряд ли можно назвать случайным, что в своих работах 30-х годов Ярославский неизменно выделяет фигуру Нечаева, окружая ее героическим ореолом. Причем - и это особенно показательно - он всячески стремится обойти или смягчить известную ему критику нечаевщины основоположниками. Так, в работе «К. Маркс и революционное народничество» (1932 г.) Ярославский прямо утверждал, что они в этом случае допускали «полемиические преувеличения», а в книге «Анархизм в России» (1939 г.), противопоставляя Нечаева Бакунину, с одобрением отзывался о «Народной расправе» как «самой авторитарной организации, какую когда-либо создавали революционеры» и ставил в заслугу Нечаеву издание «Манифеста коммунистической партии»²²...

Можно ли было оспаривать выводы классиков, не убедившись, что это не станет опрометчивостью? Можно ли было воздавать хвалу «авторитарности» без стремления польстить вкусам всемогущего «хозяина»? Такое труднопредставимо. Так что вопрос о симпатиях Сталина к Нечаеву получает достаточно убедительное, на мой взгляд, подтверждение. Ярославский играл роль помощника адвоката, который сам предпочитал оставаться в тени...

Чтобы до конца оценить всю меру произвола, определявшего в эти годы судьбу Нечаева на весах истории, приведу еще ряд красноречивых фактов.

В 1928 г. Вяч. Полонский впервые опубликовал фрагменты брошюры об «Альянсе» и другие материалы, разоблачающие Бакунина и Нечаева.²³ Со стороны автора публикации это был смелый и принципиальный поступок, свидетельствовавший о том, что он преодолел прежние заблуждения относительно исторических заслуг Бакунина (к Нечаеву Вяч. Полонский и прежде относился отрицательно).

Как ни странно, на первый взгляд, эта поистине историческая публикация была встречена в штыки. В печати развернулась травля Полонского, в которой заглавную роль играли тогдашние руководители Института Маркса и Энгельса. В ходе острой полемики всплыл вопиющий факт: оказывается, в Институте стремились замолчать само существование брошюры об «Альянсе» и других антибакунинских работ, всячески оттягивая их публикацию. Доводы, которые приводили в свое оправдание директор Института Д. Рязанов и его ближайший соратник Ю. Стеклов («специалистам эти брошюры давно известны и вскоре они будут опубликованы в полном виде»²⁴) трудно было признать состоятельными. Еще более странный факт: даже и после этой громкой, скандальной истории, приведшей к смене руководства Институтом (в 1931 г. во главе его был назначен В. Адоратский), вопрос о печатании брошюры об «Альянсе» в Собрании сочинений основоположников растянулся еще почти на десятилетие...

Можно ли расценить все это иначе, как не стремление утаить от «масс» то, что им знать было бы совсем небесполезно?

В какой мере к этому были причастны лично Сталин и его оруженосцы, - историкам еще предстоит выяснить. Но бесспорно, что это издание было во всех отношениях невыгодно тому, кто, узурпировав власть в партии и стране, сделал нечаевский иезуитизм основой своей политики, кто в теории и практике следовал человеконенавистническим лозунгам «Народной расправы», кто - словно взяв за образец убийство Иванова - проводил методичное уничтожение своих противников и инакомыслящих (в эту мясорубку вскоре угодили и Рязанов, и Стеклов, а Вяч. Полонского спасла от расстрела только ранняя смерть).

Эта малоизученная тема таит в себе массу драматичнейших страниц, за которыми можно увидеть не только рептильное угодничество, но и мужественную борьбу честных ученых, сопротивлявшихся «резанию» и фальсификации истории.

Один из примеров такого сопротивления - работа авторского коллектива, выпустившего в свет в 1931 г. том писем Маркса и Энгельса 1860-1880-х г.г. Именно в этом томе впервые были опубликованы письма, где Нечаев характеризовался теми прямыми и точными словами, которых он заслуживал, - «проходимец» и «прохвост». ²⁵

Из глубины ушедшего века словно донеслось: «А король-то голый!...»

Но к этим еретическим словам - так же, как и к материалам, опубликованным Вяч. Полонским - прибегать было запрещено. Напомню, что в 1932 г., т.е. сразу вслед за выходом писем Маркса и Энгельса, Ем. Ярославский официально заявил о

«полюемических преувеличениях» в их оценках, а его выводы имели значение инструктивных документов для историков и пропагандистов.

Жесткая подчиненность этой «инструкции» явственно видна во всех работах о нечаевском деле, появившихся в начале 30-х годов. Читая эти работы сегодня, невольно думаешь о том, что их авторы - серьезные добросовестные ученые - совершали мучительное насилие над собой... Ведь невозможно же было, прочтя у Маркса о «проходимце», продолжать именовать его героем! Тем более, что открывшиеся новые архивные материалы III отделения прямо-таки вопияли о шулерстве Нечаева.

Можно только догадываться, чего стоило изучение этой темы самому глубокому знатоку революционного движения 1860-х г.г. Б. Козьмину. Но работы его полны множества столь очевидных натяжек и противоречий, что подчас складывается впечатление, что пером автора водила чья-то чужая рука. Во всяком случае, фактор «редакторского нажима», о котором пишет современный исследователь научного наследия Б. Козьмина,* неоспорим.

Особенно характерна в этом отношении статья Козьмина «С. Г. Нечаев и его противники в 1868-69 г.г.», появившаяся в 1932 году.

Возвращаясь к гамбаровскому вопросу о «реабилитации» Нечаева, историк демонстрировал очевидно компромиссную позицию. С одной стороны, он считал моральное оправдание нечаевщины «опасным» - т.к. «это значит возвести ее в норму, обязательную для каждого революционного деятеля». С другой (тут же!) - заявлял, что «реабилитация Нечаева возможна, если нам удастся установить, что условия места и времени делали неизбежным пользование приемами, к которым он прибегал».26

Тем самым как бы предполагалось, что не только цель, но и «условия места и времени» могли оправдывать обман и коварное убийство товарища. Хотя Козьмин и не сделал такого вывода, но он волей-неволей подводил к нему (тем самым оправдывая нечаевщину!).

Явной несообразностью была и попытка Козьмина поставить Нечаева выше его противников - Г. Лопатина, Ф. Волховского, М. Негрескула. Ведь сам он отмечал, что против создателя «Народной расправы» выступал «весь цвет народнической интеллигенции того времени», что «все его противники сыграли выдающуюся роль в народническом движении (выделено мною - В. Е.). На фоне всего этого утверждение историка о том, что Нечаев являлся «грандиозной личностью» звучало как некая обязательная риторическая фигура. Ее натужность особенно бросается в глаза, если иметь в виду, что Б. Козьмин опубликовал перед этим целый свод материалов из архивов, где первым открыл данные о 387 письмах из-за границы, о судьбе А. Капачинского, первым опубликовал следственные показания Прыжова, Енишерлова и других пострадавших.27

Вне этих обстоятельств трудно оценить неожиданный, казалось бы, пересмотр взглядов крупнейшего «нечаеведа», произошедший позднее.

Замечу, что в плену официальных «реабилитаторских» установок по делу Нечаева находились и М. Альтман, автор двух книг о Прыжове, вышедших в 1932 и 1934 годах.

Нельзя не отдать должное Альтману за огромную кропотливую работу по разысканию неизвестных фактов биографии Прыжова, особенно ранних лет. Но во всем, что касалось событий 1869 года, он подчинялся гамбаровско-сталинскому канону. Пресловутая «близость» Прыжова к Нечаеву - рефрен книг Альтмана - служила как бы общим мерилom их «революционности». Проанализировать с полной

* См. предисловие Э. Виленской к кн.: Козьмин Б. Литература и история. М. 1982. С.22.

мерой критичности участие Прыжова в делах организации и в убийстве Иванова автор, по-видимому, был просто не в силах, т.к. это неизбежно подрывало бы официальную версию о «герое-революционере» Нечаеве. Красноречивейшая деталь: в книгах Альтмана ни словом не упоминается об откликах Маркса и Энгельса на нечаевское дело, хотя исследователю они вряд ли не были известны.

В целом личность Прыжова была представлена Альтманом весьма упрощенно - в образе грубо-прямолинейного радикала и безбожника. Подобная трактовка тоже была созвучной духу 30-х годов. **Такой** Прыжов становился как бы идейным предтечей и союзником тех, кто в эти годы яростно разрушал дворянские усадьбы и православные храмы... (Отголоски подобного представления, несомненно, дают себя знать в современных уничижительных «литературных образах» историка).

С выходом работ Б. Козьмина и М. Альтмана изучение нечаевского дела, казалось бы, исчерпало себя. Миф о «Народной расправе» - мощной революционной организации, созданной в годы реакции благодаря «железной воле» Нечаева - прочно утвердился в сознании нового поколения. Но... уже в конце тех же 30-х годов вся эта фальшивая, шитая белыми нитками, историческая конструкция рухнула.

... «С.Г.Нечаев (1847-1882) - русский анархист-заговорщик. Исходил из макиавеллистского принципа: цель оправдывает средства. Во всей своей деятельности руководствовался личным честолюбием и интересами своей славы. Ради них он не гнушался такими средствами, как обман и уголовные преступления. Маркс и Энгельс, хорошо осведомленные о деятельности Нечаева и о приемах его работы, относились к нему резко отрицательно. Маркс называл его «проходимцем», а Энгельс «прохвостом». «Нечаев... либо русский агент-провокатор, либо во всяком случае действовал как таковой», - писал Энгельс в 1872 г. Т. Куно (см. Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, с. 305, 351, т. XXVI, с. 208).»

Все это - из статьи в 41-м томе Большой Советской Энциклопедии (первое издание), вышедшем в 1939 г. Подпись - Б. Козьмин - весьма многозначительна. И мы можем не сомневаться, что историк - наконец-то! - перестал быть в разладе со своим долгом ученого и писал то, что думал.

Чем же объяснить эту метаморфозу, разом перечеркнувшую все вымученные споры о «реабилитации»? Почему отзывы Маркса и Энгельса вдруг перестали считаться «полюемическими преувеличениями» (равнозначно: Сталин охладил к Нечаеву)?

Причин тут, наверное, несколько.

Еще в 1935 г. по стране прокатилась колесница массовых репрессий, коснувшаяся и многих представителей исторической науки. После убийства Кирова Сталин особенно невзлюбил историю народничества и тех, кто ею занимался. Он прямо указывал А. Жданову: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов...»²⁸

Может быть, под горячую руку к «идеологам терроризма» (что на сей раз абсолютно справедливо) был отнесен и Нечаев?

Но в число «злейших врагов марксизма» в это время попадают и анархисты - прошлые и современные. В середине 1930-х годов происходит резкая переоценка деятельности Бакунина. Причем, здесь играли роль не только конъюнктурно-политические мотивы (разоблачению анархизма как «врага коммунизма» в связи с событиями в Испании в 1937 г. посвятил свою очередную брошюру Е. Ярославский), но и те исторические данные о Бакунине, замалчивать которые сделалось уже

невозможным. А вместе со своим покровителем под суд истории неизбежно должен был попасть и Нечаев.

Упрятанная в архивы брошюра об «Альянсе» - словно старый крот, если использовать выражение Маркса - самим фактом своего существования подрывала пьедесталы двух ложных кумиров революции. Рано или поздно она должна была появиться на свет - этим ожиданием, наверняка, жили знавшие о ней честные ученые. И если выход ее пришелся в конце концов на крайне неблагоприятный во всех отношениях момент (1940-й год), когда общество было погружено в тревоги начавшейся второй мировой войны, то и в этом можно увидеть некий расчет тех, кто долго препятствовал публикации. Вряд ли она прошла без ведома Сталина, который в конце концов не мог не осознать, что возвеличение Нечаева сильно - если не сказать: смертельно! - бьет по его репутации: от «макиавеллизма» следовало отмежеваться. «Мавр» Нечаев сделал свое дело и мог умереть...

Как бы то ни было, появление брошюры об «Альянсе» не имело того общественного резонанса, который бы соответствовал ее значению. Впрочем, его и не могло быть, когда все поле для резонанса было монополизировано другой, изданной миллионными тиражами книгой - сталинским «Кратким курсом истории ВКПб». И слова А. Жданова, произнесенные с трибуны XVIII съезда: «За все время существования марксизма это первая марксистская книга, получившая столь широкое распространение» - звучали дьявольской насмешкой над бородастыми основоположниками и над их цивилизаторскими устремлениями в адрес России...

Так же незаметно, как и статья об «Альянсе», прошла публикация новых материалов о Бакуanine и Нечаеве в герценовском томе «Литературного наследства», вышедшем в 1941 году (автор Б. Козьмин).

Тем, кто уходил на фронт защищать русскую землю от чистокровных немцев, устроивших средневековое аутодафе Марксу (между прочим, по тем же мотивам, которые в свое время выдвигал Бакунин), было, конечно, не до архивных разысканий и даже не до Нечаева (хотя при желании его черты можно было обнаружить не только в Сталине, но и в Гитлере). Но зерно разума и гуманизма, посеянное в этом предвоенном, на серой бумаге, сборнике материалов, рано или поздно должно было прорасти. Ведь Б. Козьмину удалось впервые опубликовать подробности борьбы - воистину не на жизнь, а на смерть - против первого (и, увы, далеко не последнего) бандита и мошенника, примкнувшего к святому для Герцена делу.²⁹

Но лишь после смерти Сталина Б. Козьмин смог высказать о нечаевской эпопее все, что у него накопилось за тридцать лет занятий этой темой. Вновь цитируя в своей монографии 1956 года отзыв Энгельса: «Нечаев... либо русский агент-провокатор, либо во всяком случае действовал как таковой», историк лаконично и многозначительно добавлял:

«Вторая часть утверждения остается в полной силе». ³⁰

На этом в нашем библиографическом (или историографическом) детективе можно было бы, кажется, ставить точку. Но миф о Нечаеве оказался гораздо более живучим, чем можно было предполагать. Прежде всего потому, что явление нечаевщины в истории, как открылось, было в тысячу раз многообразнее и трагичнее по последствиям, нежели явление самого Нечаева.

Трудно укорять сейчас авторов статьи, написанной в СССР в 1960 году, в том, что они слишком рьяно обличали «буржуазных исследователей», которые якобы

клеветали на советскую историю, находя в ней зримые следы нечаевщины. Я лично глубоко благодарен авторам этой статьи, написавшим впервые о «трагедии людей, отдавших свою жизнь и честь во власть проходимца и авантюриста»,³¹ - это было точной формулой судьбы Ивана Гавриловича Прыжова и его товарищей.

Столь же трудно упрекать тех же авторов, объединившихся позднее в триумvirат для того, чтобы доказать, что альтернативой идеям Нечаева в России были идеи Чернышевского.³² Правда, сделай они акцент не на Чернышевском, а на Герцене, их версия была бы более историчной и более перспективной.

Да, долгод, слишком долгод оказался путь к признанию той горькой истины, что аналогия нечаевщины и аналогия «Бесов» «наиболее точно, наиболее пророчески, наиболее трагически «работает» на наших, а не иноземных примерах».³³ Но стоило ли ломать столько копий вокруг этой темы, если в конце концов вопрос об аналогиях у этих авторов (Ю. Карякина и Л. Сараскиной) замкнулся на достаточно примитивной схеме о «вылитом Нечаеве» - Ленине?

С другой стороны, склонность считать роман Достоевского, его «призму» единственно плодотворным и универсальным средством для осмысления истории XX века, а самому писателю отводить роль высочайшего арбитра в спорах о судьбах России, - эта склонность принимает характер какого-то наваждения. Уже второе десятилетие наши «достоевскоцентристы» эксплуатируют тот факт, что роман «Бесы» некогда лежал на столе секретаря ЦК Компартии Чили В. (Володи - в честь Ленина) Тетельбойма.³⁴ Интересно бы знать, какое место на том же столе занимала брошюра об «Альянсе»? Неужели сознание того, что в мире есть «абсолюты», может дать только роман Достоевского? И практическому политику не важнее ли поглубже знать реальную историю нечаевщины, в том числе в советский период?

Хотя последние книги ведущих российских «достоевскоцентристов» очень богаты интересными и разнообразными наблюдениями, в них все же явно не хватает эмпирического материала. Прежде всего о том **действительном** политическом мошенничестве, которое принесли с собой **действительные** последователи Нечаева, **примыкавшие** (вспомним слово Лескова) к «высокому учению» на разных этапах истории. Этот аспект представляется не менее важным, чем аспект самообмана, т.е. утопии, в судьбе этого учения.

То же самое с очевидностью имело место и в «иноземных» вариантах нечаевщины. Ни Пол Пот, ни Мао-Цзе-дун, скажем, совсем не отличались ангельской моралью. В связи с этим небезынтересно отметить, что в странах Запада феномен нечаевщины получил воплощение лишь в разнообразных формах политического экстремизма, где элемент мошенничества если и присутствует, то не играет главной роли. Читая роман Х. Семпруна «Нечаев вернулся», основанный на реалиях политической жизни Франции 60-70 годов, невозможно отделаться от мысли, что его герои-террористы - это воистину благородные разбойники. Конечно, они делают несправедное дело, но они не могут допустить, что можно обманывать друг друга, и даже в убийстве товарища а la Иванов (по воле романиста) требуют неопровержимых доказательств его предательства. Это ведь не наш родной нечаевский беспредел!

Роман, написанный в 1987 г., можно рассматривать как своего рода свидетельство международной популярности имени Нечаева. Оказывается, «Катехизис революционера» все еще завораживает (или завораживал до недавнего времени) молодых людей «в отчаянном возрасте от двадцати до двадцати четырех лет» на разных континентах, что подтверждается и данными о его зарубежных переизданиях.³⁵ Примечательно, что в самом Нечаеве герои романа видят фигуру не криминальную,

а жертвенно-героическую. Налицо универсальность, «всечеловечность» того восприятия, которым многие годы была заражена Россия. Это-то в итоге и составляет главную проблему.

Когда-то один из противников Нечаева пришел к выводу, что лучший способ разоблачить его - «сделать его смешным». ³⁶ Но осуществить это никому не удалось. (Между прочим, Иванов был убит во многом из-за того, что позволил себе «смеяться» над Нечаевым. См. показания Прыжова). Не смог сделать Нечаева смешным даже великий Достоевский, хотя «Бесы» замысливались как памфлет и сохранили многие признаки этого жанра. И статья об «Альянсе» тоже носит памфлетный характер, что, конечно, не случайно - о воинствующем зле невозможно было писать стилем «Капитала».

Можно сделать вывод, что восприятие нечаевского дела как кровавого фарса, а самого Нечаева - как опасного фигляра, было естественным для людей со здоровым нравственным чувством, располагавших более-менее правдивыми **сведениями** об этом деле (даже если эти люди имели разные «идейные» установки).

Соответственно, неполнота и искажение **сведений** (ярче всего это проявилось у Щеголева) вели к тому, что даже людьми, которым никак не откажешь в способности различать добро и зло, Нечаев воспринимался как фигура трагическая, вызывая сочувствие и желание подражать. В этом и состоит, как, наверное, поняли читатели, основная причина беспрецедентной живучести мифа о Нечаеве, - мифа, сыгравшего колоссальную роль в новой истории России.

Безусловно, прав был Варлам Шаламов, когда писал со своим мрачным сарказмом:

«Маркс здорово сказал когда-то насчет революционной идеи, которая, овладевая массами, становится материальной силой. Но... в мире всегда была идея, обладающая материальной силой. Это слух, сплетня. Материальная сила этой идеи очень велика».

К несчастью, Шаламов и сам стал жертвой мифа - этого исторического **слуха** (и в случае с Нечаевым, и в некоторых других случаях).

А если вернуться к категории подлинно трагической, то она имеет касательство почти ко всем другим героям этого повествования. Иван Гаврилович Прыжов тут не единственный. Следуя за его судьбой, читатель, надеюсь, смог наглядно убедиться, что трагедии переживают не только люди, но и идеи. Можно ли назвать иначе столь печальную участь того «высокого учения», о котором писал наш герой в середине XIX века и которое было «обращено к практике» в России и половине мира полстолетия спустя? Разве это не трагедия - величайшая в истории цивилизации - и политическая, и интеллектуальная? И разве не имела она своих Яго и Отелло, своих Гамлетов, Клавдиев и могильщиков?

Думая об этом, представители века новых информационных технологий, наверное, добавят сюда и свои термины. По крайней мере, нет сомнения, что огромную роль в этой трагедии сыграли факторы, связанные с ограничением точной и объективной информации (скажем так) в очень несовершенную эпоху.

Но еще Герцен предупреждал о Чингисхане, который может явиться в век телеграфа и железных дорог. О компьютерах и спутниковой связи он не догадывался, а Чингисхану и это по плечу...

На что же остается уповать? Может быть, все-таки на это:

«Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может принести столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена» (Альбер Камю, «Чума»).

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Свободная мысль. 1992. № 5.
- 2 Литературная газета. 1992. № 11.
- 3 Волкогонов Д. Ленин. М. 1994. Т. I. С. 72.
- 4 Не верьте «бесам» - Диалог. 1991. 14. С. 87. Повод для сомнений в достоверности свидетельства В. Бонч-Бруевича, дает, например, эпизод, о котором поведал в свое время редактор «Известий» И. Гронский: в 1932 г. Бонч-Бруевич с готовностью написал отклик на смерть Н. Аллилуевой, явно заказанный Сталиным. См. Антонов-Овсенко А. Сталин без маски. М. 1990. С. 413.
- 5 Кантор К. Немецкая идеология Маркса и Энгельса и русский марксизм - Вопросы философии. 1995. № 12. С. 95-108.
- 6 Бернштейн Э. К. Маркс и русские революционеры - Минувшие годы. 1908. № 10. С. 20.
- 7 Полонский Вяч. Предисловие к книге: Сажин М. Воспоминания. 1925. С. 11.
- 8 Это одно из подтверждений того, что Ленин был знаком с «Катехизисом революционера». Однако, формула «Нравственно все...» далеко не тождественна формуле «Нравственно то...» Говорить в связи с этим об «аморализме, этическом релятивизме» Ленина (Волкогонов, т. I, С. 72), мягко говоря, не научно. Между прочим, те, кто расстреливал Белый дом в Москве в 1993 г. и те, кто оборонял его, очевидно, не читали «Катехизис революционера», но действовали они по-нечаевски.
- 9 Покровский М. Очерки русского революционного движения XIX-XX в в. М. Красная новь. 1924. С. 64.
- 10 Г. Робакидзе все же отталкивался не столько от реального Нечаева, сколько от образа Петра Верховенского. Ср. отзыв писателя о Джуге-Джугашвили в сравнении с «мошеником» Верховенским: «С Джугой этот бесенок не может сравниться. Нет, Джуга даст ему 95 очков вперед. Ни одно исчадие ада не удалось, как это» (Робакидзе Г. Убиенная душа - Дружба народов. 1990. № 4. С. 110). Правомерным представляется говорить о Сталине как Нечаеве XX века, получившем возможность полностью реализовать себя.
- 11 Дружба народов. 1989. № 8.
- 12 Свидетельство Н. Крупской. См. Такер Р. Сталин. Путь к власти. М. 1991. С. 392.
- 13 Гамбаров А. В спорах о Нечаеве. М. - Л. 1926.
- 14 Каторга и ссылка. 1927. № 3.
- 15 Работа над поэмой была завершена к февралю 1926. См.: Пастернак Б. Избранное в 2 томах. М. 1985. т. I. С. 672.
- 16 Щеголев П. Алексеевский равелин. М. 1929. С. 5. После публикации 1906 г. историк еще раз обращался к этой теме в журнале «Красный архив». 1923. № 4.
- 17 См. предисловие Е. Федотовой к переизданию книги Щеголева в 1989 г. Однако, трудно согласиться с исследовательницей в том, что "очерк Щеголева является памятником эпохи 20-х г.г., отражает ее противоречия и заблуждения". Эти заблуждения посеяны гораздо раньше, причём, самим Щеголевым.
- 18 Щеголев, ук. соч., С. 242.
- 21 Шаламов В. Собр. соч. в 4 томах. М. 1998. т. 4. С. 155.
- 19 Кункль А. Нечаев. М. 1929. С. 57.
- 20 Гернет М. История царской тюрьмы. М. 1941. Т. 3. С. 191. Те же формулировки сохранены при переизданиях этого труда в 1952 и в 1961 г.г.
- 22 О роли Ем. Ярославского в окружении Сталина см., напр.: Медведев Р. О Сталине и сталинизме - Знания. 1989. № 1.
- 23 Полонский Вяч. Материалы для биографии М. Бакунина. М. 1928. Т. 3. Надо заметить, что в этом издании было опущено подробное описание нечаевского дела и сняты острые места из брошюры об «Альянсе».
- 24 Полонский Вяч. Заметки журналиста (ответ Д. Рязанову) - Печать и революция. 1928. № 7. С. 145.
- 25 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XXIV. С. 305, 301. Том вышел в 1931 г. под редакцией В Адоратского.
- 26 Революционное движение 1860-х г.г. М. 1932. С. 169.

27 См. напр.: Нечаев и нечаевцы (сб. под ред. Б. Козьмина). М. 1931; Неудавшаяся провокация (новое о Нечаеве) - Красный архив. 1926. № 1; Удавшаяся провокация - Красный архив. 1926. № 2.

28 История и историки. М. Наука. 1965. С. 275 (публикация М. Седова).

29 Литературное наследство. Т. 41-42. М. Изд-во АН СССР. 1941.

30 Козьмин Б. Русская секция I Интернационала. М. 1956. С. 276.

31 Карякин Ю., Плимак Е. Нечаевщина и ее современные буржуазные «исследователи» - История СССР. 1960. № 6. С. 184. Нельзя не отдать должное Ю. Карякину, сумевшему затем высказать "крамольную" мысль об известном сходстве между культом личности и нечаевщиной" (Проблемы мира и социализма. 1963. № 5) и развившему ее вполне в своей публицистике времен "перестройки". См. также: Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. М. 1989.

32 Володин А., Карякин Ю., Плимак Е. Чернышевский или Нечаев? М. 1976.

33 Сараскина Л. Выходя из безграничной свободы... (модель "Бесов" в романе Б. Можаява "Мужики и бабы") - Октябрь. 1988. № 7. См. также: Сараскина Л. "Бесы": роман-предупреждение. М. 1990.

34 Впервые этот факт был использован в статье Ю. Карякина «Зачем Хроникер в "Бесах" - ЛО. 1981. № 4. Странно читать о В. Тетельбойме, названном уже просто «государственным деятелем Чили», в новейшей книге Б. Тарасова «Непрочитанный Чаадаев. Неуслышанный Достоевский» (М. Academia, 1999). Правда, Б. Тарасов выступает против политизированного прочтения романа Достоевского, но в наше время вряд ли возможно его прочтение исключительно с точки зрения христианского сознания, к которому апеллирует автор. Как и на протяжении всей истории XX века, наиболее важным и актуальным остается вопрос о нейтрализации политического «бесовства» и шарлатанства в его неизбывном стремлении к «примыканию» (и даже смыканию) с прогрессивными течениями жизни. А сие возможно только на основе «практического разума», включающего в себя строгое научное знание. Весьма интересно, что некоторые ученые на Западе видят выход в изоляции от общества "паранойальных личностей", обращающихся к политике.

36 Слова принадлежат Н. Утину. Впервые их привел С. Сватиков в сборнике "Наша страна". 1907. № 1.

35 В 60-70-е годы "Катехизис" был переиздан террористическими организациями в США, Японии и некоторых странах Европы. См.: Витюк В. Под другим знаменем. М. Мысль. 1985.

По следам «Истории кабаков»

Занимаясь биографией И. Г. Прыжова, автор не мог обойти его главный труд - «Историю кабаков в России в связи с историей русского народа». По просьбе одного из московских издателей десять лет назад было подготовлено новое издание этой книги с обширным научным комментарием, потребовавшим немалых усилий (в том числе перепроверки около 200 источников, использованных Прыжовым). В годы «перестройки» издательство рухнуло, и подготовленная машинописная основа книги исчезла вместе с издателем... Автор глубоко сожалеет об этом, прежде всего потому, что «История кабаков» - труд специфический, во многом «сырой» (он был напечатан в 1868 году пискоро, «во всем безобразии черновой рукописи», как писал Прыжов), и перепечатывать его сейчас в таком же виде (как поступили некоторые предприимчивые деятели книжного рынка - например, в издательстве «Дружба народов», 1992 г.), - это значит профанировать науку и дурить читателя. Надеюсь все же, что справедливость и истина когда-нибудь восторжествуют.

Но занятия «Историей кабаков» оказались для автора все же бесполезными. Подтвердить это могут, вероятно, две статьи, опубликованные им в 1992 году в «Независимой газете». Обе они, естественно, дискуссионны, но, как представляется, не утратили интереса. В первой автор полемизирует с историком-дилетантом В. Горбачевым (не путать с М. Горбачевым), во второй - с историком почти профессиональным, знаменитым писателем А. И. Солженицыным, а также с М. Горбачевым как одним из инициаторов "борьбы с пьянством" в 1985 году.

Родной наш кабак...

(Триста лет пития без закуски)

Вековечная российская беда, которой коснулась «Независимая газета» (В. Горбачев, «Пьющая Россия», «НГ», 04.03.92), действительно нуждается в изучении и осмыслении. Но мы и эту свою беду - как и все остальные - низвели до уровня исторических анекдотов. Любимейший наш прием - покопаться в лавке книжных древностей и выудить оттуда какой-нибудь паиздательный укор нерадивым потомкам. Что попадает под руку - лишь бы ударило по первам, лишь бы было «актуально».

Автору «Пьющей России», раскопавшему повесть где «русского публициста» Н. П. Загоскина, должно быть невдомек, что тот был всего-то заурядным компилятором. Ибо все, что излагается в статье - вплоть до смелых афористичных формулировок, - принадлежит не Загоскину, а И.Г. Прыжову, издавшему в 1868 го-ду свой знаменитый труд «История кабаков в России в связи с историей русского народа». Не знать этого труда и его автора для человека, пишущего о «питейном» вопросе, - то же самое, что не знать Адама Смита политэконому. Прыжов был первым, кто попытался внести ясность в то, откуда пошло пьянство на Руси, и не разбил лба на этом рискованном поприще. Недаром книгу его вспоминали каждый раз при очередном обострении «питейного» вопроса, а в 1913 году даже переиздали - не в пример нам, побившим к концу XX столетия все мировые рекорды алкоголизации населения.

Но стряхнуть пыль с книги и пересказать ее скороговоркой, как это сделал В. Горбачев, - значит только запутать родословную старинной нашей слабости. «История кабаков» - труд весьма своеобразный, и видеть в нем подобие краткого курса для изучающих основы питейной политики неслепо. Прыжов, несмотря на свою дотошность, не мог - да и не смог бы (из-за ограниченности научной базы в XIX веке, скажем так) - стать Геродотом российского пития. Книга его во многих отношениях архаична, и тот, кто ее сегодня воспроизводит некритически, пускает в мир очередную порцию мифов.

Но в чем у Прыжова не отнимешь правоты, так это в том, что по этой части русичи тогда ничем не отличались от чехов или англосаксов. И к знаменитой апокрифической фразе князя Владимира: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти», - историк отослался с большой и понятной иронией (в отличие от В. Горбачева и его многочисленных предшественников, видевших в ней национальный рок). Дело просто. «Не можем без того быти», - произнес бы правитель любого из тогдашних европейских государств, где в почете было виноградарство и случались пирушки пошумнее киевских.

Где же мы стали вырываться вперед - где в наши исторические гены попал злополучный мутант? Если верить В. Горбачеву, «хроническое неоступное» (!) пьянство одолело нас в середине XVI века, «на гребне падающей волны духовности». Видно, что автор смотрит на историю сквозь призму публицистики сегодняшнего «Нового мира». Но при Иване Грозном с духовностью-то у нас как раз все было в порядке: опричники постарались. Вот беспристрастное свидетельство сотрудника тогдашнего ЦРУ, иезуита А. Поссевино: «Пьянство среди народа карается самым суровым образом. Законом запрещено продавать водку в харчевнях, что некоторым образом могло бы распространить пьянство. Простой народ почти никогда не отдыхает».

Понятно, что автор «Пьющей России» следует за Прыжовым: тот открыл, что первый кабак появился у нас при Иване Грозном. Но кабаком (по-татарски - постоянный двор) называли сначала заведение другого профиля - вроде как ресторан для избранной публики. Во всяком случае, первый кабак в Москве на Балчуге был устроен для попоек опричников. Неплохо гуляла эта братия - звон прошел по всей Руси, так что татарское слово быстро закрепилось и дошло до наших дней в первоначальном значении: рестораны-то у нас называют кабаками, не иначе. А истинный демократический кабак для простолюдыя, каким он вошел в русский быт в начале XVII века при Михаиле Романове (и окончил существование при последних Романовых), - это действительно особое, специфически русское заведение. Его отличительными чертами были: казенная, то есть государственная принадлежность, которую удостоверял двуглавый орел на дверях, и отсутствие холодных и горячих закусок.

По поводу последней черты стоило бы вначале поразмышлять всякому, кто бьется над загадкой российского пьянства. Разве не шокирует нас закордонная жизнь с ее непонятным и расточительным, на наш взгляд, питием алкоголя на сытый желудок? И разве не бахвалимся мы тем, что в аналогичном процессе можем обойтись символическим «запихиванием» - корочкой хлеба, рукавом и т. д.? Все это и есть, увы, наследие нашего проклятого кабацкого прошлого. Три столетия не прошли даром - за это время и проник в наши гены злополучный мутант (а если угодно: сложился поведенческий стереотип), который ставит питие на первое место, а закуску - на второе. Не верите? Почитайте повнимательнее ту же «Историю кабаков» и прислушайтесь к свидетельствам Прыжова, который писал: «В московских кабаках до сих пор (середина XIX века) нет других закусок, кроме маленького кусочка хлеба, величиной с семитку» (двухкопеечную монету - В. Е.). И прислушайтесь к воплю - иначе не скажешь - этого историка, интеллигентного человека: «Невозможно же пить водку не закусывая!»...

Впрочем, не будем сыпать соль на раны: напиться и сегодня в России гораздо легче, чем поесть. Отчасти и поэтому цифра абсолютного потребления алкоголя достигла у нас, как пишет В. Горбачев, 16-18 литров в год - небывалых размеров. И здесь вношу коспуться тех проектов, которые предлагает автор «Пьющей России» для превращения нас в умеренно потребляющих. Он покушается на святая святых российской государственности - державную монополию на продажу водки, или «вишнюю регалию», как ее называли в древности. Логика простая до наивности: раз государство заинтересовано в таком мощном источнике дохода, оно обречено на

вечную капитель с питейным вопросом, «глубже и глубже развращая и отравляя будущие поколения».

Эта логика не нова на российском горизонте. Следы ее можно отыскать и в XVII веке, в царствование благочестивого Алексея Михайловича, когда в стране произошел «постнический переворот» (остроумный термин историка И. Забелина по поводу смены названий кабаков на кружечные дворы и других мер, предпринятых по настоянию церкви), и в печальной памяти указе 1985 года (идеологическую подготовку которого, целище напомним, обеспечили воинствующие трезвенники-публицисты «Нашего современника»). Но ни Алексею Михайловичу, узаконившему тогда же крепостное право, ни Егору Кузьмичу, боравшемуся с пьянством параллельно с гопениями на «нетрудовые доходы», не приходило в голову, что они занимаются пустым и общественно вредным делом. Потому что питейной политики как таковой, взятой изолированно, вне связи с большой политикой, в природе существовать не может. И если вдруг кто-то под влиянием благородных моральных импульсов решал «раз и навсегда» покончить со злом пьянства - он наталкивался прежде всего на сопротивление матушки-природы.

Так неужели мы решимся еще на один эксперимент? Нелишне напомним, что главным аргументом при введении государственной монополии на производство и продажу водки в 1896 году была всеобщая радость от того, что из этой сферы, наконец, будет устранен частный интерес. Каким бы «буржуем» ни был по натуре автор «монопольки» С. Ю. Витте, он все-таки понимал, что у государства гораздо меньше резона спаивать свой народ, чем у частного виноторговца. Можно было бы поучиться у Витте и искусству регулирования цен на самый жизненно важный российский продукт. А то наше правительство со своим железным прагматизмом в этом вопросе скоро поставит Россию на порог стихийной самогонной «украинизации», что при отсутствии украинского сала (опять проблема закуски!) приведет к наимпечальнейшим последствиям...*

А не лучше ли вообще перестать искать в питейном вопросе альфу и омегу российских бед? О том, что пить вредно, мы знаем; о том, что «косвенное обложение отличается величайшей несправедливостью» (Ленин), - тоже. Не разумнее ли перевести эти проблемы в несколько иную плоскость, гораздо более предметную и фундаментальную? А именно в ту, которую заметил очень давно еще один проициательный иностранец. Английский дипломат Дж. Флетчер, побывавший в России во времена Бориса Годунова, писал с большим сочувствием:

«Чрезвычайные притеснения, которым подвергаются бедные простолюдины, лишают их вовсе бодрости заняться своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в большей опасности не только лишиться своего имущества, но и самой жизни. Вот почему народ (хотя вообще способный переносить всякие трудности) предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания».

Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?

НГ, 09.04.92 г.

* В начале 1992 г. отмечался рост цен на водку. Но главное, эпохальное событие этого года - Указ Б. Ельцина об отмене госмонополии на производство и продажу спиртных напитков, против которого и выступал автор. Живые (или мертвые) примеры действия этого Указа может вспомнить каждый читатель...

"Сухой закон" и революция

Склонность к макроисторическим категориям при объяснении феномена Октября (от «кризиса капитализма» до «жидомасонского заговора») безнадежно скомпрометирована. Дотошный следовательский энциклопедизм автора «Красного колеса» был бы, вероятно, более продуктивен, если бы не являлся в итоге лишь иллюстрацией давней заветной мысли самого А. И. Солженицына о Феврале: «Бушующий кабак, в восемь месяцев разваливший страну» («Наши плюралисты»). Но и эта бранная метафора вряд ли исчерпывает проблему. Представляется, что А. И. Солженицын подошел бы ближе к истине, если бы оценил события 1917-го и предшествующих лет еще и сквозь призму буквального значения слова «кабак», олицетворяющего па Руси питейное...

Зоркие свидетели тех событий оставили нам бессчетное количество фактов, когда революционная энергия масс с какой-то страшной закономерностью концентрировалась на разграблении винных складов. Гротеск штурма Зимнего символичен до последней детали: матросы добираются-таки до секретного подвала с «буржуйскими» винами и устраивают победный пир. Большевистские лидеры-аскеты сурово карали питейное мародерство, но часто были бессильны перед разгулявшейся в буквальном смысле стихией. На протяжении всей гражданской войны предметом жгучих вождлений противоборствующих сторон (классовой борьбы!) становятся то цистерны спирта на железнодорожных путях, то запасы самогонки в деревне, то притоны контрабандистов. В итоге побеждает тот, кто «железной рукой» останавливает внутреннюю деморализацию. Проще говоря - кто трезвее.

Эта схема с неизбежностью упрощает картину российской трагедии. Но разве не полезно иногда взглянуть на вещи с неожиданной стороны? В данном случае - со стороны одной из определяющих черт российского менталитета - веками укорененной склонности к крепким напиткам. Стыдливо закрывать глаза на эту черту, отрицать ее глубокое влияние на общественные катаклизмы - значит выхолащивать «человеческое, слишком человеческое» из истории. Беспрецедентная полифункциональность алкогольной проблемы (простирающаяся от тонких сфер морали и психологии до прозы государственных финансов) скрывает, как представляется, не меньше тайн, чем мадридские или петербургские дворы.

Почему же с такой жадностью ловили винный дух солдаты и матросы - основная движущая сила событий 1917-го? Неужели они были до такой степени алкоголизированы, что испытывали род перманентного похмельного синдрома? Данные тогдашней социологии не дают оснований для столь

печального вывода. Подавляющее большинство солдат - вчерашние крестьяне - относились скорее к категории умеренно или мало пьющих, но никак не пропойц.

Что же так обострило эту потребность, сделало ее пазойливо-неотвязной? Окопный голод и холод, кровь, смерть, вши, разочарование в командовании, интендантстве, царс, бессмысленность войны? Разумеется, все это, вместе взятое. Но был еще один немаловажный фактор: трехлетний вынужденный отказ от спиртного. Ведь в августе четырнадцатого (сакраментальная дата!) одновременно с объявлением войны в России был провозглашен «сухой закон» - запрещена продажа казенной водки.

Эта неслыханная дотоле мера вначале была воспринята с пониманием, так как действие ее распространялось лишь на период мобилизации. Николай II слишком хорошо помнил Ходынку, чтобы позволить гульбу многотысячных толп рекрутов. Но уже в октябре того же года, «ввиду выяснившихся благотворных последствий такой меры», как гласит документ, Совет Министров с санкции царя продлил запрет «до окончания военных действий». Народолюбивая публика млела от восторга: любимой цитатой сделалась пушкинская - о «рабстве, павшем по машию царя» (имелось в виду пьянство). Благотворные последствия находили в росте производительности труда, появлении свободных денег у крестьян, уменьшении драк и т. д. О том, что эта радужная статистика не может быть долговременной, что произошло всего-навсего сжатие и перераспределение мужицкой «энергетики» (термин Птитирима Сорокина) в условиях войны, что есть негатив, перечеркивающий позитив, мало кто задумывался. В августе 1915 года в Государственной думе на полном серьезе обсуждался законопроект «Об утверждении в России трезвости на вечные времена». «Трезвое опьянение», как сказал бы Герцен! Но ирония никогда не была в почете у энтузиастов борьбы с пьянством. 27 марта 1917 года, в одном из первых же своих постановлений, Временное правительство - желая, очевидно, перещегоолять царский кабинет по части очищения нравов - провозгласило, что в России никогда не будет продаваться водка, а госбюджет навсегда лишастся питейного дохода...

А в это время солдаты империалистической стучали зубами в окопах, ожидая хотя бы ритуальной чарки водки к престольному празднику. Водки почти не доходило - ее, как и все остальное, расхищали в пути. Защитники отечества были лишены последней, священной для них радости. А те, кто побывал в городах, могли убедиться, что громогласно объявленная всеобщая принудительная трезвость - фикция. В кафе и ресторанах рекой текло вино - под хрестоматийные апанасы и рябчиков (на виноградные вина и пиво запрет не распространялся). Созерцание этого, дополненное всевозможными слухами, не могло не вызывать у всех обделенных зависти и злобы. Когда одни страдают, а другие пьют, то есть наслаждаются - это явно не по-христиански. А для русского человека с его генетической памятью о «соборном» равенстве на пиру - вершина несправедливости. Налицо мощнейший психологический раздражитель, который без всякой «антибуржуазной» агитации толкал массы влево. Именно: в сторону уравнилельно-коммунистических тенденций, как это

показал тот же Питирим Сорокин в своей работе о голоде. Смеем дополнить почтенного автора: Октябрь со всеми его эксцессами был вызван не только физическим голодом (хлеб), но и голодом своего рода духовным, иррациональным (вино). Недаром оба эти предмета обладают сакральным значением в человеческой истории и стоят рядом даже в Библии.

Но эксперимент, затеянный в августе четырнадцатого, пролил и другой поток воды на ту же роковую мельницу. Как известно, производство «аква вита» всегда было фундаментом российских финансов. В 1913 г. по этой статье в казну поступило свыше 600 миллионов рублей, или 25 процентов всех доходов. А только один день войны стоил к началу 1917-го почти 50 миллионов (правда, девальвированных раз в пять). Восполнять прорехи бюджета было нечем: самый прибыльный и высокооборотный продукт исчез с рынка. Развал экономики, эмиссия, скорость печатного станка - с этими проблемами Россия впервые столкнулась именно тогда. Набившая обороты государственная машина вдруг стала скрипеть и ломаться - она лишилась смазки, роль которой играла «монополька».

А почему возник хлебный кризис - та «хлебная петля», как точно сформулировал автор «Красного колеса»? Все ведь началось с того, что крестьяне, лишившись водки, стали сыпать в амбары больше хлеба - на самогон. Естественная реакция здорового хозяйственного организма на барскую блажь... Самогоповарение приняло неслыханный масштаб. После войны, когда новая власть, опираясь на ЧК-ОГПУ, окунулась в это море, оказалось, что оно не имеет дна. Даже конфискация в 1923 г. около 100 тысяч (!) самогонных аппаратов ничего не дала. Сколько ушло хлеба и сахара на домашнее винокурение - никакая статистика не подсчитала. Крестьяне придерживали хлеб всю войну - наперекор продкомиссарам и реквизициям, практиковавшимся еще до Октября. Начали с отмены винной монополии - кончили введением хлебной, а затем партийной. Разве нет здесь закономерности? О побочных факторах - таких, как появление слова «денатурат» в могучем русском языке и массовые отравления, - говорить уже не приходится.

Подведем итоги. Как назвать всю эту акцию с точки зрения государственных интересов? Сравнение с бомбой замедленного действия или ядом, введенным в организм, может быть, тривиально. Но то, что эта акция приобрела подрывной, катастрофический характер, - не подлежит сомнению. Однако на германских шпионов, на большевиков или масонов ее списать невозможно. Сие есть произведение родимых осип - смесь маниловщины с угрюмбурчесвиной, мечтательности и административного восторга. По высшему эстетическому счету - один из ликов России, которую мы потеряли...

Постскриптум. Для проверки этой гипотезы можно рекомендовать опыт США: введение «сухого закона» там вызвало «Великую депрессию» (до революции дело не дошло по известным причинам). Аналогии можно отыскать также в последствиях Указа Президиума Верховного Совета бывшего СССР о борьбе с пьянством и алкоголизмом (1985 г.).

НГ, 06.11.92 г.

Автор испытал большое удовлетворение, обнаружив после этой публикации сходную мысль в дневнике французского посла в России Мориса Палолога (запись от 21 ноября 1915 года):

«...Что касается рабочих, то достаточно революционного яда, чтобы объяснить их отвращение к войне и атрофию патриотического чувства, доходящую до желания поражения. Но у безграмотных крестьян, у невежественных мужиков, не имеет ли такой упадок духа косвенную и бессознательную причину, чисто физиологическую - запрещение алкоголя? Нельзя безнаказанно менять, внезапным актом, всю систему питания народа. Злоупотребление алкоголем было, конечно, опасно для физического и нравственного здоровья мужиков; тем не менее водка входила важной составной частью в их питание, средство возбуждающее по преимуществу, средство тем более необходимое, что восстанавливающее значение их остальной пищи, которая почти всегда ниже их потребностей. При таком питании, лишенный своего обычного возбуждителя, русский народ все более и более восприимчив к подавляющим впечатлениям. Если только война долго продлится, он станет недовольным. Таким образом, великая августовская реформа 1914 года, столь великодушная по своему намерению, столь благотворная по первоначальному своему действию, кажется, обращается теперь во вред России» (М. Палолог, Царская Россия во время мировой войны. М. Международные отношения. 1991. С. С. 227-228).

Абсолютно верное понимание психологии русского мужика - по почему же только иностранцем, а не соотечественниками?!



Статъи о Варламе Шаламове

Первопроходец

Заметки о писательской судьбе

Для начала, может быть, вспомним, как все мы - исключая редких читателей Самиздата - открывали для себя Варлама Шаламова? Подростком, читая «Юность» 60-х годов, встречал иногда подборки стихов с портретом автора. Стихи, признаться, не запоминались. Кроме одной, пожалуй, строки: «Поэзия - дело седых, не мальчиков, а мужчин». Но каково согласиться с этим мальчику, поклоннику Вознесенского? Зато портрет сразу врезался в память - необычайно суровое и печальное лицо. Даже не зная, что поэт прошел Колыму, можно было догадаться: горя хлебнул...

Потом, в 70-е годы, живя в районном вологодском захолустье, поймал однажды по Би-Би-Си литературную передачу. Читали один из «Колымских рассказов». Сквозь тракторный рокот глушилок почти ничего невозможно было расслышать. Осталось только ощущение большой и жгучей правды, которую хбтят скрыть. А время было такое, что старую «Роман-газету» с «Иваном Денисовичем» приходилось прятать подальше. И Шаламов рядом с Солженицыным казался, честно говоря, чуть ли не эпигоном: тема-то одна, лагерная.

Пожив затем в Череповце и Вологде, имени Шаламова больше так и не услышал. Может, кто-то и знал о нем, о его судьбе (он еще жив был), но все молчали. Провинциальный культ «писателей - тире - земляков» тут не срабатывал. Это теперь выяснилось: знали, могли помочь. (Еще в 1964 году, на исходе «оттепели», один из московских знакомых Шаламова обращался в Вологду за помощью в издании его книги. В ответ последовало обескураживающее: «У нас тут своих много, а вы еще с каким-то Шаламовым»). Кто-то просто убоялся связей с подозрительным в глазах властей писателем. Кто-то отгородился неприятием его литературной школы, темы. Да что Вологда, откуда Шаламов уехал в 17 лет, если и в московском литературном мире 60-х он был принят «оскорбительно холодно» (цитирую одного из выступавших на вечере памяти Шаламова в ЦДЛ в 1990-м).

Только 1988-й, когда в журналах нарасхват пошли «Колымские рассказы», а «Наше наследие» опубликовало автобиографическую «Четвертую Вологду», снял завесу с судьбы писателя и открыл нам весь ее трагизм и все ее величие. Пришла пора понять и оценить скрытый смысл давних стихов Шаламова:

*Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну.*

* Статья была опубликована в журнале «Свободная мысль» № 4, 1994 г. под ужасным наукообразным названием «Норма литературы и норма бытия». Вероятно, И. А. Дедков, на имя которого посылалась статья, не был причастен ни к замене названия, ни к некоторым купюрам, которые автором восстановлены.

Отдадим должное блюстителям нашей политической невинности - закрывая доступ к свободному слову, они сделали все, чтобы мы лучше знали классику. С вершин Пушкина, Толстого, Достоевского яснее просматривалась панорама текущей подцензурной словесности - выдelsey ее мучительные попытки выйти за рамки дозволенного, ее безмолвные драмы, завуалированные компромиссы и явные соглашательства. И верилось: не может быть, чтобы у могучей и правдивой русской литературы не было в XX веке достойных наследников. Либо они еще не родились на свет, либо - погибли в безвестности, оставив где-то свои нестарающие рукописи. Или они впереди, или - позади...

Оказалось - позади. Не будем перечислять всех имен, открытых «эпохой гласности». Но в чем ее непреодолимая заслуга - так это в том, что гласность дала, наконец, возможность расставить все в иерархии литературных ценностей по своим местам. Дутые величины лопнули. Все смешалось на отечественном Парнасе...

Но не надо, наверное, спешить с формированием другой иерархии, новой лишь по перевернутому политическому критерию - «антисоветскости». Очевидно, что «Чевенгур» выше, скажем, «Поднятой целины» прежде всего по своим художественным достоинствам. Величие Платонова - в том, что он открыл новую романную форму, новую образную систему (включая неповторимый язык), которые как нельзя более адекватно отразили страшную болезнь всесветной вульгаризации коммунистических идей. Гротескные разбойничьи фигуры странствующих «полевых большевиков» оказались в итоге куда более точным символом нового времени, нежели дозированные по рецептам соцреализма образы «сознательных пролетариев». И условием этого стала, конечно, не прямолинейная «антисоветскость» Платонова (в коей писателя невозможно заподозрить, зная его наивно-искреннюю публицистику), а сохраненная вопреки всему внутренняя свобода художника, которая по природе своей внеидеологична и подчиняется только чувству правды.

«Чевенгур» упомянут здесь не ради примера. Платонов был одним из немногих писателей, кого Шаламов принимал и ценил безусловно. И это закономерно, потому что его собственная литературная работа (Шаламов не любил и не употреблял слова «творчество») состояла в столь же упорном, стоическом утверждении своей правды, в созидании художественного мира, который был бы равнозначен пережитому им на Колыме - в этой преисподней, ставшей кладбищем самых горячих надежд строителей нового мира. Сколь ни парадоксально это звучит, но «Колымские рассказы» сильны не темой как таковой, не описанием ужасов лагерного быта (об этом писали и другие), а новизной своей эстетики. Именно она вызывает катарсис, переживаемый читателями, именно она рождает ощущение громадного масштаба личности художника и силы его духа.

Эстетика с неизбежностью определялась этикой. Как писал сам Шаламов, «человек второй половины двадцатого столетия, переживший войны, революцию, пожар Хиросимы, атомную бомбу, предательство и самое главное, венчающее все, - позор Колымы и печей Освенцима... просто не может не подойти к вопросам искусства иначе, чем раньше». Отвергая какую бы то ни было «выдуманность» (по его мнению, скомпрометировавшую себя и в немалой степени виновную в трагедиях века), писатель выдвигает императив: «Собственная кровь, собственная судьба - вот требование сегодняшней литературы». Проза, по его определению, должна быть «простым и ясным изложением жизненно важного». Нельзя не увидеть здесь открыто заявленную приверженность пушкинской традиции. Об этом же свидетельствует отказ Шаламова от проповедничества, от «тенденции»: «Искусство лишено права на

проповедь», «писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи. Напротив, писатель должен быть ниже всех, меньше всех. Это и нравственное, и художественное требование».

Эти высказывания - из «литературных манифестов» Шаламова, изложенных им в письмах и эссе начала 70-х, когда он в основном уже завершил свою колымскую эпопею из полутора сот рассказов. Но несомненно, что принципы «новой прозы» писатель сформулировал для себя в самом начале работы - по освобождению из лагеря.

Зная реалии советской литературной жизни начала 50-х, трудно не оценить высоту задач, поставленных перед собой Шаламовым. В то время как в официальной литературе еще царствовал лакировочно-оптимистический роман С. Бабаевского и П. Павленко, а критика делала лишь первые попытки показать его несостоятельность, Шаламов начал писать короткие, как пощечина (его собственное определение) рассказы о жестокой юдоли миллионов, скрытых от страны и мира за колючей проволокой «великих строек коммунизма»...

Первые рассказы колымского цикла датированы, напомним, 1954-м. Это «На представку» (начинающийся с подчеркнуто пушкинского парафраза: «Играли в карты у коногона Наумова», - о том, что жизнь человека в лагере ничего не стоит), «Заклинатель змей» (об интеллигенте с чеховской фамилией Платонов, которому суждено чествовать пятки главарю блатарей), «Апостол Павел» (о том, как дети на воле отказываются от родителей - «врагов народа»)... Это был вызов литературной традиции - прошлой и настоящей, вызов времени с его жестокостью и вероломством, вызов судьбе - как шаг на Голгофу, с твердой верой в искупительность жертвы.

Писатель не мог не сознавать трагического несоответствия своих устремлений эпохе: писание «в стол» мучительно для всякого художника. Но он ни на йоту не отступал от наложенного на себя обета. В одном из писем Шаламова Б. Пастернаку (1956) есть знаменательные строки: «Вопрос «печататься - не печататься» - для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу». Писатель отвергает сам принцип приспособления к цензуре - он изначально ориентируется на правду как норму литературы и норму бытия. За этим - огромная вера Шаламова в неискоренимость абсолютных человеческих ценностей, которые рано или поздно вернутся в его страну. О каком-либо «воспарении» над действительностью, о стоянии «над схваткой» по отношению к Шаламову говорить было бы нелепо. Он в схватке участвует - по высшему духовному счету, будучи умудрен в той истине, что «искусство - бессмертие жизни» (из письма Б. Пастернаку)...

В сущности Шаламов в пору работы над «Колымскими рассказами» (в 50-60-е годы) мало соответствовал образу «писателя-подпольщика», нарисованному Солженицыным (в книге «Бодался теленок с дубом») и имевшему отчетливо политизированную окраску. Ему ближе скорее образ пушкинского Пимена, пишущего «повесть плачевную» в надежде, что его услышат грядущие поколения - с той лишь разницей, что вместо пименовского «добродушия» мы видим у Шаламова святое и праведное «озлобление».

Отшельничество Шаламова в своих глубинных основах шло от заветов бескорыстного, чуждого всякого тщеславия и гордыни подвижничества, столь характерного для российской духовной традиции. Примеров такого рода почти не встретить в современности. Не потому ли писатель остается в значительной мере непознанным и неочцененным?

Пытаясь разобраться в этом, трудно обойтись без сопоставления с другой экстраординарной литературной судьбой.

ТЕМА «ШАЛАМОВ И СОЛЖЕНИЦЫН», наверное, станет со временем предметом академического литературоведения, заняв место в одном ряду с такими огромными, необъятными темами, как «Достоевский и Толстой»... Пожалуй, еще рано делать фундаментальные, далеко идущие выводы по поводу взаимодействия этих двух писателей в сознании общества. Но и то, что открылось нам в последние годы, заслуживает хотя бы предварительного осмысления.

К сожалению, переписка Шаламова и Солженицына (опубликованная четыре года назад в журнале «Знамя») прошла у нас почти незамеченной. Между тем она дает богатейший материал для исследования «истории современности» и восстановления картины литературно-общественной жизни последних десятилетий.

Первый вывод: мы отчетливо чувствуем присутствие в литературной галактике тех лет двух звезд крупнейшей величины, их взаимное притяжение и отталкивание в соответствии с законами всемирного духовного тяготения. Они не могли не узнать о существовании друг друга и не встретиться - в силу уже более простых, земных законов, когда людей сводит общая боль. Писатели, прошедшие лагерь, были братьями - может быть, еще больше, чем писатели-фронтовики, потому что были братьями не только по крови, но и по тайне, которую несли в себе. Недаром у Солженицына вырвалось: «Я узнал в нем брата»...

Поводом к переписке послужила публикация в "Новом мире" (знаменитый ноябрьский номер 1962 года) «Одного дня Ивана Денисовича». Шаламов почти мгновенно - после того, как "две ночи не спал - читал, перечитывал повесть, вспоминал" - написал подробный отклик-разбор. Вскоре писатели встретились в редакции «Нового мира». Виделись они и позже. Во время одной из бесед Солженицын сделал весьма многозначительное признание. Передавая Шаламову свой рассказ «Для пользы дела», он сказал: «Я считаю вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано, как малодушие, приспособленчество».

«Считаю моей совестью» не могло быть ни обмолвкой, ни риторической фигурой. Солженицын недвусмысленно признал безусловный моральный авторитет Шаламова во всем, что касается правды в литературе (не только лагерной - рассказ «Для пользы дела» построен на реалиях 60-х). Фактически это означало признание за Шаламовым ведущей роли в литературном процессе (если понимать этот процесс не тривиально, как открытую публике борьбу, но как движение больших идей-ориентиров, носители которых не всегда пользуются прижизненной известностью). Во всяком случае, присутствие непечатавшегося Шаламова для Солженицына было более чем осязаемым - оно служило одним из мощных стимулов его работы, во многом определяя ее направление. Не случайно его признание Шаламову, сделанное в 1963 году: «Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой четырех, по существу, лет благополучной жизни». Речь о прозе, построенной на личных впечатлениях, - «Архипелаг ГУЛАГ», вынашивавшийся тогда Солженицыным, был явлением другого жанрового порядка).

Замечательно, что поводом к этому признанию Солженицына послужило знакомство с «Колымскими рассказами». А первоначальный импульс ему дал, вероятно, именно строгий разбор «Ивана Денисовича», сделанный Шаламовым в первом письме. На этом стоит остановиться подробнее.

Бросается в глаза противоречивость основных положений шаламовской оценки. С одной стороны, он не жалеет эпитетов, подчеркивающих достоинства «Ивана

Денисовича» («повесть - как стихи - в ней все совершенно, все целесообразно», «очень умна, очень талантлива», «все достоверно»). С другой - высказывает резкие замечания, ставящие под сомнение ни больше ни меньше, как правдивость повести (легендарное: «Около санчасти ходит кот - невероятно для настоящего лагеря - кот давно бы съели»; «Блатарей в вашем лагере нет!.. Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время»).

Шаламов увидел в авторе «Ивана Денисовича» большого художника и совершенно искренне - тут сомнений нет - порадовался за него. Он отчетливо сознавал, что личный опыт автора ограничен «легким» лагерем, и это само по себе служит оправданием суженности горизонтов правды в повести. В шаламовском разборе, заметим, нет и намека на то, что эта суженность могла иметь какие-либо иные причины, связанные с приспособлением к цензуре или желанием угодить вкусам «верхнего мужаика Твардовского и верховного мужаика Хрущева» (как откровенно писал сам Солженицын в «Теленке»). Шаламов принял повесть со всем присущим ему великодушием - как пример «честного решения вопросов». И его замечания продиктованы не обидой или ревностью, как могло показаться.

Шаламов не просто указывает на существование иного, несравненно более мрачного лагерного мира, оставшегося за рамками повести. Речь идет, в сущности, об ином уровне правды - правды без границ, без условностей, правды абсолютов. Той правды, которой, по убеждению Шаламова, требует «так называемая лагерная тема». Позднее он пояснит: «Это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно». Вряд ли Шаламов нарочито умаляет масштаб таланта Солженицына: таков, по его мнению, реальный уровень «Ивана Денисовича» на фоне русской литературы. Нет сомнения, что Шаламов имел моральное право достаточно сдержанно оценивать то, что многими из нас было воспринято как открытие и откровение. Десятки написанных к тому времени рассказов колымского цикла носят совершенно другой характер. В сущности, они совсем о **другом**, нежели «Иван Денисович».

Еще один примечательный момент. В том же письме Шаламов обращается к Солженицыну с просьбой: «Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял», - Шаламов тоже предлагал свои рассказы «Новому миру», возможно, даже раньше, чем попал туда «Иван Денисович». К сожалению, история эта специально не исследовалась, не ясно, кто из замов Твардовского придержал рассказы Шаламова, кто был автором внутренней рецензии (гласившей, что в рассказах «нет даже трудового пафоса «Ивана Денисовича»). Из книги «Бодался теленок с дубом» мы знаем, что стихи Шаламова были все же показаны Твардовскому, и он их отверг. Но Солженицын, к сожалению, не пишет, показывал ли он Твардовскому лично те рассказы, которые получал от Шаламова. Это было бы логично после его восхищенных отзывов о них. Это был еще один шанс - если не пробить публикацию «Колымских рассказов», то по крайней мере ввести их в «высший свет» литературы (и устный отзыв Твардовского, мы знаем, ценился очень дорого).

Уже из этих подробностей ощутим драматизм литературной судьбы Шаламова. Но понять всю глубину драмы можно, только обратившись к рассказам, созданным одновременно с повестью Солженицына или раньше нее. Возьмем для сравнения три вещи, помеченные 1959-м - годом, когда Солженицын, по его признанию в «Теленке», сделал «облегченный» вариант своего рассказа «Щ-854», ставший

повестью об Иване Денисовиче Шухове. А Шаламов в числе прочего написал тогда «Тифозный карантин», «Последний бой майора Пугачева» и «Берды Онже».

Первый рассказ - хроника «доплывания» колымского ээка Андреева в пакагузе на тысячу человек, вместилище «живого товара», «арестантского шлага, который выбрасывали прииски». Здесь все называется своими именами - «товар», «шлак», «злость начальства», «кровь и гной язв» и самое важное - чувства Андреева, ищущего спасения: «Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход...». Начисто отсутствует все, что хоть малейше напоминало бы о «художественном приеме». Это подлинно нагая проза, где дыхание автора нераздельно слито с дыханием обреченного героя. Даже если не знать, что рассказ автобиографичен (Андреев, Крист, Голубев в «Колымских рассказах» заменяют авторское «я» там, где оно явно неуместно), нетрудно почувствовать: это пережито лично. Никакого подтекста - только текст, прямой, оглушающий, вопиющий об одном - о неслыханном надругательстве над человеком, превращающимся в животное и сознающим это. Андреева спасает не вера, не надежда, не любовь и даже не злоба, а первобытный инстинкт самосохранения, заставляющий вовсе забыть о ближнем. Андреев ведь остается жить лишь благодаря обману - вместо него, прячущегося, на прииск, на верную смерть, отправлен кто-то другой. Сам он об этом даже не задумывается, но мы понимаем, что морали там места не было: «человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака».

В «Тифозном карантине», пожалуй, концентрированнее всего реализовалась одна из задач «новой прозы», как определял ее сам писатель, - «фиксация редких состояний души», «изображение новых психологических закономерностей в поведении человека, людей (остаются ли они людьми? где граница между человеком и животным?)». То, что эта граница зыбка, - опасно зыбка - и было главным художественным открытием Шаламова. «Венец творения» низведен с пьедестала; перо писателя, словно патологоанатомический нож, вскрыло его внутреннюю сущность, напомнив, что «человек слаб, а искушение велико». Это был вызов Шаламова всей предшествующей традиции морализма и одновременно - его ответ на самые мучительные вопросы времени. Окрашенное пессимизмом мировоззрение Шаламова, заставляя вспомнить предупреждения Достоевского о скрытых низменных свойствах человеческой «натуры», дополняло их печальным уроком XX века: будить эти низменные свойства - наитягчайшее из преступлений, на которые способно общество и государство*...

Как бы был воспринят «Тифозный карантин», будь он опубликован тогда? Вопрос гипотетический: ни один журнал, конечно, не смог бы напечатать рассказ - даже после стыдливых вычерков фраз типа «обманула страна». «Советский человек не может

* Шаламов в художественной форме воплотил то, что было зафиксировано психиатрической наукой. Ученик Фрейда Б. Беттельхайм (бывший узником Дахау и Бухенвальда), анализируя поведение заключенных в лагерях смерти, пришел к тем же выводам: «Лагерь был учебным полем превращения свободных и честных людей не просто в хнычущих рабов, но рабов, усвоивших во многом ценности своих хозяев». Слабый человек в лагере вел себя по принципу: «Здесь разрешено все, что помогает мне выжить» (см. Б. Беттельхайм. Индивидуальное и массовое поведение в крайних ситуациях. - «Дружба народов», 1992, № 11-12; см. также реферат его книги «Просвещенное сердце» в журнале «Знание - сила», 1988, № 3, стр. 73-79).

превратиться в животное! Автор клеветает на советского человека!» - такими были бы, пожалуй, самые расхожие отзывы. И в пример приводили бы, наверное, повесть Солженицына. В. Лакшин, автор самой беспристрастной статьи об «Иване Денисовиче», писал тогда: «Первое впечатление, которое мы испытали, начавши читать повесть, было: и там люди живут. И там работают, радуются малым радостям, надеются». А каких бы вин не возвели на голову Шаламова те критики, кто упрекал Солженицына в том, что его герой «никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам»? Слишком непривычной была правда Шаламова - слишком головокружительные высоты он взял, поднявшись над всеми правилами тогдашней литературной жизни (а точнее - игры в литературу).

Или «Последний бой майора Пугачева»? Рассказ о победе из лагеря, проникнутый открытым восхищением беглецами, - такое не укладывалось ни в какие каноны даже оттепельной словесности. Это было по сути покушение на незыблемый догмат общественной идеологии: человек, несправедливо осужденный в сталинскую эпоху, должен был верить в справедливость и, ожидая ее, строго повиноваться единому для всех порядку. Подпольная партячейка со штудированием Маркса - пожалуйста, вооруженное выступление - никак нет. Такой формы «сопротивления трагическим обстоятельствам» не принял бы ни один присяжный критик. Надо ли говорить, что Иван Денисович Шухов с его не раз заклеянным «непротивленчеством» - прямой антипод майора Пугачева и его друзей? Явно не способен предпочесть свободную смерть унижению и самый страстный протестант у Солженицына - кавторанг Буйновский. Тема свободы в «Иване Денисовиче» вообще осталась незатронутой. Заметим, что в киносценарии «Знают истину танки» (о Кенгирском восстании), написанном в 1959 году, Солженицын ее коснется. Но приоритет художественного воплощения темы сопротивления тоталитарному режиму принадлежит все же Шаламову: сила обобщения, заключенная в «Пугачеве», с очевидностью перевешивает нарочитую «монтажность» солженицынского сценария. Кстати, и «Пугачев» ведь удивительно кинематографичен: он весь держится динамикой захватывающего действия. Фактически это готовый сценарий - при том, что Шаламов не ставил перед собой формальных задач и подчинялся органике сюжета...

Заслуживает внимания и рассказ «Берды Онже» - но уже не с «Иваном Денисовичем», а с известным рассказом Солженицына «Случай на станции Кречетовка» (увидевшим свет в «Новом мире» в 1963 году). Мы имеем редкую возможность оценить, как по-разному подошли два писателя к исходному жизненному материалу. Материал этот - жизнь железнодорожной станции в годы войны. В том и другом случае реальную основу составляют факты мрачно-анекдотического характера. У Солженицына - как арестован старый интеллигент, по рассеянности назвавший Сталинград Царицыном. У Шаламова - как взамен потерянного заключенного конвоиры посадили в тюремный вагон первого попавшегося на базаре, не говорящего по-русски туркмена.

Что может быть здесь сопоставимо? Мера абсурдности? Она, пожалуй, одинакова. Очевидно, что у Солженицына акцент падает на разоблачение всеобщей «бдительности», которую олицетворяет молоденький лейтенант - дежурный. Тема важная, но все-таки не новая для 60-х годов. И герой, забывший, что известный город давно, с 1925 года носит имя отца народов, не очень типичен для времен войны. Сожаление - пожалуй, единственное чувство, которое вызывает его незадачливость.

У Шаламова вывернут пласт куда более глубокий. Во-первых, в самом начале рассказа заявлена откровенная аналогия с тыняновским «Подпоручиком Кижее»:

смотрите, сравнивайте эпохи и империи - ничего не изменилось. Во-вторых, впервые (и единственный раз, кажется, до сего времени) с такой беспощадностью обнажена изнанка «нерушимой дружбы народов». Произвол вершится над «нацменом» только потому, что он не говорит по-русски и потому беззащитен.

Шаламов не делает акцента на таких деталях, он вообще не любит педалировать, но оттого и потрясает будничность происшедшего. В том же спокойном, как бы отстраненном тоне описана встреча с несчастным Берды Онже на Колыме. Открытое свидетельское «я» («я встретил его в больнице») придает рассказу ту достоверность, от которой веет подлинной трагедией.

Наконец, самое, может быть, красноречивое в этом сопоставлении: рассказ Шаламова занимает всего 4 страницы, в то время как рассказ Солженицына - целых 50! Перечитывая «Кречетовку» сегодня, отчетливо видишь, что рассказ неоправданно затянут и «разжижен» ненужными подробностями. Если признать краткость и точность высшим достоинством прозы (как считал Пушкин), то вывод напрашивается сам собой...

У «Колымских рассказов», повторим, не было тогда реальных шансов увидеть свет. Не только критики, но и большинство «рядовых» читателей, наверное, осудили бы Шаламова - за «отсутствие светлого», за «искажение (очернение) действительности» и в конце концов за «антисоветскую направленность произведений». Такова была массовая нормативная эстетика - порождение тоталитарной идеологии. Отказавшись принять ее условия, Шаламов обрек себя на долгое непонимание, инерция которого действует и до сих пор.

Судьба Солженицына в этом отношении куда счастливее: публикацией «Ивана Денисовича», при всех ее перипетиях, он завоевал широкое общественное признание. Именно этот плацдарм позволил ему впоследствии утвердить себя в качестве одного из крупнейших писателей современности и бесспорного (если не безраздельного - по крайней мере в свое время) «владельца дум». Даже после запрещения его произведений, изданных в СССР, они продолжали оставаться в сознании читателей как века истории литературы и одно из высших ее достижений. Но именно Шаламову, а не кому-либо другому, принадлежит роль первооткрывателя лагерной темы; художественный уровень «Колымских рассказов» не имеет аналогов среди подобной литературы.

НЕ ОБ УМАЛЕНИИ ЗАСЛУГ Солженицына, разумеется, речь. Продемонстрированное им «искусство возможного» в условиях жестокой цензуры внесло неоценимый вклад в гражданское воспитание нескольких поколений читателей. Получив поддержку в мировом общественном мнении, Солженицын с открытым забралом выступил против тоталитарного строя и как мало кто другой способствовал крушению его догматов.

Установка на непосредственную действенность литературы, столь присущая Солженицыну, безусловно была оправдана исторически - она отразила живые общественные потребности. Его роль в этом отношении вполне сопоставима с ролью Герцена-эмигранта в российской жизни середины XIX века. Напомним и о работе Солженицына по созданию целых книжных серий - «Всероссийская мемуарная библиотека», «Исследования по новейшей русской истории», - тоже напоминающей о Герцене - издателе воспоминаний и свидетельств других. Все это влечет за собой и другую параллель - с Герценом-идеологом и Герценом-утопистом. (Такое сравнение, конечно, касается сугубо внешнего характера деятельности, но не личностей или идей каждого; Герцен, например, никогда не был моралистом.) Но обе эти ипостаси и у

Солженицына выражены необычайно ярко - более того, они часто заслоняют в наших представлениях его как художника. Мы видим здесь, собственно, классическую российскую коллизию «поэта» и «гражданина» - во всех ее достоинствах и во всей ее уязвимости...

Очевидный перевес «гражданского», то есть идеологического начала ярче всего сказался в «Архипелаге ГУЛАГ» - книге страстной, пронизанной праведным гневом, но при этом подчиненной жестко запрограммированной идее. Сравнение ее с «Колымскими рассказами» в плане художественно-эстетическом было бы, пожалуй, некорректным - метод «художественного исследования», заявленный Солженицыным, имеет абсолютно иную жанровую природу, нежели проза Шаламова. Тем не менее попытки сравнить эти произведения предпринимались, и на них стоит остановиться. П. Паламарчук в своем известном «Путеводителе» называет колымскую эпопею Шаламова не иначе, как «трагедией без катарсиса». Противопоставляя ее «Архипелагу», который, по его словам, являет собой «образ восстания», он пишет об «образе падения», «безвыходной бездне человеческого падения» как доминанте «Колымских рассказов». Ту же мысль о «безвыходности» повторяют и другие критики - например, В. Френкель в своей статье «В круге последнем» («Даугава», 1990, № 4), обвинявший Шаламова еще и в том, что тот «не сумел, да и не хотел (! - В. Е.) найти выход из безвременья последнего круга - в живую жизнь». «Точку опоры можно обрести только в истории», - утверждает критик, прямо апеллируя к опыту романов Солженицына.

Нетрудно заметить в этих оценках вариации пресловутой «нормативности», весьма близкие подходам советской критики 50-60-х. И фразеология очень похожа: «мало светлого, оптимистического». Только вместо «коммунистического» подразумевается, естественно, «антикоммунистического». Вовсе не берется во внимание принципиальная новизна «Колымских рассказов», состоящая как раз в их внеидеологичности. Писатель рассматривается в русле все той же традиции «гражданственности», которую сам он категорически и настойчиво отвергал.

В художественной ткани «Колымских рассказов» и в самом деле нет ничего, что походило бы на прямое публицистическое обличение режима. Хотя кровавая роль Сталина Шаламову была более чем понятна, он не сковывает себя какой-либо рационалистической концепцией. Писатель предоставляет читателю право самому задуматься над судьбами тех, кто был рядом с ним на Колыме. И эти живые судьбы «мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями» - отраженные без всякой дистанции отчужденности, через личное соприкосновение и сопереживание - подводят нас к трагедии времени ближе, нежели энциклопедический труд Солженицына, написанный на заданную себе предварительно тему.

Мы не знаем точно всех мотивов отказа Шаламова от предложения Солженицына совместно работать над «Архипелагом»*. Но сам отказ весьма знаменателен. И, как представляется, едва ли не решающую роль здесь сыграли эстетические расхождения. Шаламову вовсе не свойственны «картотечная» систематика и исторический теоретизм, лежавшие в основе метода, избранного Солженицыным.

Трудно сказать, насколько глубоко был посвящен Шаламов в замысел «Архипелага» и его концепцию, но несомненно, что прямолинейно-публицистический пафос Солженицына - пафос доктринального антикоммунизма - чужд художественному миру «Колымских рассказов», построенных сугубо на личном опыте и составивших столь цельное и самостоятельное явление литературы.

* Об этих мотивах рассказал недавно сам Солженицын. См. "Новый мир", 1999, № 4. См. также статью "Секрет истины" в настоящем разделе.

Вопрос о мировоззренческих расхождениях двух писателей, очевидно глубоких и принципиальных, мы оставляем за рамками статьи. Но трудно не коснуться одного показательного момента. Можно ли, например, вообразить, чтобы на страницах «Архипелага ГУЛАГ» появились следующие строки?

«Все умерли...

Умер Николай Казимирович Барбэ, один из организаторов Российского комсомола, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, расстрелян за невыполнение плана участком...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова, с ними мы пилили дрова в ночной смене на прииске...

Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, добрый человек...

Умер Иван Яковлевич Федяхин, философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза...

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы...»

Рассказ Шаламова «Надгробное слово», строки из которого приведены, написан в 1960 году. О нем, как и о других рассказах подобного рода, неизменно забывают те, кто пишет о «трагедии без катарсиса», о «нежелании» Шаламова «выйти в живую жизнь» и т. д. Но ведь именно эти полузабытые, безыменные мученики - миллионы уничтоженных режимом - и составляли для писателя «живую жизнь», живые силы России и залог ее возможного здорового саморазвития. Они - те, кто подпадают у Солженицына под категорию лагерных «придурков» или «благонамеренных» - представляли, без сомнения, куда более сложное и трагичное явление...

Скорбная, реквиемная интонация «Надгробного слова» - камертон всей колымской прозы Шаламова. Разве можно уловить здесь хоть ноту укора? Сама мысль о разделении людей на «чистых» и «нечистых» по идеологическому признаку для писателя кощунственна. Все, кто искренне верил в справедливость начал новой жизни и, став жертвой вероломного террора, сохранил в себе человеческое, в его глазах заслуживают **только сострадания**. В этой теплоте понимания, не отягощенной никакими пристрастиями, - высокая нравственная правда Шаламова.

Надо ли говорить, что эта правда - конструктивна, что она зовет не к поиску «врагов» (в прошлом и настоящем), не к новому расколу общества и бесконечной конфронтации, а к осознанию подлинной трагедийности исторического пути России в XX веке. Такое осознание исключает простые и однозначные трактовки пройденного за 75 лет - оставляя пространство для раздумий не только о «перстах Авроры», но и о реалиях 20-х годов, когда **рынок** еще имел куда большее значение, чем **лагерь**; не только о злодеях-большевиках, но и о могуществе таких факторов, как голод, войны, человеческие страсти и человеческие заблуждения.

Происходящее ныне на «постсоветском» пространстве ставит под большое сомнение жизнестойкость идеологии, построенной на отрицании ценностей, укоренившихся в российской культуре. Не пора ли отдать должное Шаламову?

Традиции русского Сопротивления

Термин «Сопротивление» по отношению к России звучит непривычно. Мы знаем французское, итальянское, югославское Сопротивление, связанное с противостоянием фашизму в годы второй мировой войны. Шаламов одним из первых вводит это слово в российский исторический контекст, и оно обретает неожиданно глубокое и емкое звучание. В «Четвертой Вологде» он пишет о многих деятелях Сопротивления, на протяжении столетий соприкасавшихся с вологодской пересылкой - «от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до Луначарского». Судя по именам, для Шаламова понятие «Сопротивление» - шире, чем освободительное (или революционное) движение, оно включает в себя не только разные формы политического протеста, но и протеста духовного (Аввакум) и даже глубоко интимного, возникающего в сфере любви и семьи (Наталья Долгорукая). Отчетливо видно, что объект этого протеста - не просто «самодержавие», а многогранная «парадигма российской несвободы», которая имеет тысячелетнюю историю и преодолевать которую мы начинаем лишь сейчас, на пороге XXI столетия...

Мрачный афоризм Шаламова: «Русская интеллигенция без тюремного опыта - не вполне русская интеллигенция» отразил - на новом историческом витке - старую закономерность, отмеченную еще Герценом: «В самые худшие времена европейской истории Спинозу не посылали на поселение, Лессинга не секли или не отдавали в солдаты». Шаламов самым осязаемым образом прочувствовал это еще в детстве: город, где он рос, был переполнен политическими ссыльными. Хотя вологодская ссылка - сравнительно легкая («подстоличная Сибирь», по Шаламову - «Барбизон»), люди попадали сюда не по своей воле, а по воле полицейской-государственной машины, и этого достаточно, чтобы заставить задуматься, почему так происходит.

Разумеется, юный Шаламов был слишком мал, чтобы приобщиться к миру ссыльных, но он хорошо запомнил то, что они привнесли в тогдашнюю вологодскую жизнь - особый климат, нравственный и культурный, повышенные требования «к личному поведению». Безусловная симпатия к ним подпитывалась обстановкой в семье. Отец, несмотря на свой священнический сан, поддерживал знакомство с некоторыми из ссыльных, принимал их у себя дома. В целом во взглядах отца Шаламова легко обнаруживаются черты либеральной российской интеллигенции: сочувствие к «меньшему брату», крестьянству, - вплоть до одобрения правоэсеровской программы Питирима Сорокина, установка на просветительство, отвращение к черносотенству. Отец с энтузиазмом принял Февральскую революцию и в дальнейшем не высказывал

* Ранее статья печаталась в «Шаламовском сборнике», вып. 1. Вологда. 1994.

сожаления по царскому режиму, что также соответствовало массовым настроениям интеллигенции.

Шаламов унаследовал лишь часть этих черт - его созревание пришлось на куда более бурную и сложную эпоху 20-х годов - эпоху, как он сам писал, «зарождения всех благоденствий и всех преступлений будущего». Тем не менее он успел впитать в себя многое из «старой эпохи», которая по инерции продолжала воздействовать на умы и сердца поколения, родившегося за десять лет до революции. Эта тонкая грань чрезвычайно важна для понимания судьбы Шаламова и особенностей его мировосприятия. Недаром свое приобщение к миру русской революции - миру Сопротивления - он связывает с отнюдь не хрестоматийной (для коммунистического ликбеза) книгой - «То, чего не было» В. Ропшина (Б. Савинкова). Как и «Конь бледный», эта книга принадлежит скорее к нежелательной для новой эпохи литературе, а имя Савинкова после Октября 1917-го напрямую ассоциируется с контрреволюцией...

Чем же привлек провинциального подростка, сменившего гимназию на «единую трудовую школу», роман Ропшина, который сам он не считал литературным шедевром? Ответ на это дан в «Четвертой Вологде»: «Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дожидаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уроне, который создают такие книги».

Нет никакого сомнения, что мы видим здесь нечто большее, чем романтическое увлечение «подпольем». Речь идет о традиции, имеющей глубокие корни в русском самосознании. Можно смело утверждать, что в раннем Шаламове - и необычайно ярко! - проявились черты того типа «русского мальчишка», который описал Достоевский (в характеристике Алеши Карамазова): «Это был юноша... честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всю силою души своей, требующей скорого подвига, даже жизнью». Исторически этот тип принадлежал XIX веку, эпохе народничества, однако, начало XX века возродило его - в лучших представителях партии социалистов-революционеров. Они и становятся любимыми героями Шаламова, его идеалом до конца жизни.

Подчеркнем: это - нравственный, этический идеал. К идеологии эсеров - народнической, берущей начало от Герцена и Чернышевского - Шаламов никогда не апеллирует. Его привлекает практическая этика революционеров: принцип «соответствия слова и дела» как императив. Этот принцип в глазах Шаламова - первооснова нравственной жизни. («Что говоришь - делай» - так меня учили жить. Так я учил жить других»). Непреклонность, с которой он исповедует это правило, почти религиозна, и это снова заставляет задуматься о мощной национальной традиции. Несомненно, что первые уроки жизни сказались в будущей писательской судьбе Шаламова - в его стойкой убежденности, что право на слово должно быть выстрадано «собственной судьбой, собственной кровью»...

Трудно сказать, прочел ли тогда Шаламов знаменитый сборник «Вехи» (1909 г.), но можно с уверенностью говорить, что пафос «Вех» - с призывом интеллигенции к покаянию, к религиозному смирению - ему был чужд. Все его юношеское сознание - против смирения и за правоту тех, кто умер на виселицах и в тюрьмах. И это тоже составляло дух времени, вне зависимости от позднейших коррекций. Напомним, что многие «веховцы» приветствовали Февральскую революцию и, таким образом,

волей-неволей отдавали дань признательности своим идейным оппонентам - участникам освободительной борьбы*.

В любом случае ориентация Шаламова на сохранение связей с революционными традициями в России - а не на «веховский» разрыв с ними (пронесенная с молодости до конца дней) - чрезвычайно знаменательна. На его примере мы видим, сколь естественен и органичен был для мыслящей молодежи тех лет путь приобщения к этим традициям. И нет никакого парадокса в том, что именно через увлечение эсерами и народовольцами Шаламов - подобно многим своим сверстникам - пришел к осознанию исторической неизбежности перемен, принесенных Октябрем, - перемен жестоких, удручающих для него самого и его семьи, но все-таки много обещавших в будущем. Но здесь же был и исток его обостренных отношений с новой властью - отношений, приведших к первому аресту в 1929 году.

В воспоминаниях Шаламова о 20-х годах есть одна примечательная фраза: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни». Печальная ирония этой мысли, наверное, лучше всего передает противоречия, одолевшие его - да и его ли одного! - тогда. С одной стороны, став студентом Московского университета, он не мог не видеть действительных благодеяний, которые принес нэп. («Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 1917-й год», (т. е. Февраль - В. Е.), - это свидетельство Шаламова-очевидца о 1924 году** имеет особую цену). С другой - он ощущал, что «штурм неба» - коммунистический утопизм, становившийся все более воинственным и догматическим - таит в себе зачаток новых катаклизмов и преступлений. Шаламов отмечает, что таких, как он, «опоздавших к штурму неба», в тогдашней Москве было немало. И вполне закономерно, что именно из них, его сверстников-студентов, не затронутых ожесточением гражданской войны, воспринявших революцию в духе старых «заветов» русской интеллигенции - как условие гуманистического обновления жизни - составилось вскоре новое Сопrotивление в русской революции...

«Активно участвовал в событиях 1927, 1928, 1929 годов на стороне оппозиции». За этой строкой «Краткого жизнеописания» Шаламова - целый пласт его биографии, к сожалению, пока не исследованный. Мы не знаем только, что в феврале 1929 г., в возрасте 21 года, он был арестован ОГПУ за распространение «Завещания» Ленина («Письмо к съезду») и арест произошел в подпольной типографии МГУ. Даже этих кратких деталей достаточно, чтобы понять, что это было по существу воплощение старой революционной практики в новых (советских) условиях. Причем, как представляется, дело не исчерпывалось изготовлением листовок со скрытым от народа и запрещенным текстом Ленина. Весьма многозначительна шаламовская характеристика своих друзей-оппозиционеров: «Те, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь (выделено мною - В. Е.), сдержат тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина». И еще: «Оппозиционеры - единственные в России люди, которые пытались организовать сопротивление этому носорогу...»

Есть основания полагать, что при столь откровенной ненависти к Сталину, восприятию его как нового деспота-самодержца среди молодых оппозиционеров заходила речь и о радикальном способе «решения вопроса» в духе «Народной воли».

* Ср. отзыв П. Струве о Феврале: «Историческое чудо, которое прожгло, очистило и просветило нас самих». (Цит. по: Знаменский О. Интеллигенция накануне Великого Октября. - М.: Наука. 1988. С. 101).

** Знамя. № 4. 1993. С. 115.

Недаром Шаламов пишет о готовности «отдать жизнь». И недаром, оказавшись после ареста в Бутырской тюрьме, он открыто восхищается тем методом, о котором рассказывает старый политкаторжанин эсер Андреев: «Раз - квас!» (рассказ «Лучшая похвала»)*

Как бы то ни было, молодой Шаламов оказался на самом острие общественной борьбы 20-х годов, и это глубоко символично. Иной путь, при его взглядах, труднопредставим. Это был смелый и благородный порыв. Поздняя самооценка - «конечно, я был слепым щенком тогда» - тут мало что меняет. Объективно рассматривая ситуацию тех лет, нельзя не признать, что шансы противников Сталина были весьма невелики. Но тем не менее они существовали - даже в рамках внутрипартийной оппозиции. Формально никак не связанной с большевистской партией (даже не комсомолец), далекий от политической «кухни», Шаламов был волонтером, «вольным стрелком» в этой борьбе. Но на деле он выступал союзником всех здоровых сил в ВКП(б), преодолевших болезнь левизны и учившихся - на ходу! - отделять реальное от утопии в коммунистической доктрине**.

Пример Шаламова лишний раз подтверждает силу антисталинского вектора общественного сознания 20-х годов. Выражая чаяния нового поколения русской интеллигенции, он в то же время олицетворял - по большому счету - чаяния всего народа, по крайней мере, его основной массы: «Никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть - одно и то же» («Вишерский антироман»)...

Сторонники теории «непрерывности», т. е. отождествления большевизма и сталинизма, найдут в лице Шаламова весьма крепкий орешек. Его симпатии к 20-м годам, при понимании их противоречивости, - устойчивы и неизменны.***

Его уклонение от однозначных оценок Ленина свидетельствует об известном целомудрии, которое свойственно опять же людям 20-х годов. Тот факт, что Шаламов участвовал в распространении «Завещания», конечно, не следует относить к безраздельной апологии Ленина. Однако, социальная тенденция позднего Ленина, реализованная в нпзе, в «свободе», хотя и относительной, - была ему близка и в молодости, и на склоне лет. Необходимо помнить, что это взгляд человека, собственной кожей испытывавшего жестокий контраст двух миров - середины 20-х годов и 1937 года. Еще более важно помнить, что Шаламов выступал от имени миллионов расстрелянных и замученных при Сталине - миллионов, составлявших цвет обновленной России и гарант ее возможного здорового саморазвития...

* Такие настроения были распространены в разных слоях оппозиции. О своей готовности стать «советским Брутом» заявлял, например, в том же 1929 г. слушатель Коммунистической академии (!). И Сорокин (см. Авторханов А., Технология власти - Вопросы истории. №№ 9, 10. 1991. С. 93). Сталинская боязнь покушения имела серьезную почву. Напомним, что свой запрет на разработку темы народничества в 30-е годы «вождь народов» мотивировал следующим образом: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов»... («История и историки». - М.: Наука, 1965. С. 257).

** По казуистической логике следствия ОГПУ Шаламов был отнесен к «троцкистам». Сам он подчеркивал, что «к Троцкому большинство оппозиционеров относились без большой симпатии» («Краткое жизнеописание»). Объективно Шаламов стоял ближе к «правой» (бухаринской) оппозиции.

*** Судя по воспоминаниям Р. Орловой и Л. Копелева, Шаламов после лагеря в личных встречах тепло отзывался о 20-х годах - «преображался, становился добрым, доверчивым, веселым, рассказывая о вечерах Маяковского и других поэтов». Однако, вывод авторов о «расколоте» сознания писателя («светлый мир 20-х годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны»), - слишком произволен. См.: Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956 - 1980. - М. Книга. 1990. С. 58, 64.

Живая причастность к борьбе против Сталина сыграла огромную роль в его жизни. Она дала ему право на самоуважение - на то, чтобы считать себя продолжателем традиций революционеров прошлого. (Он сделал все, что мог в обстоятельствах своего времени!). Она закалила его нравственно и скрепила основы мировоззрения. Она, наконец, дала ему впоследствии неоспоримое моральное право - как писателю - сурово судить систему, порожденную Сталиным и оставившую невытравимые метастазы в обществе, с которым Шаламов столкнулся по возвращении с Колымы.



Шаламов всегда делил свою жизнь на две «классические», по его словам, части - занятие литературой, искусством и участие в «общественных сражениях». Казалось бы, в послелагерный период вторая часть целиком вытесняется первой: «Мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь - стихи и рассказы» (автобиография «Несколько моих жизней»). Но литературная работа для него не могла не быть сражением. Это было высокое духовное Соппротивление - сопротивление времени, лжи и насилию, равнодушию и беспамятовости, литературной рутине.

Шаламов называл свои «Колымские рассказы» «пощечинами сталинизму». Но это указывает лишь на ближние, жгуче эмоциональные цели его работы. Сверхзадача рассказов - не только и не столько обличение. Глубже всего писателя волнуют проблемы онтологического зла, разлитого в человеческом обществе и в самых обнаженных формах проявившегося в лагерном бытии («лагерь мироподобен»; «лагерная тема в широком ее толковании - основной, главный вопрос наших дней»). Он ищет ответы на самый мучительный вопрос XX века - «как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе, прийти при первом же успехе к Освенциму, к Колыме...»

Восстанавливая сегодня картину общественного сознания в послесталинский период (от «оттепели» к «застоя»), трудно не восхищаться мужеством Шаламова, его стоицизмом художника. Нравственная позиция писателя безупречна - заявил еще в 1956 г. (в письме Б. Л. Пастернаку): «Вопро» печататься - не печататься для меня вопрос важный, но не первостепенный» - он не идет ни на какие компромиссы с совестью, отвергая приспособление к цензуре и предпочитая писать «в стол». Во всем этом отчетливо видна верность юношеским клятвам и правилам, выработанным в лагере (одно из них - «я не должен ничего и никого бояться», другое - «я не должен искать ничьей помощи»). Новые испытания он встречает со спокойным достоинством художника, знающего себе цену и убежденного в том, что «искусство - бессмертие жизни».

Взгляды Шаламова на протяжении 50 - 70-х годов не остаются неизменными - они углубляются, обогащаются новым опытом, но при этом сохраняют многие черты ментальности 20-х годов, ментальности русского интеллигента. Чрезвычайно показательно в этом плане его признание в письме к Н. Я. Мандельштам: «Утрачена связь времен, связь культур - преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити» (1965 г.). Эта установка близка духу «шестидесятничества» - устремлениям так называемой либеральной советской интеллигенции, но Шаламова отличает от нее глубинное, основанное на лагерном опыте, осознание фундаментальных природно-человеческих причин катастрофического исхода революции. Эти причины он видит прежде всего в могуществе «темных сил», «зверских инстинктов», «зверских народных страстей», которые «утверждают свою вечность, прячась, маскируясь до нового взрыва» («Четвертая Вологда»). Для Шаламова несомненно,

что эти черты народа возвращены многовековым унижением, всем укладом старой российской жизни (ср. стихотворение из «Колымских тетрадей»: «Она еще жива, Расея, опаснейшая из Горгон»). Шаламов хорошо понимает, что большевики первого призыва во главе с Лениным немало повинны в развязывании этих темных, «стяжательских», по его словам, инстинктов. Но, по его устойчивой «нэповской» логике, именно сталинская иезуитская манипуляция этими инстинктами, вновь взятая на вооружение после тяжелых, осознанных уроков гражданской войны и прикрытая демагогическими лозунгами, - привела к уничтожению лучших сил страны и утрате «связи времен»...

Писатель последовательно и настойчиво защищает русскую интеллигенцию, в том числе революционную, от тех нападков, которым она подвергалась и подвергается. «Ненависть к интеллигенции, к превосходству интеллигенции» он считает «самым большим грехом» эпохи (то же письмо Н. Я. Мандельштам). Отчетливо обнаруживаемое здесь расхождение Шаламова с новой волной «веховских» настроений в России (ярким представителем которых становится А. И. Солженицын) делает для него неприемлемым и доктринальный антикоммунизм, который не считается ни с историческими реалиями, ни с живой духовной традицией, которую воплощает тонкий слой тех, кто сопротивлялся и сопротивляется тоталитарному режиму. Шаламов избегает примитивных политических терминов для обозначения строя общества, достойного России («социализм», «капитализм»), но для него несомненно, что это должно быть свободное общество, нейтрализующее «зверские инстинкты». Об этом - ключевое в творчестве Шаламова стихотворение «Аввакум в Пустозерске» (1955 г.): «Наш спор - о свободе, о праве дышать...» В этом - пафос программного рассказа «Воскрешение лиственницы» (1966 г.): «Триста лет лиственнице... она живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России - ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие...»

Писатель не питал иллюзий относительно скорого демонтажа системы, которая несла в себе закамуфлированные черты сталинизма. В таком политическом контексте в тема сопротивления в «Колымских рассказах» приобретает особый смысл. Рассказ «Последний бой майора Пугачева» (1959 г.) - о людях, которые предпочли смерть жизни в лагере, - можно, без преувеличения, считать самым революционным художественным произведением тоталитарной эпохи! Тот же смысл, как представляется, имеет обращение Шаламова к образам старых революционеров. Это не просто ностальгия по чистым и благородным «заветам», утраченным вместе с уходом (уничтожением) последних представителей партии эсеров (рассказ «Лучшая похвала»), или желание напомнить о ярких, неординарных судьбах, вычеркнутых из официальной истории (Наталья Климова, участница покушения на Столыпина, в рассказе «Золотая медаль»). Нетрудно увидеть за всем этим еще и стремление Шаламова дать новому поколению живые примеры жертвенной борьбы - в расчете на подражание, если не буквальное, то возможное сообразно обстоятельствам времени. Этот «пропагандистский» пафос у Шаламова неназойлив и не столь прямолинеен, как у Солженицына («Жить не по лжи!»), но имеет ту же мотивацию: с сущим нельзя мириться*.

При всех обстоятельствах Шаламов оставался прежде всего художником, для которого искусство - самостоятельное средство Сопротивления. Страстный протестант по натуре, он сознательно ограничивал себя, понимая, сколь разрушителен для

* Эта тенденция использования историко-революционной темы в качестве противовеса официальной идеологии прослеживается в те годы и у других писателей, например, у Ю. Трифонова.

писателя срыв в сферу публицистики. «Грех учительства» русской литературы, за который, по его твердому убеждению, слишком высокую цену заплатила Россия в XX веке, он считал для себя непоколебительным. С учетом этого и других факторов (прежде всего - подорванное Колымой здоровье) становится понятной отстраненность Шаламова от участия в «диссидентском» движении. Известен лишь один случай, когда он написал статью для распространения в Самиздате - «Письмо старому другу» (1966 г.), посвященное процессу А. Синявского и Ю. Даниэля. Письмо было анонимным, но те, кто знал интонации и стиль «Колымских рассказов», без труда могли угадать автора. Весьма характерно, что Шаламов вновь обращается в примере правых эсеров, которые мужественно вели себя на процессе 1922 года. Отмечая «героизм» поведения Синявского и Даниэля на суде, он твердо заявляет: «Нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию»*.

В дальнейшем, судя по воспоминаниям И. Сиротинской, Шаламов охладевает к «диссидентскому» движению, переживавшему после серии арестов полосу раздоров и деморализации. Более того, он высказывает открытое презрение ко многим ее участникам. На это повлияла, вероятно, история с П. Якиром, квартира которого активно использовалась КГБ и который после ареста дал откровенные показания на своих товарищей**.

Как бы то ни было, Шаламов, считая себя наследником русских революционеров и зная толк в конспиративной работе, имел полное право судить об этом предмете по высшему профессиональному и нравственному счету...

Как же, в свете всего изложенного, расценить известное письмо Шаламова в «Литературную газету» (1972 г.)?

Многими из знавших автора «Колымских рассказов» это письмо было воспринято как знак гражданской слабости писателя перед лицом власти. Существуют также версии о том, что он действовал не совсем искренне, стремясь лишь формально показать свою лояльность под давлением обстоятельств. Ни то, ни другое, как представляется, не соответствует истине.

Напомним, что лейтмотив письма - протест против политических спекуляций, вызванных публикацией «Колымских рассказов» на Западе. Шаламов был глубоко оскорблен тем, что его рассказы появились в изданиях одиозной антикоммунистической репутации - в «Посеве» и нью-йоркском «Новом журнале». Особый гнев его вызывал, как он выражался, «подлый способ публикации» - по одному-два рассказа в номере с целью создать впечатление о постоянном сотрудничестве***.

Надо ли говорить о том, что роль разменной карты в политических играх была ему унизительна? И вряд ли можно сомневаться, что фраза: «Эта омерзительная зменная практика... требует бича, клейма» - не выражала его подлинных чувств.

Что же касается фраз «я - честный советский писатель», «советский гражданин» и т. д., то они имели в большей степени ритуальное значение. Таков был неукоснительный

* В СССР впервые полностью опубликовано в кн. «Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля», - М. Книга. 1989. Любопытно, что на «процессе четырех» (А. Гинзбург, Ю. Галансков, А. Добровольский, В. Лашкова - январь 1968 г.) этот анонимный текст был признан антисоветским. Между тем весь политический пафос письма сводился к требованию свободы слова.

** См.: Амальрик А. Записки диссидента. - М.: Слово. 1991.

*** Имеется в виду «Новый журнал», печатавший Шаламова с 1966 г. «Посев» опубликовал лишь два рассказа в 1967 г. Из этого можно сделать вывод, что Шаламов был дезинформирован о частоте своих публикаций в «Посеве».

канон - канон жизни и канон «жанра». Но Шаламов был безусловно искренен, отвергая навязываемую ему роль «подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта». Эта роль ни в коей мере не отражала его взглядов и позиции художника. Он мог бы доказать это детальным разбором своих произведений: они абсолютно лишены прямолинейной политической тенденции, которой соответствует ярлык антисоветизма. Писатель последовательно уклонялся от ангажирования какой-либо из сторон - и факт письма это ярко подчеркивает!

Наконец, и самая неожиданная для читателей Шаламова фраза письма - о том, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью» - имеет свое объяснение. Это вовсе не отказ, не отречение от сделанного и не умаление его смысла - это трезвая констатация того, что актуальность лагерной темы в определенной мере снижена. Шаламов как бы сходит на уровень обыденного восприятия этой темы - он признает, что после XX съезда страна уже не та и возврата к прошлому не будет. В жестких рамках официального ритуала это была, возможно, единственно адекватная формулировка. Но ее поняли слишком буквально...

Письмо отразило трагизм писательской судьбы Шаламова - бесправного и в своей стране, и в мире. Это был акт защиты своего достоинства, а не измена себе. Те, кто думали иначе, исходили из ложного идеологизированного посыла относительно художнической миссии Шаламова. Факт неприятия этого письма в среде интеллигенции следует отнести к известному явлению «либерального террора». Имеющий давние корни в русском обществе максимализм в оценке поступков «властителей дум» слишком часто жесток и неразборчив. Сегодня, когда общество вновь одолевают рецидивы этой болезни, урок с Шаламовым представляется особенно поучительным.

Особенности нынешнего переходного времени - времени всеохватывающей переоценки ценностей и крайностей, с этим связанных, - делают наследие Шаламова необычайно злободневным. Мы видим, как жестоко подтверждается правота его предупреждений о живучести «темных сил» и «зверских инстинктов» на пространстве России (бывшего СССР). Нельзя не признать, что главная причина этого - многолетнее «растление душ», которое Шаламов ставил в вину тоталитарному режиму. В то же время ход социальных реформ ставит под большое сомнение продуктивность примитивной «антисоветской» идеологии, напроочь перечеркивающей нравственные ценности поколений, выросших в новую эпоху. Эта идеология - нигилизм с обратным знаком - вульгаризирует историю страны, лишает ее высокого трагедийного смысла и в конечном счете ведет к полному разрыву с традициями русской интеллигенции - традициями, которые воплощал Шаламов. Новейшие апологеты старой консервативной идеи о том, что «русский революционер - человек без чести»*, желали бы исключить из истории и декабристов, и народников, и эсеров, и меньшевиков (не говоря уже о большевиках), но это - живые реальности, представляющие Россию в ее мучительном продвижении к цивилизации. Шаламов в этом плане - фигура, может быть, ключевая в XX веке, и его трагический опыт Соппротивления убеждает в том, что «связь времен» не прервана - она скреплена собственной судьбой писателя.

* Выражение М. Н. Каткова, относящееся к М. А. Бакунину. Использовано в «Бесах» Достоевского.

«Карфаген должен быть разрушен!»

«Очерки преступного мира» были написаны Шаламовым на рубеже 50-60-х годов, когда тихий советский обыватель мог спокойно гулять по вечерним улицам, твердо веря, что мафия, коррупция, рэкет и заказные убийства были и будут только на «гнилом» Западе... Но колючая проволока ИТК (колоний, заменивших в официальном лексиконе лагерь, ИТЛ) по-прежнему опутывала страну, и почти никто не задумывался о том, что по обе ее стороны зреет взрывная масса, накапливается, выражаясь словом Шаламова, «блатная инфекция» (в письме к А. Кременскому в 1972 г. он пишет о том, что эта инфекция может охватить общество, где «моральная температура доведена до благополучного режима, оптимального состояния. И будет охвачено мировым пожаром в двадцать четыре часа»...).

Оптимистическое государство не могло принять мрачных пророчеств писателя, чья философия была почерпнута с самого дна лагерной преисподней, где он провел двадцать лет. «Очерки преступного мира» - как и весь свод «Колымских рассказов» (а они, «Очерки», являются составной частью этого свода) - лежали под спудом, изредка всплывая в самиздате и тамиздате, и только волна «гласности» вынесла их к широкому читателю.*

Но Шаламову опять не повезло: крутые исторические изломы и политическая лихорадка, охватившая страну, отвлекли внимание от его книг. С другой стороны, опубликована огромная литература по лагерной теме в ее разнообразных и разновременных преломлениях. А. Марченко («Мои показания»), Л. Габышев («Одлян, или Воздух свободы»), С. Довлатов («Зона»), А. Синявский («Голос из хора»), А. Карагодов («Лишь право на смерть») показали нам лицо советской пенитенциарной системы и лицо ее «контингента» в новое и новейшее время. Если добавить к этому особое пристрастие к тюремной тематике у всех видов текущей прессы, то Шаламов с его «Очерками», построенными на впечатлениях 30-40-х годов, может показаться безнадежно устаревшим. Но - только для поверхностного читателя, воспринимающего литературу как «обличительство» или этнографию с

* Первые публикации в журнале «Дон», 1989, №1 и в кн.: В. Шаламов, «Левый берег». * Первые публикации в журнале «Дон», 1989, № 1 и в кн.: В. Шаламов, «Левый берег». М. Современник, 1989. (без очерка «Сергей Есенин и воровской мир»). Первое полное издание в кн.: В. Шаламов, «Колымские рассказы» в 2-х т.т., М. Русская книга, 1992. Настоящая статья, написанная в 1994 г., является предисловием к задуманному тогда же отдельному изданию «Очерков преступного мира».

дозой нравоучения. Шаламов - слишком глубокий писатель, чтобы ставить перед собой столь узкие задачи. Пафос «Очерков преступного мира», их философия звучат сверхзлободневно - не только в свете гигантской криминализации пространства бывшего СССР, но и в свете тех мучительных нравственных проблем, которые необходимо решить обществу, желающему найти свое достойное место в цивилизованном мире.



«Сколько великих сил погибло здесь даром!.. Ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из народа нашего»... Вряд ли кто из читавших «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского не помнит этих слов, оставивших неизгладимую зарубку в российском самосознании. Современниками они были приняты с единодушным восторгом, без тени критики, как воплощение «христианской точки зрения» (Л. Н. Толстой). Между тем тут стоило задуматься: неужели люди, преступившие обычай и закон, осужденные по уголовным статьям Уложения о наказаниях, - убийцы, грабители, воры, конокрады и т.д. (напомним, что у Достоевского речь идет о заключенных омского острога середины XIX века) - неужели они составляют едва ли не лучшую часть общества?..

Пора размышлений пришла, увы, с опозданием. Трудно сомневаться, что весь страстный эмоциональный накал «Очерков преступного мира» с его катоновской кондовкой: «Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!» - не является полемикой Шаламова с этой знаменитой фразой из «Мертвого дома» и сопутствующим ей умонастроением. Разумеется, это не прямая полемика: Шаламов исходит из того, что «Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира» (очерк «Красный Крест»), но в то же время пишет об «умилении», которым пронизано отношение автора «Записок из Мертвого дома» к своим героям. Во всяком случае, зная многочисленные высказывания автора «Колымских рассказов» о тяжелой вине русской гуманистической литературы в кровавых трагедиях века XX-го - вине, которая заключалась, по мнению Шаламова, в безмерном и безоглядном возвеличении человека и народа («человек оказался гораздо хуже, чем о нем думали гуманисты»; «в наши дни Достоевский не повторил бы фразу о «народе-богоносце»), об этом можно говорить с большой долей уверенности. И сам факт такой полемики - спустя ровно столетие после появления «Записок из Мертвого дома» - является в высшей степени символичным. Спорят не просто два писателя, а два века России - «золотой», полный надежд и увлечений XIX-й, и суровый, не оставляющий иллюзий XX-й....

Частный, казалось бы, вопрос - об отношении к преступности и преступникам - имеет на российской почве огромное, если не сказать - фундаментальное - значение. Чтобы лучше понять это, стоит напомнить, что идея «великих сил», погибших в тюрьмах, никогда не была популярна на Западе. Отдав в свое время дань романтике «благородного разбойничества» (Вальтер Скотт, Шиллер, Гюго), европейская литература не пошла далее этого и не увлеклась тем культом «несчастных», т.е. преступников, который глубоко и надолго воцарился в русской литературе. Помимо всего прочего это отражало разный уровень правосознания общества. В то время как Франция, благополучно «переварив» Жан-Вальжана, продолжала жить по Гражданскому кодексу Наполеона, Россия - из-за извечного преваляживания широко понимаемой морали над правом - стала впадать в некое уголовное народничество (иной термин подобрать трудно).

Слово «несчастные», употреблявшееся в народе лишь по отношению к арестантам, идущим в Сибирь, т.е. наказанным преступникам, было возведено в ранг общенациональной сострадательной сверхидеи. «Идея это чисто русская», - подчеркивал Достоевский; «ты любишь несчастного, русский народ», - вторил ему Некрасов - в то время, как в реальности дело обстояло иначе: пойманных конокрадов, например, крестьяне забивали насмерть - это было «обычное право»; в Сибири каторжников и ссыльных - как уголовных, так и политических - ненавидели и т.д.

Разумеется, замороженность идей «великих погибших сил» имела глубокие социальные основания - она была реакцией на жестокую репрессивную политику самодержавия, на произвол, преобладание административных мер над правовыми - и в этом плане России было далеко до западных конституционных стандартов. Б. Кистяковский, автор наиболее конструктивной статьи сборника «Вехи» (1909 г.), писал о «притупленности» правосознания интеллигенции, но это относится ко всем слоям населения, в том числе к властям. Недаром он цитировал Герцена: «Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно, и совершенно так же поступает правительство». Не потому ли так живуча оказалась на Руси поговорка «От сумы да от тюрьмы не зарекайся»?

На этой почве родилась и другая типично российская черта — вера в некие «революционные» качества преступников. «Соединимся с лихим разбойничьим миром - этим единственным истинным революционером на Руси!» - возглашали Бакунин и Нечаев в своем знаменитом «Катехезисе». Это были не только мечтания, опиравшиеся на фольклор, на предания о Разине и Пугачеве. В начале века в политических целях стали бандитским образом грабить, «экспроприировать» банки, в чем отличился, как известно, Иосиф Джугашвили. Чрезвычайно показательная деталь: любимым занятием будущего «отца народов» в вологодской ссылке - об этом свидетельствуют воспоминания Хрущева - было общение с уголовниками, которых он называл «хорошими ребятами».* Большевики - если не все, то многие - видели в них тоже «несчастных» жертв режима. И не из идеи ли «несчастных» выросла в конце концов зловещая идея «социально близких»?

Этот краткий исторический экскурс наглядно показывает, что романтизация преступного мира имеет весьма глубокие корни в российском сознании и вовсе не сводится к «дружному воспеванию» блатных в советской литературе 20-30-х годов, как считает, например, А. И. Солженицын. (В главе «Социально-близкие» «Архипелага ГУЛАГ» упрощены, а обобщены и утрированы некоторые положения «Очерков» Шаламова). В своем обращении Шаламов идет много дальше. «Художественная литература, - подчеркивает он, - всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострастием». Писатель берет имена и произведения наиболее известные - он не пишет научного трактата, для него важна общая тенденция, именно - изначально ложный (романтический, т.е. идеализированный, неадекватный) подход к изображению уголовщины - «этого коварного, отвратительного мира, не имеющего в себе ничего человеческого». Успех таких книг у читателей, по его убеждению, прине «неизмеримый» и «необозримый» вред.

Это - не рассуждения моралиста-педанта, стремящегося оградить молодежь от «вредных» книг, а горькие выводы писателя-философа, который как никто другой

* Вопросы истории. 1992. № 1. С. 59.

глубоко познал зыбкость нравственной природы человека, ее податливость изощреннейшим формам зла, разлитого в мире. Ведь Колыма была для Шаламова не только апофеозом человеческого растления (99 процентов людей, по его мнению, не выдерживали этого испытания, скользя по наклонной к морали блатарей), - она стала в его глазах кладбищем всех светлых и благородных идей человечества. Писатель постоянно возвращает нас к «нулевому», дохристианскому миропониманию: он, кажется, готов поспорить и с Евангелием, где были посеяны первые зерна гуманизма (если говорить об отношении к преступникам, то это зерно содержит притча о разбойниках, распятых вместе с Христом). Трудно назвать это дерзостью или «богоборчеством» - речь идет о предельно трезвом, реальном взгляде на род людской, освобожденном от «розового» человеколюбия. Если угодно - о новом гуманизме, который с неизбежностью должен родиться в стране, пережившей Колыму и многолетнюю деспотию политических и уголовных «воров в законе» ...

Многое в «Очерках» Шаламова непривычно, и прежде всего ненависть - откровенная, безграничная и беспримерная - к преступному миру. Нужно ли объяснять ее причины? Каких еще чувств ожидать от человека, художника с высочайшими этическими представлениями, который злой волей судьбы был смешан с отбросами общества и собственной кожей и кровью испытал волчью безжалостность этого мира? Разве не является эта ненависть сгустком чувств всех тех, кто был зверски бит на этапах, подвергался унижительному «шмону» и получал нож в живот за отказ подчиняться «пахану»? Особый счет к блатным у Шаламова - за 1937-й год, когда они, превратившись вдруг, по указанию свыше, в «друзей народа», с горячечным сладострастием бросились участвовать в расправе с «врагами народа». «Их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти», - писал Шаламов в письме к Б. Пастернаку (1956 г.).

Он не раз повторяет: «Блатари - не люди», они «недостойны имени человека», «им нет места на земле» ... Заметим, словом «блатарь»* писатель именуется новое поколение, новый массовый тип особо циничного преступника, порожденный советской эпохой. «Очерки» раскрывают генезис этого мира, его становление, происходившее по мере расширения системы ГУЛАГа. Шаламов открыто осмевает идею «перековки» уголовников и бытовиков в «сознательных пролетариев» - идею, которая в немалой степени способствовала тому, что блатари изначально заняли в лагерях привилегированное положение. Уже тогда, в 30-е годы, оформилась и закрепились та схема внутрилагерных отношений, которая действует и доныне. В этом смысле «Очерки» нисколько не устарели. По-прежнему живы все обычаи блатного мира, его жаргон, «идеалы» и «эстетика» (лишь слегка модернизированная, но с неизменным предпочтением С. Есенина). Нисколько не изменился и механизм вхождения новичка в преступную среду - только теперь вместо сыновей «раскулаченных» мы наблюдаем среди волонтеров гораздо более пестрый социальный и национальный состав. Полностью сохраняет силу положение Шаламова о том, что правят этим подземным миром потомственные «воры-аристократы» - «те, кто выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру». Самое же важное - неизменным остался основной закон жизни уголовного мира, который состоит, по Шаламову, «в беспредельной наглости, в отсутствии всякой морали». Убедиться в

* Дореволюционное слово "блат" (на языке одесских воров - "ладонь") вошло в широкое употребление в середине 20-х годов. В XIX в. "блат" означал любое преступление, а "блатьярми" называли конокрадов. См. Ж. Росси, Справочник по ГУЛАГу.

этом, увы, смогли сегодня не только наши соотечественники, но и спецслужбы Америки и Европы, куда проникла русская мафия.

Что же особенно актуально, на мой взгляд, в наследии Шаламова, посвященном уголовному миру? Как это ни покажется странным - именно ненависть писателя (если угодно, назовем ее более мягким словом «непримиримость»). Ведь очевидно, что беспрецедентный взрыв преступности в России стал возможен во многом из-за благодущия, недооценки «блатного фактора» при принятии политических решений. Невольно напрашивается мысль, что высшие властные структуры государства, начиная с 1985 г. и доныне, находились и находятся в плену застарелых романтических иллюзий относительно криминального потенциала общества. «Лев прыгнул» прежде всего потому, что в неутраченной политической борьбе оказались вовсе забыты защитные, страховочные меры по нейтрализации этого реального, чрезвычайно опасного потенциала. В результате Россия переживает тот худший вид демократизации, о котором предупреждал еще К. Н. Леонтьев, — «демократизацию пороков». Существенную роль здесь сыграла общая обстановка нравственного разброда, растерянности, релятивизма, господствующая в обществе, а об уровне правосознания и говорить не приходится - он в точности совпадает с характеристикой Б. Кистяковского почти вековой давности.

В этих условиях призыв Шаламова «разрушить Карфаген» может показаться даже запоздавшим. Но он спасителен именно сейчас, в критической ситуации. Никакая «борьба с преступностью» невозможна без твердых понятий о добре и зле, о чести и достоинстве человека, о том, что можно и что нельзя делать - категорически - тому, кто претендует на имидж «порядочности» и «честного ведения дел». Строгие шаламовские императивы особенно важны для молодежи, а еще более - для интеллигенции, как и прежде любящей заигрывать с преступным миром. Между тем, предупреждает писатель, любые попытки контакта и компромисса с блатным обществом и его моралью неизбежно ведут к плачевному исходу. Яркая иллюстрация тому - рассказы «Заклинатель змей», «Боль» и другие, где варьируется коллизия «интеллигент - блатари». Написанные на лагерном материале, они представляют собой в то же время универсальную и глубоко символическую модель отношений, когда голодному интеллигенту, начавшему за миску супа «тискать романы» блатарям, неминуемо грозит перспектива превратиться в «машку» или чесать пятки какому-нибудь «пахану»

Чрезвычайно полезна шаламовская непримиримость и людям, непосредственно связанным с защитой права и отправлением правосудия. Тот факт, что в этой сфере неоправданно распространился либерализм, подогреваемый общественным мнением, не подлежит сомнению. Разумеется, ненависть автора «Очерков преступного мира» к блатным нельзя понимать как призыв к террору и ужесточению наказаний по всем видам преступлений. Очевидно, что Шаламов адресует свои чувства прежде всего «аристократии» блатного общества - матерым рецидивистам. Но моральный принцип писателя - «помнить зло» - имеет право на более широкое распространение. Он противостоит всем формам смягченной российской «гуманности» и в конечном итоге соответствует здравому смыслу и постулатам этической философии. Библийская заповедь «око за око» вовсе не так порочна, как принято считать. Стоит, пожалуй, прислушаться к глубокому выводу одного забытого мыслителя: «Эквивалентность воздаяния - вот, наверное, единственный правый принцип права. Око за око. Но

только за око. И за око не более ока. И не менее, ибо семь раз допущенное милосердие к преступнику семижды семь раз попускает новое преступление, семижды семьдесят семь раз оказывается немилосердным к жертве».*

Но важнее всего в практическом смысле осознать грозное свидетельство «Очерков» Шаламова о том, что главным рассадником преступности, источником яда, поражающего общество, является лагерь, тюрьма, вся исправительная система, оставшаяся почти неизменной в своей старороссийско-советской сущности. Именно эта система, поглощающая скороспелые плоды неразборчивого, зависимого от прихотей властей судопроизводства, вечно шатающегося от крайности к крайности, возвращает ежегодно и ежечасно будущие кадры уголовников. Тот печальный факт, что Советский Союз, начиная со сталинских времен, резко обошел все остальные страны по количеству заключенных (и политических, и уголовных), несомненно, в решающей степени оказал влияние на нынешнюю «криминальную революцию». И сегодня Россия по-прежнему занимает первое место в мире по этому социальному параметру (на сто тысяч населения - 558 человек, в то время, как в Голландии - 40, в Германии - 80, в Турции - 100). Надо ли удивляться, что в этой огромной массе за десятилетия выковался (не «перековался»!) целый клан или «орден», как пишет Шаламов, потомственных блатарей, для которых любые политические перемены во «фраерском» обществе - благо, если они дают свободу действия.

Еще меньше надо удивляться - ввиду все той же массовости - тому влиянию, какое имел и имеет этот мир на «волю», на обычаи и нравы общества, с давних пор лишённого иммунитета против уголовной романтики и потому воспринимающего, например, жанр блатной песни как «свой», близкий и привлекательный... Именно в совокупности, как сообщающиеся сосуды, тюрьма и воля, столь похожие по своей психологии и легко находящие общий язык, образуют ту твердокаменную цитадель, тот «Карфаген», разрушить который призывал Шаламов. Терпимость общества к расплозанию преступности давно уже исчерпала все пределы. Признание бывшего и. о. Генерального прокурора России А. Илюшенко: «Сегодня речь идет о том, кто кого поставит на колени: государство мафию или мафия государство»** свидетельствует, что Россия на пороге XXI-го столетия подошла к самой, может быть, опасной черте за всю свою историю. А последующая судьба этого высшего блюстителя законности (как и его преемников, сменяемых, как перчатки) наглядно подтверждает старую народную мудрость о том, с какого места «гниет рыба»... (добавление 1999 г.).

Оглянемся же назад. Неужели все повторится: снова будем «любить» и прощать преступников, называть их «несчастливыми», «жертвами», «хорошими ребятами»? Или же пройдем, наконец, целительную науку ненависти, которую настоятельно рекомендовал писатель?

* Трубников Н. И. Притча о Белом Ките. - Вопросы философии. 1989. №1. С. 73.

** «Независимая газета», 24 июня 1994 г.

«Пусть мне «не поют» о народе...»

Символика факта оказывается иногда важнее многих умозаключений и сентенций. Случай с В. Шаламовым, который, находясь в лагере в 1943 году, получил новый десятилетний срок за то, что назвал И. Бунина «великим русским писателем», не имеет прецедента в истории литературы. Не всегда обращают внимание на резюме Шаламова к этому факту (в рассказе «Мой процесс»): «Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь»¹. Отныне, поясняет автор, он перестал быть лагерником «со страшной буквой «Т» («троцкизм» - обреченным на уничтожение - В. Е.) и перешел в категорию обыкновенных АСА, «антисоветчиков», которых тьма и которым уготована, как бы то ни было, лучшая участь. Таким образом, Шаламова можно считать бунинским крестником, и в этом, казалось бы, должен заключаться некий мистический смысл, выводящий в итоге на вполне рациональные основания - об «уроках Бунина» и т. д. Ничего подобного, увы, не обнаруживается.

Несмотря на столь важную роль, сыгранную Буниным в жизни Шаламова, автор «Антоновских яблок» не принадлежал ни к числу кумиров, ни к числу учителей автора «Колымских рассказов». Великий русский писатель», произнесенное в лагерном бараке, было ритуальной общекультурной формулой, не более. Причем относилось это скорее к стихам². Каких бы то ни было следов бунинской «пряности» и зрительной изощренности в прозе Шаламова («новой прозе», по его определению) найти абсолютно невозможно. Характерна одна из дневниковых записей Шаламова начала 70-х годов: «Что касается Бунина, то я, хоть меня и обвинил военный трибунал в 1943 году за то, что я сказал, что Бунин - русский классик, не думаю, что русская литература кончилась на Бунине»³. В незавершенной пьесе Шаламова «Вечерние беседы», действующие лица которой - русские писатели - лауреаты Нобелевской премии (Бунин, Пастернак, Шолохова, Солженицын), Бунин представлен довольно-таки уничижительно: он появляется в камере Бутырской тюрьмы (в соответствии с фантастическим характером пьесы)... в генеральском мундире сталинского покроя. Слова, вложенные Шаламовым в уста Бунина: «Да, это Сталин помог мне прийти в себя. Я сразу увидел, что мундир спасет Россию. И признал, так сказать, духовное поражение в этом мундирном споре»⁴, являясь попыткой отражения позиции Бунина-эмигранта в годы войны (когда в СССР была введена новая офицерская форма, напоминавшая о форме царских времен). По Шаламову, Бунин - государственный, подобно многим другим эмигрантам, «простивший» Сталина за победу в войне. На самом деле, как известно, позиция Бунина была более сложной⁵.

Можно сделать вывод, что восприятие Бунина у Шаламова было в значительной мере подчинено стереотипам советской эпохи, что вполне понятно, так как послереволюционная деятельность Бунина была мало известна в СССР. Клише

«певца умирающих дворянских гнезд» и автора «эротических старческих рассказов» (в последнем случае - формулировка Шаламова, касающаяся рассказа «Чистый понедельник»⁶) складывалось десятилетиями, еще с дореволюционной поры. Печально, что и Шаламов никак не выделяет бунинскую «Деревню». Между тем это программное, «знаковое» произведение, раскрывающее одну из главных ипостасей Бунина - художника и мыслителя. И именно «Деревня» позволяет говорить о некоторых моментах духовного родства ее автора с автором «Колымских рассказов». Речь идет о близости взглядов двух писателей, очень симптоматичной - по проблеме, занимающей исключительно место в русской литературе, - проблеме народа или, говоря шире, «русской души».

Понятие «народ» в России всегда (по крайней мере издавна) имело сакральный, точнее, мистифицированный характер. И русская литература сыграла в этом, как известно, громадную, с очевидностью - определяющую роль. Ни в одной из литератур мира благородная гуманистическая идея сочувствия низшим, беднейшим слоям общества, занимающимся тяжелым физическим трудом (народу), не доводилось до такой степени экзальтации и абсурда, и нигде эта категория населения (крестьянство, а затем пролетариат) не награждалась высшими человеческими добродетелями, не превращалась в миф и в фетиш, как это случилось в России к началу XX века. Свое законченное воплощение идея народолюбия получила у крупнейших писателей, «властителей дум», оказывавших, в силу известной российской специфики, беспримерное влияние на массовое сознание, - у Ф. Достоевского («русский народ-богоносец»), у Л. Толстого (предпочтение крестьянского мальчика Федьки - Гете , легшее в основу «опрошенческой» идеологии толстовства), у не уступавшего им по популярности Н. Некрасова («Назови мне такую обитель... где бы русский мужик не стонал?»), у менее популярного, но более значимого для интеллигенции Ф. Тютчева («Эти бедные селенья», «Умом Россию не понять»)... Трудно не согласиться с современным исследователем⁷, что «вся русская интеллигенция накануне 1917 года была «народнической» - не в смысле эсеровских лозунгов, а в смысле общей «веры в народ» - и что определенной ее части присущ «гипертрофированный руссоизм», убеждение в том, что «подлинный народ лучше всех бар». Весьма идеализированные представления о народе, о своих подданных , были, как известно, и у последнего российского монарха.

Недаром лейтмотивом литературы, не принявшей большевистской революции (красивой по своему характеру), стало трагическое разочарование в народе, переходившее подчас в его поношение. «Подлый народ» - у В. Розанова, «бедные дикари» - у З. Гиппиус, «богоносцы достоевские - у, вашу мать!» - у раннего М. Булгакова, «гориллы» - у историка Ю. Готье...⁹ Кроме «богоносца», упоминавшегося в послереволюционные годы всегда с горькой иронией и с упреком Достоевскому, расхожей цитатой из «Бесов» сделались слова Степана Трофимовича Верховенского (отрицательного персонажа для автора): «Мы надевали лавровые венки на вшивые головы». Не раз встречается эта цитата и в «Окаянных днях» Бунина¹⁰. Но он, в отличие от других, имел право отстраняться - и отстранялся - от «мы». Он не надевал венков, не очаровывался, и разочаровываться ему не пришлось.

Бунин был, пожалуй, единственным русским писателем начала XX века, настроенным резко и последовательно «антинароднически». В повести «Деревня» и других произведениях 1910-х годов его занимала, по собственным словам, «душа русского человека в глубококом смысле, изображение черт психики славянина»¹¹. Говоря современным языком, речь шла об изображении менталитета русского народа

- устойчивых природно-социальных черт мироощущения и поведения. Свободный и зоркий художник, «барин», лишенный комплекса «вины» перед народом, Бунин обладал в этом отношении преимуществом и перед писателями-идеологами, и перед массой литераторов «из народа» (мысль о том, что «про мужика может понастоящему сказать только мужик», автор «Деревни» считал вздором¹²). В отличие от традиции, стремившейся к созданию так называемого собирательного образа народа, в котором запечатлевается идеал автора - идеологема, часто становящаяся затем мифологемой (например, Платон Каратаев у Толстого, мужик Марей у Достоевского), Бунин дает в «Деревне» целую россыпь героев из разных слоев народа, причем постоянно рефлекслирующих, стремящихся к самоидентификации. В результате образ народа в повести предстает объемным, полным живых противоречий и в то же время объективным, близким к социологической точности.

Русский крестьянин, которому привыкли петь осанну за его доброту, впервые с такой отчетливостью показал в повести Бунина свое настоящее, отнюдь не добродушное лицо. Главная черта обитателей Дурновки, постоянно подчеркиваемая писателем, - несусветная дикость, имеющая характер какой-то фатальной обреченности. «Дикий мы народ!», «шалый», «чудной», «пестрая душа», «ни к чему не годный народ», «несчастный» - этот ряд эпитетов из уст братьев Тихона и Кузьмы Красовых иллюстрируется бесчисленным числом примеров из повседневной жизни крестьян и городских обывателей. Тут и неумение хозяйствовать самостоятельно, бестолковость («Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода»¹³), и языческие суеверия вместо веры («Надеется народ. Известно на что... На домового!»), и страшная жестокость друг к другу, ко всему живому («Нищих травят собаками!», «Лю! Зато и хозяин!», «Жгут там помещиков? И чудесно!», «Для забавы голубей сшибают с крыш камнями!», «Бывало, в голодный год, выйдем, мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приститутков - видимо-невидимо. И голодные, шкуры, переголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!») (выделено Буниным - запомним этот пример для разговора о Шаламове - В. Е.).

И над всем этим стоит вопрос Тихона Красова: «Да неужели так и в других странах?»

Повесть Бунина была попыткой взглянуть на Россию с точки зрения общечивилизационных критериев (она задумывалась, как известно, на Капри). «Деревня» насквозь полемична - по отношению и к официальному патриотизму, и к народничеству, и к литературной традиции («Виши съели твоего Каратаева!»). Обвинения в «опачкивании народа», которые предъявили ей записные критики вроде В. Бунина¹⁴, были неизбежной реакцией при господствовавших тогда настроениях. Между тем - это особенно очевидно сегодня - «Деревня» при несомненной сгущенности красок была глубоко правдивым произведением, отразившим помимо всего прочего (социально-экономического положения черноземной деревни после первой русской революции) очень существенные черты реальной народной психологии. Антиномичность национального характера, едва намеченная в повести («То чистая собака человек, то грустит, жалуется, нежничает, сам над собою плачет»), была раскрыта Буниным в других произведениях 1910-х годов и с предельной ясностью выражена в публицистике (например, в речи «Миссия русской эмиграции»: «Молю Бога, чтоб Он до моего последнего издыхания продлил во мне... святую ненависть к русскому Канну. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее»¹⁵). В «Деревне» же, заостря отрицательные стороны народной психологии, Бунин как бы говорит: «Таков наш народ. Не идеализируйте его, не заигрывайте с ним, не будите в нем то страшное, на что он способен!»

Есть все основания считать «Деревню» предупреждением - еще более грозным и более важным для российского общественного сознания, нежели «Бесы» Достоевского, так как Бунин предупреждал об опасности, исходящей из «святая святых», из крепости, которая казалась неприступной, - из глубин «смирненного» и «христоролюбивого» народа, нареченного Достоевским «богоносцем». «Деревню» можно назвать также одной из вершин русской национальной самокритики - после Чаадаева и Щедрина не было в отечественной литературе столь беспощадного обличения свойств народного характера.

Сам Бунин хорошо сознавал предупредительный и пророческий смысл своей повести. Знаменателен эпизод с известным кадетским деятелем Ф. Ф. Кокошкиным (зверски убитым матросами, частью народа, в 1918 году) в 1916 году, к которому не раз впоследствии возвращался Бунин (в «Окаянных днях» и в статье «О писательских обязанностях» (1921):

«Зашел как-то разговор о русском народе. Я не сказал ничего ужасного, но он все-таки вспылил и прервал меня с необычной для него резкостью:

- Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались - ну, извините, слишком исключительными, что ли...

И, помню, с каким удивлением и почти ужасом думал я после этого разговора:

- Бог мой, какое младенческое неведение и даже нежелание ведения относительно собственного народа и когда же - в такое страшное время. Нет, это нам даром не пройдет.

И точно - не прошло. От копейной свечки Москва сгорела. А в домах деревянных, крытых соломой, играть с огнем особенно опасно»¹⁶.

Бунин исключительно точен: старый режим в России в конечном итоге был сокрушен теми, кто родился под соломенными крышами, кто составлял 82 процента населения страны. Жестокости революции и гражданской войны, о которых так много писал Бунин в «Окаянных днях», были неизбежным следствием того, что на авансцену истории вышли «дурновцы», свойства которых он так хорошо знал, но не знали другие.

Мысль о страшной, роковой ошибке - незнании собственного народа, его «зверских», «дикарских», «антисоциальных» свойств - пронизывает всю послереволюционную публицистику Бунина. И немалую вину за это писатель возлагает на своих собратьев, «художников слова», которые вменили себе в обязанность «быть гражданами» и при этом ушли от главного - от «жизненной правды». Среди своих предшественников, изображавших народ без идеализации, Бунин называет Пушкина, Лермонтова, Толстого (его, своего вечного кумира, он освободает от этой вины), Глеба Успенского и Чехова. Почти физическое неприятие у Бунина «разночинцев», а также новых крестьянских писателей и поэтов, в творчестве которых он находит знакомые и ненавистные ему черты народного «хулиганства» и «богохульства»¹⁷.

Аристократ до мозга костей, человек «глубоко и последовательно антидемократичный по всем своим повадкам», как характеризовал его один советский писатель¹⁸, Бунин не мог принять революцию прежде всего из-за ее «варварского» характера, разрушительного для той культуры, к которой он принадлежал (не «дворянской», а общечеловеческой, со всеми ее атрибутами и ценностями). Превращение крестьянской, «дикой» России в цивилизованную страну виделось ему в долгой эволюционной форме, где не последнюю, а может быть, главенствующую роль играла бы христианская религия.

В самой революции Бунин склонен был винить не народ, а интеллигенцию («Это вы начали», - прямо пишет он¹⁹), забывая при этом об исторической вине государства. Восприняв революцию как катастрофу, он не мог допустить, что советская власть («власть народа») будет иметь в какой бы то ни было мере цивилизующее значение (хотя бы в приобщении тех же «дурновцев» к образованию и к технике). Будучи до конца дней увлечен идеями «реставрации» и зная о делах в новой России только по газетам, он мог лишь догадываться, как проявляет себя в этих условиях изображенный им «типично русский характер» - то, что было поставлено в главную заслугу ему как художнику при присуждении Нобелевской премии²⁰. Эта миссия выпала на долю писателей, живших в СССР. И далеко не все из них писали об этом в апологетически-пропагандистском духе, как ненавидимый Буниным «третий Толстой» (А. Толстой. «Русский характер»)...

В. Шаламов - таковы исторические пути - застал и пережил время, описанное в «Окаянных днях» Бунина. Но как бы ни был велик соблазн начать с переклички некоторых эпизодов из дневника Бунина 1918 и 1919 годов и «Четвертой Вологды» Шаламова, мы все-таки коснемся этой темы чуть ниже. Слишком большой исторический разрыв между двумя этими вещами, и слишком просто было бы увидеть здесь подхваченную Шаламовым «эстафету» (хотя элемент ее, безусловно, присутствует).

Книгу о своей юности Шаламов писал в начале 70-х годов, когда за его плечами был не только тяжкий лагерный опыт, но и опыт глубоких раздумий об исторических судьбах России. И то, что звучит в этой книге - резко, сурово и безапелляционно: «Пусть мне не «поют» о народе, не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое», - было итогом этих раздумий, а не началом. К этому выводу он шел всю жизнь и неизбежно должен был высказаться в «старинном этом споре».

Шаламов - участник, и свидетель, и жертва эпохи «народопоклонства» (термин С. Булгакова, современника Бунина, соавтора «Вех»), восторжествовавшего в советском государстве и возвышенно-лицемерно возведенного в ранг официальной идеологии. Писатель был «врагом народа», и уже этого, казалось бы, достаточно, чтобы понять его скепсис по отношению ко всему, связанному с понятием «народ» (недаром он делает оговорку - «если такое понятие существует»²¹). Но Шаламов прекрасно знал, что «враг» - как, впрочем, и «друг» - химера. Не эти мотивы руководили им, когда он писал «пусть мне «не поют». Какие же?

«Петь» о народе, о крестьянстве - на новом витке - в СССР начали, как известно, в середине 60-х годов, когда возникло так называемое «неопочвенничество». Литература, с огромным сочувствием изображавшая трагедию русского крестьянства, вошла в сопряжение с «антизападническими» идеями, взятыми из «свежего прочтения» Достоевского. Сознательно или бессознательно шло следование главному тезису последнего: «Судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы...»²² В литературных и диссидентских кругах закипели споры о народе и интеллигенции с явным обвинительным уклоном в сторону интеллигенции. Шаламов всегда чутко улавливал «шум времени». Главы из «Четвертой Вологды» и рассказ «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме», написанный тогда же, в 1971 году, и вошедший в самый «жесткий» сборник - «Перчатка, или КР-2», и стали, как представляется, выражением его отношения к этой тенденции, за которую, по его убеждению, и так уже заплачена в российской истории непомерно высокая цена...

Имел ли он право судить о крестьянстве? Биография Шаламова, казалось бы, совсем не связана с традиционным деревенским укладом, как у Бунина. Но то, что

он имел дело с «развороченным бурей бытом» крестьян - с массой их, вырванных из привычной среды и брошенных на северные поселения и в лагеря, - давало ему как писателю свои большие преимущества. Именно непривычная среда, согласно известным психологическим закономерностям, раскрывает подлинное лицо человека, обнажая его личностные и социальные качества. В экстремальных же условиях лагеря, где неотвратимо и грозно заявляет о себе инстинкт выживания, это обнажение достигает апогея, высвечивая, как на ладони, и положительные, и отрицательные черты каждого социального слоя.

В письме А. Солженицыну (ноябрь 1962 г.) с разбором «Одного дня Ивана Денисовича», говоря о «глубоко и очень тонок показанной крестьянской психологии Шухова», Шаламов пишет: «Умная независимость, умное покорство судьбе, и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие - все это черты народа, черты деревни»²³. Это наглядно свидетельствует, что говорить о каком-либо преубеждении Шаламова против крестьянства не приходится, - подобно Бунину, он ясно осознает противоречивость народного характера и не закрывает глаза на несомненные его достоинства. В рассказе «Надгробное слово» Шаламов замечает, что «пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много», и видит причину этого в прагматизме и цинизме сталинского режима, эксплуатировавшего природные качества крестьян - трудолюбие и выносливость («особая мудрость Ежова и Берии, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока»²⁴).

В «лирическом» разговоре у лагерной печки в этом же рассказе фигурируют интеллигенты - бывшие профессора и инженеры. Шаламов дает слово и бывшему крестьянину Звонкову из «не то Ярославской, не то Костромской области». Разговор идет о том, кто бы что сделал, окажись на свободе. Простые мечты Звонкова о доме и жене звучат контрастом всем другим речам и подчеркивают, кажется, сохранившуюся здоровую натуру героя. На самом деле Звонков, как и все, надломлен, искорежен рабским трудом за колючей проволокой: «Вот только работать меня здесь отучили, - потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-либо...» (Шаламов точно подметил явление: мало кто из крестьян после лагерей возвращался в родные деревни.)

Коренное убеждение Шаламова в том, что «лагерь - отрицательный опыт для человека», что «ни один человек не становится лучше после лагеря», относится ко всем, без исключения, социальным слоям. Тем не менее он не раз замечает, что бывшие крестьяне гораздо более податливы в нравственном отношении, когда дело касается контактов с властями, и особенно легко склоняются к доносу. Наиболее резко на этот счет Шаламов высказался в письме А. Солженицыну (1966 г.) в связи с образом Спиридона в романе «В круге первом». Фальшь этого образа - символа «народа-страдальца» - он вскрывает простым указанием на то, что «из крестьян стукачей было особенно много»²⁵.

Насколько прав в этом отношении Шаламов социологически, судить трудно, однако психологически он, безусловно, прав, так как готовность услужить властям («верная служба режиму», о которой мы будем говорить ниже) всегда и везде была уделом прежде всего простого и малограмотного народа.

Шаламов вообще склонен считать доношительство национальной, общенародной чертой. В заметках «Что я видел и понял в лагере» один из пунктов так и гласит: «Неудержимая склонность русского человека к жалобе, к доносу»²⁶. Эта склонность, по мнению писателя, уходит глубокими корнями в историю. В рассказе «Воскрешение лиственницы» - страстном монологе о неизменности характера российской истории («Чем не извечный русский сюжет?») - гневной нотой звучит тема о «муже, брате,

сыне, отце, доносивших друг на друга, предававших друг друга»²⁷. В записных книжках выделяется цитата из книги одного из иностранцев, побывавших в России во времена Ивана Грозного: «Московитам вроджено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном...»²⁸ В этом историческом погружении Шаламов, несомненно, объективен, и его можно без конца дополнять ссылками на литературу о становлении российской полицейщины - от Тайного приказа до царской охраны, от ЧК - ОGPU до КГБ новейших времен, от предписания Священного синода доносить о «неблагонадежных» на исповеди до недавней практики поощрения доносов посредством анонимных писем друг на друга в инстанции. Разве не оставило все это «родимое пятно» на национальном характере? Разве не подтверждают это печатные клязусы современных литераторов? Перефразируя слова М. Горького о бунинской «Деревне», можно сказать, что в данном аспекте, кроме Шаламова, «так глубоко, так исторически Россию никто не брал»...

Типично крестьянские черты обнаруживаются и в образах конвоиров в «Колымских рассказах». Необычайно тонок и глубок в этом отношении рассказ «Ягоды», в котором показаны два конвоира - Фадеев и Серошапка. Не упоминая ни слова о их социальном происхождении, Шаламов несколькими штрихами создает стереоскопическую картину, из которой явствует, что перед нами не истуканы в серых шинелях, а люди из разных слоев и разной психологии. Фадеев, обращающийся к герою на «вы», употребляющий риторiku для угроз («фашист», «симулянт») и «лишь» pinaющий его салогом за то, что он, голодный, не может встать на ноги, - по всем признакам городской парень. Серошапка, что ясно уже по «говорящей» фамилии - простонародной украинской, - бывший крестьянин. Он и отличается, как подчеркивает Шаламов, особым рвением: Серошапка выражает готовность пристрелить героя сейчас же, но боится нарушить устав и мгновенно стреляет в другого героя - Рыбакова, потянувшегося за ягодой на самой границе зоны. Пересек ли Рыбаков границу зоны, никто не знает (и не узнает), и Серошапка, понимая это, выполняет свою миссию с каким-то сладострастием, делая, как и положено по уставу, два выстрела - предупредительный и «на поражение». Серошапка для Шаламова - примитивное животное, бездушная машина, слепой и чрезвычайно добросовестный исполнитель любых приказов, проникнутый при этом «страстью свободного убийства» (недаром писатель вспоминает его и в своих заметках «Что я видел и понял»²⁹).

Все это в высшей степени ненавистно Шаламову, и именно эту отрицательную сторону народного характера - наряду с другими - он имеет в виду, когда говорит: «Не «пойте» мне о народе». В таком ракурсе и черта земляков-вологжан - «верная служба режиму», выраженная в поговорке «вологодский конвой шутить не любит»³⁰, приобретает у писателя универсальный, общенациональный и общечеловеческий смысл постольку, поскольку связана с крестьянством вообще, с его «святой простотой», то есть с темнотой и забитостью.

Еще один рассказ, непосредственно касающийся нашей темы, - «Белка». Рассказ основан на детских, вологодских впечатлениях Шаламова. Поразительна страсть, с которой толпа людей гоняется за белкой, забежавшей в город, чтобы убить ее. Эта страсть кажется понятной, иррациональной, «дикарской», напоминающей эпизоды из бунинской «Деревни». Однако тут есть этнографическая подоплека, которую не затрагивает Шаламов (вероятно, он и не знал о ней, говоря о том, что это была «традиционная народная забава»). По старинным народным поверьям, если белка забежит в село - быть пожару. В «тихом, провинциальном городе, встававшем с

солнцем, с петухами» (Вологде), пожары были не только «развлечением», как пишет Шаламов, а бедствием - их сильно боялись. Именно суеверие - дремучее, средневековое - и было главным источником горячей страсти охотников на белку.

У Шаламова же на первом плане не этнография, а психология. «Белка» - о психологии толпы, массы, которую так легко увлечь на зло. Суеверие или какая-то общая идея движет людьми - все равно. Писатель здесь не выделяет, например, крестьян, наоборот, он подчеркивает, что в охоте на безобидного зверька участвуют все горожане вплоть до «красного командира в малиновых галифе» (действие происходит в годы гражданской войны, вскоре после революции). Речь идет о народе в прямом, самом широком смысле - о народе, получившем, как пишет Шаламов, «право убивать». Сквозь лаконичные и емкие детали рассказа проступает его глубокий символический смысл: перед нами - образ революции, в которую втягиваются помимо своей воли те, кто не обладает развитым самосознанием, чувством личности («единицы»³¹, по Шаламову кто просто глуп и наивен. Не случайно автор не щадит и себя, ребенка в ту пору: «Я тоже убивал» (белку), «я имел право, как все, как весь город, все классы и партии...»

Революция - если развивать метафору Шаламова - разбудила и разожгла «охотничьи» инстинкты людей, страсть к убийству. В «Четвертой Вологде» он пишет об этом уже без метафор, а прямо и резко - о своей ненависти к толпе, о «темных силах» и «зверских инстинктах» народа, о «сюрпризе» крестьянства, о «потоке истинно народных крестьянских страстей», который «бушевал по земле, и не было от него защиты»... По общему тону это кажется весьма близким бунинским стенаниям, об «окаянстве». Тем более что Шаламов не скрывает, что ему изначально, с детства, были органически чужды «новые хозяева мира» - крестьяне, оставившие у него «одно из самых омерзительных воспоминаний» своим вторжением в квартиру отца-священника. («Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после их визитов»³².)

Здесь есть нечто родственное бунинскому аристократизму, не правда ли? Но исток этого неприятия и отчуждения от «народа» все же другой. В «Четвертой Вологде» Шаламов не раз сурово говорит о «стяжательской душе крестьянства», то есть считает стяжательство одним из неотъемлемых свойств народного характера. Как предстает, здесь проявились (даже в лексике: слово «стяжательство» - церковного происхождения, и писатель употребляет его именно в первоначальном, а не в «советском» значении) родовые, священнические «гены» Шаламова, его высокая и строгая этика, равно строгая к кому бы то ни было, если попираются самые простые и непреложные заповеди (в данном случае - покушение на чужую собственность, которую крестьяне в своей «простоте» посчитали своей - фактическое воровство, грабеж).

Имея в виду и другие примеры из «Четвертой Вологды» (фигуры кузнеца Рожкова, столяра Корешкова, зав. РОНО Ежкина и других представителей «народа»), мы можем легко убедиться, что никакой снисходительности, никакой интеллигентской размягченности по отношению к «меньшому брату», к народу, у Шаламова нет. Это чрезвычайно важная черта мировоззрения писателя - и более чем удивительная и редкая в советскую эпоху. Ведь зараженность «народопоклонством» можно обнаружить практически у всех крупнейших художников советского периода, в том числе вышедших из среды дореволюционной интеллигенции. Самый яркий и характерный пример - Б. Пастернак, с которым был близок Шаламов в 50-е годы.

Вероятно, и Шаламов мог наблюдать, с каким увлечением поэт, желавший «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», относился к «народу», составлявшему прислугу в дачном Переделкине, как переживал он по поводу «народного мнения» в пору борьбы вокруг присуждения ему Нобелевской премии зз. Недаром, разбирая роман «Доктор Живаго» и «просвещая» Пастернака в своих письмах относительно того, что представляли из себя колымские лагеря, Шаламов акцентируется на теме народа. Он упрекает Пастернака в книжно-прекраснодушных представлениях как о простом народе, так и о «рабочем классе» з4, а для иллюстрации того, что есть лагерь, приводит несколько страшных, душераздирающих фактов, «случайных картинок». Одна из них - о том, как его знакомый плотник замораживает в снегу пайку хлеба, чтобы получить побольше «удовольствия» от голодных женщин, - заставляет вспомнить историю из «Деревни» Бунина о «приститутках» и «полхунте хлеба». Как тут не сказать словами Шаламова: «Чем не извечный русский сюжет?»... (Сам Шаламов вставил эпизод с замороженной пайкой в рассказ «Уроки любви», сопроводив его многозначительным вопросом: «Может ли придумать такое человек?»)

Почти все рассказы Шаламова - это страшные «случайные картинки», адресованные идеалистам, «розовым» гуманистам и народолюбцам. Писатель, поставивший перед собой вопрос: «Где граница между человеком и животным?» з5 - изобразил такие бездны падения человека, которые не снились ни золотому XIX веку русской литературы, ни серебряному веку, представителем которого был Бунин. При этом доминирующая у Шаламова тема «онтологического», природного зла, заложенного в человеке, всегда преломляется через социально-историческую конкретику. Придя в «Четвертой Вологде» к неутешительному выводу: «Человеческий тип синантропа немногим отличается от современного, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм (Шаламов с очевидностью имеет в виду коммунизм. - В. Е.) показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии. Но до революции именно в эту зыбкость и не верили», - Шаламов давал себе отчет в том, что в мире есть силы, способные противостоять злу. Все его упования связаны исключительно с интеллигенцией, которую он считает необходимым «героизировать» з6. Несмотря на все ее ошибки и слабости. В «Четвертой Вологде» он открыто заявляет: «Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата... Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией».

Несомненно, что «аферисты» и «дельцы» - это в условиях 70-х годов те, кто, спекулируя понятием «народ» и действительными народными бедами, пытался возродить подобие «махаевщины» времен гражданской войны, когда интеллигенция (все люди в пенсне и котелках) подверглись обструкции. Эта тенденция, получившая впоследствии свое воплощение в статье А. Солженицына «Образованщина», была хорошо знакома Шаламову з7. Кроме «Четвертой Вологды» он откликнулся на нее рассказом «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме».

Рассказ, построенный на колымских реалиях, как всегда у Шаламова, является и моделью общественных отношений, общественной психологии (в соответствии с постулатом писателя: «Лагерь - мироподобен» з8). Сопряжение с современностью, «злостью дня», подчеркнуто как бы беглым упоминанием о погибшем на Колыме «отце Медведевых» (последние - как нетрудно догадаться, Жорес и Рой Медведевы, игравшие заметную роль в диссидентском движении 70-х годов). Главный герой рассказа Леша Чеканов, как указывает Шаламов, «потомственный хлебороб», то есть

крестьянин, представитель «народа» (то, что он еще и техник-строитель, для Шаламова важно как показатель «полукультуры», очень поверхностной и быстро слетающей в лагере). Чеканов, которому Шаламов, повествователь рассказа, оказывал всяческую поддержку, «укреплял дух» в Бутырской тюрьме 1937 года (тоже знаковая деталь, символизирующая благородные порывы интеллигенции), на Колыме совершенно преобразился. Став десятником - распорядителем судеб заключенных, хозяином нашей жизни и смерти», как пишет автор, он вместе с бригадиром Полупаном, «природным крестьянским парнем» (тут комментариев не требуется), жестоко преследует рассказчика, пишет на него донос. За что все эти кары? За то, что тот как представитель интеллигенции якобы виноват во всех его, Чеканова, бедах: «Это вы, суки, нас погубили! Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов - грамотеев!» 39

За этим воплем - олицетворением слепой и дремучей злобы - и стоит для Шаламова эксплуатирующая эту злобу, проповедующая версию об «обмане» народа интеллигенцией новейшая идеология народных «заступников» и доброхотов. Она неприемлема для писателя прежде всего потому, что она - не по адресу: в метафизической коллизии «народ - интеллигенция» пропущено главное, вполне реальное звено - власть, государство (в рассказе дан недвусмысленный саркастический намек на то, что высшая иерархия власти «чрезвычайно разветвлена, разнообразна, дает простор для фантазии любого догматического и поэтического вдохновения»). Неприемлема она и морально, потому что платит черной неблагодарностью за помощь или желание помочь народу (кто откажет в этом русской интеллигенции?). Наконец, Шаламов не может принять эту идеологию, потому что она деструктивна и катастрофична, - она привела бы в новый кровавый тупик, к новому переделу общества под лозунгом некоей «подлинной власти народа», которой никогда и нигде не было и не будет (Шаламов, современник убийства Д. Кеннеди, - большой скептик относительно западных форм демократии, а у России, по его словам, «другая история») 40.

Справедливость в рассказе отчасти восторжествовала - бригадир-садивист Полупан зарублен заключенными, а «с Лешей Чекановым... я больше не встречался», - пишет автор. Этим открытым финалом Шаламов дает понять, что Чеканов, возможно, еще жив и где-то затаился со своей злобой на «грамотеев». Тут Шаламов, как и во многих других случаях, оказался пророком: на широких просторах свободной России и сегодня находится место ненавистникам интеллигенции и «радетелям» народа...

Весьма современно звучали и мысли Шаламова из написанного тогда же рассказа «Галина Павловна Зыбалова» (сборник «Перчатка, или КР-2»): «Несчастье русской литературы... в том, что она лезет в чужие дела, направляет чужие судьбы, высказывает по вопросам, в которых она ничего не понимает...» 41 Именно эта черта русской литературы - склонность к проповедничеству, учительству, к «мечтательности» - и послужила, по глубокому и многократно высказанному убеждению Шаламова, одной из главных причин российской трагедии в XX веке. Эту вину она возлагает на «русских писателей-гуманистов второй половины XIX века» 42, не называя имен. Однако имя Достоевского им все же проговаривается: «В наши дни Достоевский не повторил бы фразу о народе-богоносце» 43. И в этом отношении позиция Шаламова тесно смыкается с позицией Бунина.

Близость взглядов двух выдающихся писателей свидетельствует о том, что при глубоком проникновении в суть российской беды художник не может не коснуться

проблемы народа в ее критическом ракурсе. Идя по этому пути, он неизбежно придет к выводу, что миф о народе - один из величайших и один из опаснейших мифов российского общества в прошлом и настоящем. Трезвое, опирающееся на опыт наиболее зорких художников звание, подкрепленное всем современным научным инструментарием, предполагающим, как минимум, дифференциацию, и может стать истинным народознанием, в котором так нуждается Россия 44.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Шаламов В. Колымские рассказы. М. 1992. Кн. 1. С. 296.
- 2 Бунин упомянут среди поэтов, читавшихся Шаламовым в лагерной больнице (см. рассказ «Афинские ночи»). Повод поговорить об «уроках» в данном случае дает известное стихотворение Шаламова «Камея», перекликающееся с бунинским:
*На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет...*
(И. Бунин. Стихотворения. М., 1985. С. 60).
- 3 РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 179, л. 1.
- 4 Там же, ед. хр. 66 л, л. 24.
- 5 Из опубликованного в последние годы наиболее выразителен отклик Бунина на смерть Сталина: «Вот наконец издох скот и зверь, обожравший кровью человеческой...» (Письмо М. Алданову 10 марта 1953 г.// Октябрь. 1996. № 3. С. 150).
- 6 РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 170, л. 23.
- 7 Каграманов Ю. Чужое и свое // Новый мир. 1995. № 6. С. 175 - 177.
- 8 См., например: Боханов А. Сумерки монархии. М., 1993. С. 32. Незнание Николаем II некоторых народных обычаев и привычек сказалось, например, во введении «сухого закона» в 1914 году, приведшего к катастрофическим последствиям. См. об этом статью «Сухой закон и революция» в данной книге.
- 9 Вопросы истории. 1991. № 6 - 12.
- 10 Бунин И. Окаянные дни. Тула, 1992. С. 86. Это одна из любимых цитат Бунина, она приводится и в «Деревне».
- 11 Цит. по: Михайлов О. Строгий талант. М., 1976. С. 123.
- 12 Бунин И. Великий дурман. М., 1997. С. 174.
- 13 Все цитаты из «Деревни» цит. по: Бунин И. Избран. соч. М., 1984.
- 14 Михайлов О. Строгий талант. С. 128.
- 15 Бунин И. Окаянные дни. С. 305.
- 16 Бунин И. Великий дурман. С. 176.
- 17 Там же. С. 184, 241.
- 18 Симонов К. См. Михайлов О. Строгий талант. С. 145.
- 19 Бунин И. Окаянные дни. С. 40.
- 20 Формулировка Нобелевского комитета: «За строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер» (см.: Бунин И. Избранное. М., 1984. С. 33).

- 21 Шаламов В. Четвертая Вологда. Вологда, 1994. С. 135.
- 22 Достоевский Ф. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 48.
- 23 Шаламовский сборник. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 65.
- 24 Шаламов В. Колымские рассказы. Т. 1. С. 357.
- 25 Шаламовский сборник. Вып. 1. С. 100. Любопытно, что прототип дворника Спиридоны в марфинской «шарашке», по свидетельству Л. Колелова, действительно был сексотом. См. Данин Д., Дневник одного года. - Звезда. 1997. № 5. С. 196.
- 26 Шаламовский сборник. Вып. 2. С. 7.
- 27 Шаламов В. Колымские рассказы. Т. 2. С. 259.
- 28 Шаламовский сборник. Вып. 2. С. 59.
- 29 Там же. С. 7.
- 30 Шаламов В. Четвертая Вологда. С. 12.
- 31 Шаламов В. Вишера. Антироман. М., 1989. С. 9.
- 32 Шаламов В. Четвертая Вологда. С. 153.
- 33 Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 117, 118.
- 34 Юность. 1988. № 10. С. 60. Ср. здесь же прямой отзыв Шаламова о деревне: «Деревня увидела в революции возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, не верящей городу и мечтающей о собственной изынанной судьбе».
- 35 Шаламов В. О прозе// Шаламов В. Левый берег. М., 1989. С. 551.
- 36 Шаламовский сборник. Вып. 1. С. 86.
- 37 Один из поздних апологетов А. Солженицына, М. Бернштам, характеризует его позицию так: «Солженицын... против свободы катания интеллектуалов на народных спинах» (Дружба народов. 1992. № 4. С. 185). Подобное катание, как известно, прерогатива власти.
- 38 Шаламов В. Вишера. С. 46.
- 39 Шаламов В. Колымские рассказы. Т. 2. С. 307.
- 40 Шаламовский сборник. Вып. 1. С. 105 (о письме в «Лит. газету»).
- 41 Шаламов В. Колымские рассказы. Т. 2. С. 301.
- 42 Шаламов В. Письмо Ю. Шрейдеру // Московские новости. 1988. № 49.
- 43 Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 243.
- 44 Термин «народознание» впервые применен В. Г. Базановым. См.: Базанов В. Г. Русские революционные демократы и народознание. Л., 1974.

Секрет истины (Шаламов глазами Солженицына)

Пусть тысячекратно повторено, что литература - не спорт, приоритеты в ней имеют огромное значение. С кого началась русская поэзия? Пушкин на сей счет был великодушен: «Батюшков сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского». На исходе XX века, в эпоху, когда все расталкивают друг друга локтями, такое великодушие не в чести. Живой классик, лауреат Нобелевской премии А. И. Солженицын подверг поруганию давно умершего В. Т. Шаламова...

Четвертый номер журнала «Новый мир» за 1999 год, где опубликованы воспоминания Солженицына о Шаламове, бесспорно, войдет в историю. Правда, это будет другая история, нежели с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» в том же журнале в 1962 году. Что и печально - время (почти сорок лет!) все-таки меняет людей. Даже тех, вокруг которых еще при жизни - благодаря несомненным историческим заслугам, помноженным на извечную российскую восторженность - создается ореол святости.

Между прочим, поводом к печатанию мемуара (датирован 1986 г.) и новейшего дополнения к нему (1998 г.) стала книга, выпущенная в Вологде - «Шаламовский сборник», выпуск 2 (изд-во «Грифон», 1997). Будучи составителем и соавтором этого сборника, полагаю, что имею некоторое моральное право судить о данном предмете. Что касается претензий Солженицына к непосредственному автору шаламовских публикаций И. П. Сиротинской («публикаторше», как именует ее рассерженный А. И.), то она уже дала свой ответ - как представляется, вполне убедительный - в том же журнале, № 9 за 1999 год.

Надо ли напоминать о том, как беспощадны и несправедливы бывали друг к другу классики русской литературы - самой человеколюбивой в мире?

А все потому, что поводы для выяснения отношений были вовсе не пустяковые. Вся история отечественной словесности, перефразируя Достоевского, есть «поле битвы за сердца людей». Битва, происходившая в XIX веке, имела значение, как выяснилось, всемирно-историческое. По большому счету такое же значение имеет и противостояние двух крупнейших русских писателей второй половины XX века, двух бывших лагерников - Шаламова и Солженицына.

Статья была напечатана в газете «Московский комсомолец» в Вологде 17 июня 1999 г. В настоящей публикации дополнена. Прим. автора.

Сам факт этого противостояния, наметившегося в середине 60-х годов (что подтверждает и мемуар А. И.), несомненно, отразил глубокие общественные тенденции, не столь резко проявившие себя в ту пору - по известным причинам, но обнажившиеся до предела в заграничный период деятельности Солженицына. Собственно, и разговор сегодня следовало бы вести уже о **плодах** борьбы этих тенденций - о свершившемся в 1991-1992 годах сломе великой страны «через колено» (выражение М. Горбачева), о той роли, какую сыграла в этом идеология воинствующего радикального антикоммунизма, проповедовавшегося Солженицыным, о том, каковы исторические перспективы этой идеологии, а также и той, которая ей противостояла и противостоит. В последнем случае разумею, естественно, не реставраторов коммунизма, а сторонников умеренности и здравого смысла во всем - в политике и методах ее проведения, в реформах и либерализме, в западничестве и национализме, в конце концов, тех, кто исходит из того, что жизнь богаче любых «измов». Хотя Шаламов был чужд любых идеологий, его можно, на мой взгляд, отнести к этой тенденции.

Вот поле, на котором должна бы проходить широкая, фронтальная общественная дискуссия, касающаяся литературы в той мере, в какой литература причастна к «проклятому вопросу о цене идей». Но коль скоро такой дискуссии по существу нет - по причинам, как можно понять, слишком острой болезненности темы - то и нам придется для начала сузить вопрос, переведя его в плоскость историко-литературную, не столь уже горячую, но разворошенную самим Александром Исаевичем.

История литературы советского периода как предмет науки только складывается. Будет ли положена в ее основу книга «Бодался теленок с дубом» - очень гадательно. Между тем автор ее, судя по всему, остается верен главным положениям своей книги и не собирается их пересматривать. Это его право. Но широкий читатель, получивший возможность за годы «гласности» проштудировать весь массив непечатавшейся прежде литературы, в том числе на лагерную тему, имеет перед собой иную, более объемную картину, где властвуют иные, теперь уже непреложные факты.

К числу таких фактов относится бесспорный приоритет Шаламова в открытии и разработке лагерной темы.

Хотя сам писатель был менее всего озабочен подобными вещами, забывая даже указывать время создания своих произведений, именно восстановление датировок, проведенное трудами И. П. Сиротинской, позволяет внести ясность в этот вопрос. Заглянув в двухтомник «Колымских рассказов» издания 1992 года или четырехтомник 1998 года, любой читатель может убедиться, что ко времени выхода «Ивана Денисовича» (ноябрь 1962 г.) Шаламовым было написано уже более шестидесяти новелл и очерков колымской эпопеи. Был полностью завершен первый сборник «Колымские рассказы», начатый еще в 1954-м, «Очерки преступного мира», написано по десятку новелл из сборников «Левый берег» и «Артист лопаты». Вместе это составило бы весьма солидный том...

Имеет ли значение, в историко-литературном плане, что эти произведения не были тогда опубликованы? Означает ли писание «в стол» - неучастие в литературном процессе и отсутствие литературного события де факто и де юре? Это вопросы чисто риторические. Судьба непечатавшегося самиздатского Шаламова в этом отношении, мне кажется, вполне может быть сопоставима с судьбой «потаенного» Пушкина. Разве придаем мы значение тому, что многие важнейшие стихи великого поэта («Памятник», «Из Пиндемонта» и др.) не были напечатаны при жизни? Каждое из

них - взлет могучего человеческого духа над своей эпохой - «поверх барьеров» и вне какой-либо зависимости от так называемого общественного резонанса или отклика у современников. То же самое относится и ко всей «возвращенной» русской литературе XX века (А. Платонов, М. Булгаков, Вас. Гроссман и сотни других). В дальней ретроспективе вопрос «напечатано - не напечатано» вообще теряет смысл, и ученые-филологи рассматривают оба рода произведений в едином потоке времени, восстанавливая таким образом историческую истину и справедливость.

Вряд ли можно сомневаться, что автор «Ивана Денисовича» не осознает этого. Проникнуться, казалось бы, глубочайшим почтением к своему собрату, оценить высоту мотивов, по которым он остался без заслуженной славы и признания, понять, наконец, что это истинно русское решение вопроса («кровь должна быть настоящей, безымянной», как писал сам Шаламов). Увы, вместо этого мы видим в воспоминаниях А. И. откровенное стремление унижить и растоптать Шаламова как литературного соперника, принизить значение сделанного им - и все исключительно во имя собственного самоутверждения, дабы ни у кого не возникало малейших сомнений в правоте взятой им на себя исторической миссии...

Читатель узнает теперь, что и рассказы Шаламова «художественно не удовлетворили» А. И. («Все - на одну колодку», используя сапожный жаргон, пригвоздил он собрата). И с патриотизмом слабовато у Шаламова («разве горит у него жажда спасения Родины?») И с антисоветизмом («никогда ни в чем, ни пером, ни устно не выразил отклонения от советской системы, не послал ей ни одного даже упрека, всю эпопею ГУЛАГА переводя лишь в метафизический план»). И даже внешностью, оказывается, был неприятен («худое лицо при чуть уже безумноватых глазах»).

Наверное, когда-нибудь каждая их этих фраз будет подробно растолкована и прокомментирована. Возникнут подобающие случаю ассоциации. Вроде - «артиллерия бьет по своим». Бывшему артиллеристу и автору «Теленка» это не впервой. И мертвых задевал, и живых. Но отчего же вдруг этот жестокий залп по Шаламову?

В записных книжках автора «Колымских рассказов», напечатанных в нашем сборнике (раньше они были опубликованы И. П. Сиротинской в журнале «Знамя»), содержится несколько нелестных отзывов об А. И. Например, такой: «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын». Кроме слова «делец» в записях Шаламова есть и слово «графоман», и другие недипломатичные выражения.

Отмщение за это и воздано в воспоминаниях А. И. - воздано по всем канонам российской литературной битвы.

Присутствовать на этом «пиру богов» нам, право, не приличествовало бы. Но козь скоро слова речены и тиражированы, делать вид, будто ничего не произошло, вдвойне неприличнее - молчание в данном случае было бы воистину рабьим.

Разумеется, слова, употребленные Шаламовым в адрес А. И., никто не собирается понимать буквально. Но с другой стороны, разве в них нет совсем уж ни капли истины? Разве все «боданья» великого бунтаря - с «дубом» и «жерновыми» (имею в виду книгу «Угодило зернышко промеж двух жерновов») не основаны на весьма трезвом, прагматичном и можно сказать даже - математическом расчете? Этот расчет можно понимать и как достоинство - другое дело, что Шаламов не хотел так понимать: у него были иные представления о миссии писателя в мире. И вывод относительно

«графомании» Солженицына он сделал по конкретному поводу - в связи со стихами А. И., которые он не мог принять как поэт (хотя вывод его оказался отчасти провидческим: многословие А. И., стремление поведать городу и миру о каждой прожитой минуте, откликнуться на каждое событие, - обнаружилось позднее).

Но главное, чего не мог одобрить Шаламов у своего оппонента, - та деятельность, которую он иронично назвал «пророческой». Скепсис автора «Кольымских рассказов» по отношению к подобного рода деятельности (вне зависимости от ее содержания) имел, как известно, очень серьезные исторические причины. То, что А. И. называет у Шаламова «ожесточенным пессимизмом», на самом деле было возвратом - через опыт Колымы («и Освенцима», всегда добавлял сам писатель) - к вечному и неизменному. А. И., по-видимому, не воспринимает Шаламова не только как писателя, но и как философа. В таком случае придется напомнить, что все шаламовские максимы, касающиеся пророческо-проповеднической деятельности («искусство лишено права на проповедь»; «учить людей - это оскорбление»; «каждый м...к начинает изображать из себя учителя жизни» и т. д.), - имеют знаменательные параллели в Священном Писании (в части лжепророков, книжников и других носителей несовершенной истины). Между прочим, на заре христианства существовало и вполне конкретное религиозное предписание: «Люби ремесло и отвергай учительство». *

Таким образом, Шаламов напоминает не просто о непосильности ноши мессии для любого писателя, а о громадном потенциале опасности, скрытом в любого рода «обмирщенном» проповедничестве, которое на поверку оказывается новым идейным вождизмом или претензией на него. Главный урок XX века для Шаламова - это «урок обжигания звериного начала при самых гуманистических концепциях» (из письма А. Кремнескому, 1972 г.). Под этим углом зрения он и рассматривает деятельность своего оппонента: «Солженицын - весь в литературных мотивах классики второй половины 19 века, писателей, растоптавших пушкинское знамя»; «все, кто следует толстовским заветам, - обманщики. Уже произнося первое слово, стали обманщиками. Дальше их слушать не надо. Такие учителя, поэты, пророки, беллетристы могут принести только вред...»; «возвратиться может любой ад, увы» (там же - Знамя. 1993. № 5. С. 151 - 156).

Прав или неправ оказался писатель-пессимист - пусть судит каждый, кто посетил сей мир в последней трети нашего столетия и кто помнит, как отзывалось слово Солженицына на разных отрезках этого времени. Как воодушевляло, внушало надежды оно вначале, в пору «Ивана Денисовича» и «Матренина двора», как обжигало яростным гневом «Архипелага ГУЛАГ» и охлаждало его же заведомой предвзятостью, как бросало в недоумение и обиду «Теленком», «Плюралистами» и «Образованщиной», какие страсти и инстинкты возбудило в пору «Обустройства» (одним только «южным подбрюшьем» в адрес отделившегося вскоре Казахстана), как разочаровало помпезным американизированным сценарием возвращения на родину и школьно-учительским просветительством на телевидении и в Думе - о земстве, Столыпне и снова о земстве... Последние дозированные публикации из вермонтского периода с новейшими «добавлениями», где видно, что роль «дуба» для А. И. играет уже весь мир, лежащий во грехе, где много про неудавшиеся попытки «очнуть и подвинуть Запад к самоспасению», невозможно уже читать без чувства сожаления.

* Об этом напомнила книга современного немецкого ученого Д. Флуссера «Иисус, свидетельствующий о себе» (Урал. LTD. 1999).

И при этом - все та же убежденность в собственной непогрешимости и как бы непричастности к тому, что «Россия в обвале», что она «расплющена» (собственные слова А. И.). И при этом - душеспасительная проповедь, что «вне духовной укрепы от православия нам на ноги не встать», и упрек Шаламову в атеизме...

Но «необращенный» Шаламов, оставшийся до конца верным своему призванию художника, «пушкинскому знамени», ни в малейшей мере не виновен в том великом «смущении умов», которое имело роковые последствия для страны. Роль же Солженицына в этом «смущении» - при явном преобладании **реального разрушительного** начала в его идеях над **утопическими созидательными** - поистине основополагающа. Неистовый автор «Красного колеса» и «Ленина в Цюрихе» как никто другой (и прямо-таки с большевистской, ленинской страстью) способствовал тому, чтобы превратить весь период советской истории в «черную дыру» и тем самым разорвать те «духовные укрепы», которые могли бы еще вести и вести общество и государство по пути гораздо менее разрушительному, по пути эволюции от фальшивого милитаризованного социализма к реальной социальной демократии. В конце концов, десятилетнее деморализованное состояние России как страны, лишенной «базового консенсуса» (философ А. Ахиезер), попросту - согласия в умах по коренным вопросам, - не одно ли из следствий недавней либеральной восторженности «разрешенным», некритически воспринятым Солженицыным?

Предупреждения Шаламова на сей счет остались, увы, не услышанными. Писатель, последовательно и мужественно выступавший против политических спекуляций на своих произведениях знал, почему он это делает - он был чутким сейсмографом мировых потрясений и не желал вызывать их. Любопытны подробности того, почему Шаламов в свое время отказался от предложения А. И. совместно работать над «Архипелагом». Наконец-то детали этого исторического разговора (происходившего, как мы теперь знаем, 30 августа 1964 г.) прояснены самим А. И.:

«Я изложил с энтузиазмом весь проект... и получил неожиданный для меня - быстрый и категорический отказ... Он ответил прямо: «Я хочу иметь гарантию, для кого пишу».

Казалось бы, мотив предельно ясен: Шаламов не желал писать для тех, кто мог использовать его имя и его произведения как утилитарное средство в холодной войне. Странно, что А. И. до сих пор не понял этого, странно, что он считает, будто Шаламовым здесь двигала якобы тщеславная «мысль об известности». Приходится признать, что взгляды двух писателей действительно, как пишет А. И., «слишком разные». Но неужели жизненная и писательская позиция Шаламова, выраженная простым принципом, выработанным (выстраданным!) еще в лагере, - «со своими проблемами я справлюсь сам»* - заслуживает какого бы то ни было укора? Не предпочтительнее ли она позиции вечного назойливого эксперта по мировым проблемам, которые всякий раз оказываются гораздо сложнее, чем о них высказывались? И напрасно А. И. пытается сейчас поставить Шаламову в вину то, что «несмотря на колымский опыт, на душе его остался налет сочувственника революции и 20-х годов». Ибо, во-первых, этот «налет» (именно налет - спасибо за слово!) в той или иной мере остался также у огромного большинства людей, населяющих пространство России и СНГ, а во-вторых, без этого «налета» (с ясным пониманием ошибок и бережным отношением к полуреализованным достоинствам) невозможно прийти к тому «базовому

* См.: Шаламовский сборник, вып. 1. Вологда. 1994. С. 104.

консенсусу», в котором так нуждается страна. Ведь провозглашаемая ныне некоторыми интеллектуалами-публицистами мысль о необходимости национального согласия на основе «онтологически понимаемой Белой идеи» (Ю. Каграманов) вряд ли осуществима практически хотя бы потому, что «онтология», т. е. природа этой идеи в принципе чужда вековым российским народным традициям. Ведь она имеет лишь весьма условную поддержку - в почитателях песни про «поручика Голицына» - настолько же пошлой, насколько была пошла идея «кухарки», вовлеченной в революцию...

Воспоминания Солженицына о Шаламове по намерению их автора являют собой итог старых литературных споров 60-х годов. Это своего рода «пир победителя» на могиле поверженных идей. Но подводить итоги, как представляется, преждевременно. А унижать Шаламова ссылками на «безумноватость» и «зависть», якобы двигавшую им в его отношении к автору, - просто неблагородно.

Уже чего-чего, а зависти к кому бы то ни было одинокий и гордый Шаламов был начисто лишен. И еще надо разобраться, кто здесь Моцарт, а кто - Сальери. Где алгебра и где гармония. Если по большому - гамбургскому - счету?

И, чтобы снять все подозрения в «безумноватости» (читай: слабоумии, юродстве) Шаламова, стоит привести одну его сентенцию из тех же записных книжек, где он размышлял об отправившемся в свою литературно-политическую одиссею Солженицыне:

«Секрет истины: просто кто дольше живет, кто кого перемеруарит».

Пусть живет дольше Александр Исаевич. И отдавая ему должное как великому борцу против несвободы, будем же сами свободны. И в своем отношении к его мемуарам о Шаламове, и ко многому другому.

Свободны от ритуальной фальши идолопоклонства и возвышающего обмана. Во имя низких, печальных, но отрезвляющих истин.

И поскольку здесь затронута тема патриотизма (кто больше заботился о благоденствии Отчизны?), стоит напомнить, что писал по этому поводу сам Шаламов:

*Мы родине служим по-своему каждый,
И долг этот наш так похож иногда
На странное чувство арктической жажды,
На сухость во рту среди снега и льда...*

Вологодские споры

Будучи по своей природе до крайности въедливым, автор не мог обойти в своих трудах и некоторых явлений близкой ему вологодской жизни. В настоящем разделе публикуются полемические статьи и заметки, напечатанные в свое время в местных изданиях. Полагаю, что в своей совокупности они в известной мере восполняют странный пробел вологодской литературной жизни - отсутствие на протяжении последних десятилетий какой бы то ни было критики отдельных авторов и их произведений. Для иллюстрации провинциальных нравов и умонастроений перепечатываются некоторые ответы оппонентов.

Василий Белов как зеркало смуты

Тысячекратно заклеянная проклятьями философская методология г-на Ульянова-Ленина имеет-таки рациональное зерно. Каждый писатель - а не только Лев Толстой - суть зеркало. То ли эпохи, то ли собственных фрейдовских комплексов. И в каждом при желании можно пайти противоречия: с одной стороны, гениальный (крупный, средний) художник, с другой - хлюпик (псеврастеник, алкоголик и даже эпилептик, как было с Достоевским). Конечно, встречаются и цельные натуры, но они редки, как саблезубые тигры.

Если взглянуть с этой точки зрения на деяния нашего знаменитого земляка В. И. Белова, то можно обнаружить много любопытного. Диссонансы тут сплошь и рядом. Для читателей они открылись еще в ту пору, когда автор целомудренного «Привычного дела» псожиданно явил миру роман «Все впереди», где впервые в отечественной словесности глазами простого крестьянина взглянул на щекотливую тему эрогенных зон. Она до того взволновала его, что даже выступая по ЦТ, писатель счел своим долгом обрушиться на аэробику (девушек в купальниках) как главный тормоз начавшейся перестройки. Став нардепом, В. И. Белов не раз заставлял вздрагивать Верховный Совет и телезрителей своими высказываниями по широкому спектру морально-

политических проблем. Наряду с устным жанром писатель прославился в жанре газетно-журнальной проповеди. Итогом этого миссионерства стала книга, выпущенная недавно в Москве*.

В ней представлены «выбранные места» из его речей, интервью и статей за последние (до октября 1993-го, события которого, как стало известно, писатель собирается осветить в другом жанре - в пьесе). Издание книги надо только приветствовать, т. к. отныне вступила в действие поговорка «что написано пером - не вырубишь топором», и мы можем оценить прогресс мысли В. И. Белова в совокупности. Тем более, что диапазон вопросов, по которым он высказывается, просто феноменален: от внешней политики России на Ближнем Востоке и Балканах до «разврата» на вологодском 7-ом канале и в ТЮЗе, от обличений загадочного «мондиализма» до трогательных откровений о собственном сломанном носе («Так и живу со сломанным носом. Врачи предлагали операцию, но то ли времени нет, то ли побаиваюсь»...)

В истории русской литературы уже бывали подобные эпизоды - и с «выбранными местами», и с носом. В. И. Белов хорошо помнит это - он и сам не раз тревожит тень Гоголя. Но положи руку на сердце, скажем, что за классика в данном случае обидно. Потому хотя бы, что он, Гоголь, вряд ли предполагал, что литературно-философский уровень повешшего душеспасительства окажется столь удручающим. Ведь, право, целовко читать: «В отчаянии я, подобно Анатолию Ивановичу Лукьянову, пробовал делать в политике поэтическую прослойку» (!). И далее стихотворные строки: «...Но даже в дыму алкогольной отравы я этой обиды забыть не смогу». Вот и верь после этого, что Василий Иванович стал трезвенником! Вот и не засомневайся хотя бы в мало-мальской жизнестворности его призывов: «Для того, чтобы выстоять, внемли себе. Выключи радио и телевизор со всей его видеотехникой» (!)...

Слов нет, наше время трудновато для пера, как говаривал поэт, который еще до А. И. Лукьянова пытался сделать в политике поэтическую пиццу. Почти у всех у нас есть претензии к властям - вполне обоснованные. Но претензия на глобализм мысли, на вселенский размах в разоблачении зла свойственна только пророкам или крайне экзальтированным натурам. На роль пророка наш земляк явно не тянет, потому что, во-первых, пророки жили в пустыне, а он - на ул. Октябрьской да в Тимошихе, и, во-вторых, потому что его панические заклинания из речей на Верховном Совете (например, об «угрозе голода») не сбываются. Очевидно, что В. И. Белов принадлежит к крайне экзальтированным или, по его слову, отчаявшимся натурам. Таких натур, выбитых из колеи жизни или прочитавших слишком много мудреных книг в один присест, в нашем обществе - куда денешься? - вполне достаточно. В этом смысле наш писатель, конечно, является зеркалом, как и Лев Толстой. Отчасти - зеркалом настроений женской части крестьянства, стоящей в очереди у прилавка приватизированного сельпо, отчасти - зеркалом настроений мужской части городских пенсионеров, которые ходят в баню по льготным

* Белов В. И. Внемли себе. Записки смутного времени. М. Скифы. 1993. 5 тыс. экз.

диям и любят поговорить о политике. Потому что только там - в очередях и в бане - можно услышать, что Вологодская область стала колонией (потому что торгует лесом с иностранцами), что Россию всегда губили «предатели» (Шульгин и Гучков, принимавшие отречение от престола у Николая II в 1917 г., и Горбачев, пришедший к власти в 1985-м). Причем, Горбачев, по мнению В. И. Белова, виноват еще и во взяточничестве - он соблазнился на Нобелевскую премию. «Ведь премии - те же взятки», - утверждает наш обличитель. Читатели, знающие, что сам автор этого афоризма был удостоен Госпремии СССР, могут делать выводы...

«Слоеный пирог, состряпанный из политики и художественной литературы, никогда не станет съедобным. Откусишь, пожужешь и выплюнешь», - пишет В. И. Белов. Золотые слова! Они как нельзя лучше характеризуют его новую книгу. И можно было бы не вспоминать ее - как досадный вывих почтенного автора - если бы не оставались недоуменные вопросы: как, почему он стал впадать в такие странности? Отчего вдруг у создателя знаменитых «Бухтин» исчезло чувство юмора и он не замечает в своих торопливых текстах явной самопародии?

Все дело, пожалуй, в том, что писателя (такое бывает и у людей обыкновенных) одолел «пунктик». Можно назвать это по-латыни *idee fixe* или по Лермонтову - «одна, но пламенная страсть». Состоит она в том, что В. И. Белов вдруг горячо озаботился контрразведывательной проблемой «врагов России». В новой книге то и дело, как молнии, сверкают его грозные заклинания: «...Но тут-то и всполошились враги России. Под видом борьбы с коммунизмом они начали борьбу против самой России, против самих русских и их государственности»; «десятки правительств и даже целые народы ждут-не дождутся, когда Россия, наконец, испустит дух». И даже термин «образ врага», по мнению В. И. Белова, придумали не ученые-социопсихологи, а «наши враги, враги русского народа»...

Ух, как страшно! Страна в кольце врагов, люди, будьте бдительны, ловите шпионов и вредителей - как в годы ЧК, НКВД, СМЕРШа и андроповского КГБ. Судя по всему, в Тимошину, как в Лэнгли, стягивается теперь какая-то секретная информация, недоступная даже внешней разведке и ФСК. Наш писатель не желает ни с кем делиться ею. По крайней мере, он не столь откровенен, как его сотоварищ И. Шафаревич, объявивший, что врагом России является один «малый народ». У Белова ведь масштаб шире - «целые народы»! Так что в антисемитизме его никак не обвинишь - не на того напали! Он всего-то... как бы помягче сказать... антиимпериалист, антимонодиалист и антизападник. Защитник славянства и православия. Любит все свое, родное, доморощенное и не любит ничего иностранного, заемого. Это не запрещено! И ни под какую статью о разжигании национальной розни это не подведешь - всего-то ксенофобия (с греческого - враждебность ко всему чужому), или «чужебесие» наоборот.

Последнее словечко вологжанам уже знакомо. «Чужебесие» - называлась статья В. И. Белова в нашей местной демократической газете, вполне подходившая под рубрику «Нечистая сила». По мнению В. И. Белова, это

слово вышло из глубин народной жизни. На самом деле его не отыщешь даже у Даля. А если слова нет - может, нет и явления? Может все это придумали книжники, идеологи, изобретатели неологизмов? И «чужebesие», если быть точным, придумал в XVII веке Ю. Крижанич - между прочим, хорват и католик - решивший направить Россию на истинный путь. В XIX веке «чужebesие» извлекли на свет другие книжники - славянофилы, громко провозгласившие, что Запад гниет, а Русь святая. Русское общество глубоко и надолго увязло в этой доктрине, поскольку она очень льстила национальному самолюбию: мы - лучше всех в мире! Некоторые крайне экзальтированные писатели уже тогда сделали эту доктрину своей *idee fixe*. «На Западе Христа потеряли (по вине католицизма) и оттого Запад падает», - эту незамысловатую сентенцию гениального Достоевского можно прочесть и в книге Белова. Стремление остановить растущее влияние Запада и вернуть под крыло православия византийский Царь-град (Константинополь, Стамбул) одолело и российских монархов, которые ради этого не раз ввязывались в войны, в том числе в роковую войну 1914 года. Надо ли удивляться, что когда вместо прорубленного с трудом окна в Европу был воздвигнут железно-ракетный завес, доктрина загнивания той стороны вновь стала очень популярна? По крайней мере Сталин и Хрущев считали «низкопоклонство перед Западом» - вариант «чужebesия» - государственным преступлением. И тех, кто посмел заикнуться, что Россия - не родина слонов, ссылали известно куда - поближе к топянам и оленям.

Кто же первым пробил брешь в этой вековой изоляции от мира? Горбачев? Шewardидзе с Яковлевым, которых клянет Белов? Нет, первыми были добропорядочные советские туристы, которые, приезжая в капстраны, падали в обмороки в супермаркетах. Без этих обмороков, а также без тушенки «Китайская стена», лет десять назад появившейся на прилавках наших убогих сельмагов, - не было бы открытия, что мы живем как-то не так. Здесь-то и самому забитому простолодуну стало ясно, что книжники, вещавшие о «бездуховности» по ту сторону всего периметра границы, - еще и фарисеи. Что отгораживаясь от мира и двести лет непрерывно твердя о «врагах», мы сами выкопали себе яму, из которой теперь надо выбираться...

Кстати, о китайской тушенке. Ее появление на российском рынке стало возможным благодаря тому, что был сломан хребет китайскому варианту славянофильской доктрины. Ее воплощала в древние времена Великая Стена, а при Мао - лозунг борьбы с «драконами империализма». Китайцы почему-то быстро поняли, что открыть дорогу иностранному капиталу - вовсе не значит стать колонией. И если они сегодня так же быстро идут вверх, как мы - вниз, то это прежде всего потому, что перестали видеть кругом «драконов», «врагов» и т. д. Гребут инвестиции со всего мира и спасают себя без всяких фронтов национального спасения и без оглядки на классиков китайской литературы. И даже до Вологды с товаром добираются.

Ах, паша самобытная культура? Ах, чистота православия? Но на культуру-то российскую разве кто чужой покушается - не даст частушки петь, орнаменты вышивать да книги умные писать? А о чистоте православия предоставим

судить сведущим людям. Напрасно утверждает В. И. Белов, что «в Европе и в Америке видят в православии оплот какой-то реакции, черносотенства и так далее». По крайней мере управление внешних сношений Московской патриархии таких заявлений - об Америке и Европе - не делало. И далеко не все в церковных кругах разделяют идею нашего писателя о губительном «соблазне» экуменизма - объединении всех христиан на началах любви и терпимости. Если нашему земляку почему-то не нравится папа римский и кажется подозрительной его встреча с бывшим президентом СССР («Не напрасно Горбачев шпырял по лестницам Ватикана», - как изящно выражается автор книги «Вспемли себе»), то самому папе римскому до этого, пожалуй, мало дела. По крайней мере, если В. И. Белов и олицетворяет православие, то только как неофит-пионер с очень малым стажем. А все неофиты-пионеры, как известно, - самые ярые догматики и ортодоксы. Иначе говоря - фундаменталисты.

Тех, кто слышал только об «исламском фундаментализме», об аятоллах и т. д., можно просветить: фундаменталисты (и «аятоллы») есть в любой религии. Это те, кто ненавидит слово «цивилизация» и все, с ним связанное: демократию, свободу критики, джинсы, смокинги, бикини и противозачаточные средства. Их девиз - жить строго по букве писания (Корана, Талмуда, Домостроя, по заветам Филофоса или Ивана Ильина). Кто не живет так - да будет проклят и горит в аду. Их идеал - средневековье, келья монаха, община с публичной поркой или, на худой конец, общество трезвости. Сами они, как правило, считают себя святыми и неподвластными мирскому суду. Поэтому спорить с ними бесполезно. Тем не менее иногда это надо делать - когда они собственную душевную смуту выдают за вселенскую и, увлекаясь, морочат головы своим наивным почитателям.

Статья была опубликована в 1995 г. в газете «Вологодское культурное обозрение», редактировавшейся автором. К сожалению, из-за финансовых проблем первый (пробный) выпуск этой газеты оказался и последним.

Ниже перепечатываются фрагменты ответной статьи вологодских писателей из газеты «Русский Север» от 30.05.95.

С приходом демократии и рыночных отношений, в том числе в искусство, политику и даже в область нравственности, в нашу жизнь прочно внедрилось одно из основных западных изобретений - этикетка, или обертка. Мы раньше как-то не придавали ей значения. Мы, так сказать, привыкли ощущать субстанцию непосредственно, больше доверяя своим осязательным способностям, а не чужим подсказкам.

Но пришли иные времена. Западная цивилизация, в которую нас активно вталкивают новомыслители, считает так: если тебе подали на обед сено или, простите, содержимое клозета, а на этикетке написано, что это «Стиморол» или, на худой конец, «культура» (да и вообще нам все это будет полезно, так как делается из лучших дружеских чувств), то, значит, так думать и нужно.

Кое-кто поступает более изощренно. Можно, например, приготовить торт, пригласив к работе лучших кулинаров, и при этом напитать его смертельным ядом. Причем кулинарам об этом знать не обязательно.

Именно так и поступил некто Есипов в своей «пробной» газетенке, претендующей на «культурное обозрение Вологодчины». Есипов, причисляющий себя к когорте западных новомыслителей, сообщает в «Колонке редактора», что одной из основных задач своей газеты он считает воспитание хорошего вкуса. И сразу прячется за спины уважаемых у нас людей... И очень жаль, что Есипов просто подставил этих заслуженных людей, потому что за ширмой их имен протащил исконно свое - низменное, гнусное, антинациональное. Мы уверены: знай заранее эти люди взгляды издателя, его зоологическую ненависть к русской культуре, философии, литературе, к стране своей, безнравственность чисто человеческой позиции - они бы отказались от такого сотрудничества...

Полоса представляет собою набор всевозможных помоев (иначе не назовешь), которые в припадке бешенства исторгаются неким мутантом «западной волны» на голову писателя с мировым именем Василия Ивановича Белова. Обозначено это эклектическое и насквозь живое зловоние как «рецензия» на книгу публицистики Белова.

Смешно было бы нам защищать гордость русской литературы, всемирно известного писателя.

Но чернится-то в лютой, омерзительной злобе гражданская позиция писателя, близкая миллионам наших соотечественников. Чернится, грязно охаивается то, что Василий Белов, писатель и гражданин, болеет за свой народ, за его культуру и нравственность, за свою страну и грудью стоит против ее разрушителей.

Впрочем, Василий Белов для пасквильянта - лишь символ, ибо задача есиповых идет дальше. Обладая куриным кругозором и вместе с тем пакостностью сатаниста, Есипов обрушивает потоки грязи на православную веру, которой присущи духовность, соборность, патриотизм, возвышающие человека над низменными ценностями западной цивилизации: он издевается над ментальностью русского народа, народа-собирателя, он предает анафеме русское религиозно-православное мышление, во многом определившее развитие мировой философской мысли двадцатого века.

Есиповы ненавидят Россию. Они привечают ее убийц, хулителей и клеветников. Есиповы ненавидят народ, населяющий Россию, его традиции, самобытность. Они ненавидят интеллигенцию, принадлежащую этому народу. Как же с такой-то вселенской ненавистью «обозревать» культуру?

**По поручению Вологодской писательской организации
Александр Грязев, ответственный секретарь;
Олег Ларионов, член Союза писателей.**

От автора. *Свой краткий ответ на эту грязь я дал незамедлительно, озаглавив его «Саморазоблачайтесь, господа» и написав, что здесь «в самой откровенной форме представлено лицо русского национал-патриотизма со всей его агрессивностью», добавив слова о «не слишком высоком интеллектуальном уровне людей, имеющих претензию считать себя писателями». Остаюсь в этом мнении и донныне. Что касается В. Белова, то он тоже, судя по последующим произведениям, остался в своих мнениях о мироустройстве, и на иное невозможно было рассчитывать. Критика существует ведь исключительно в читательских интересах, не так ли?*

Разбитая икона

(о гибели Н. Рубцова)

Никогда не думал, что всерьез займусь исследованием гибели Н. Рубцова - нет у меня склонности к столь мрачным сюжетам, к перетряхиванию грязного белья. Однако, волей-неволей пришлось втянуться в эту тему: слишком уж большим пластом домыслов она обросла. Постепенно, за несколько лет, собрался материал, который подтвердил то, что подсказывала интуиция. А именно: в деле об убийстве Рубцова изначально присутствовала необъективность, тенденциозность, которая привела к серьезной судебной ошибке. Весь шум, все споры, все проклятья, сопровождающие эту историю на протяжении вот уже 25 лет, во многом - следствие этой ошибки. И ее еще не поздно исправить...

«Рыжий Дантес в юбке»

Вначале хочу поблагодарить В. Арипина, автора статьи «Создается миф о «трагической любви» (РС от 27.09.96), - эта статья стала последней каплей, выпудившей меня взяться за перо. Самое странное, что автор отождествляет свое мнение с мнением всех вологжан. Он заявляет, что «в Вологде Л. Дербину не простили и не простят», потому что у нас «знают правду» об этой истории, которая якобы недоступна Е. Евтушенко, В. Бокову и другим, кто высказывал сочувствие Дербиной. Любопытно было бы провести социологический опрос среди вологжан по предмету «прощения». А насчет правды можно сказать однозначно: ее у нас мало кто знает, потому что много лет людям упорно внушается только одна версия - о злодейке, погубившей ни в чем не повинного талантливого поэта. Версия эта исходит от группы вологодских писателей, к которым и апеллирует В. Арипин.

Мне уже не раз приходилось вступать в полемику с нашими писателями по разным вопросам, и я бы не хотел, чтобы в этом видели какое-то пристрастие. Речь идет о вещах серьезных, в данном случае - об откровенной травле несчастной женщины.

Напомню, Л. Дербина, осужденная за умышленное убийство Рубцова на восемь лет тюрьмы, отбыла свое наказание. Если этого недостаточно для «общественного мнения», приведу факт из других, очень интимных сфер: обратившись к Богу, она принесла церковное покаяние и три года несла спитимью (строгий пост, молитвы), наложенную на нее священником-духовником. Что пужно еще от женщины, которая исполнила все обеты (православные и человеческие) во искупление своей вины? Молчать бы падо,

а не растравливать рапы, не умножать зло - как минимум. А главное, помнить, что Рубцов любил эту женщину, что его последними словами было: «Люда, я тебя люблю»...

Что же происходит в Вологде? Не стану говорить о книге В. Коротаева* «Козырная дама» - мне уже довелось писать рецензию, где все вещи были названы своими именами: бульварный, низкопробный опус, оскорбляющий память Рубцова. Как назвать иначе, если о Л. Дербиной здесь говорится языком базара («змея») и вся мысль автора сводится к тому, чтобы представить ее орудием неких фантастических «темных сил», покушавшихся на Рубцова и на Россию («не Рубцов шел к гибели, а к нему шли с гибелью») - вот эта незамысловатая идея, фигурирующая в книге).

Самое удивительное, что в год 60-летия поэта тема его смерти стала едва ли не доминирующей и смакуется на разные лады. Например, тот же В. Коротаев, выступая весной в центральной библиотеке Череповца, громогласно заявил, что «убийство было заказным, и за это преступление перед всем народом Дербина получила много денег» (цитирую по газете «Речь»). Публика, как пишет газета, обомлела от этих слов. Так же ей пришлось обомлевать и во время торжественного собрания в Вологде, посвященного 60-летию Рубцова, где выступали писатели калибром покрупнее. Например, С. Викулов без обиняков поставил смерть Рубцова в один ряд со смертью Пушкина, Лермонтова, Есенина, Гапина, упирая на те же «темные силы». А В. Белов, развив эту тему, назвал Л. Дербину прямо и хлестко: «Рыжий Дантес в юбке» (имея в виду цвет ее волос в молодости). Писатель во всеуслышание огласил также одну душераздирающую подробность гибели поэта, от которой весь набитый битком зал «Русского дома», кажется, вздрогнул. В. Белов сказал, что видел у мертвого Рубцова в морге оторванное ухо - он привел это как доказательство якобы садистских наклонностей Дербиной...

Есть старый совет: чем сильнее пагнетаются страсти, тем спокойнее надо быть. Я вспомнил свои встречи с Людмилой Александровной Дербиной, вспомнил все, что она писала и говорила (и что слышали, наверно, многие телезрители в моей прошлогодней передаче о ней), и отправился туда, где хранятся самые надежные источники об этой печальной истории - материалы судебного процесса 1971 года. Давно хотелось их посмотреть, тем более, что было сомнение в корректности суда.

Трагедия на улице Яшина.

Милицейский протокол - суровый документ. Он запечатлевает - в отличие от литературы определенного сорта - правду без утаек и прикрас, правду горькую. То, что открылось глазу дознавателя, пришедшего утром 19 января 1971 года в квартиру Рубцова на улице Яшина, очень напоминало картину обычного пьяного дебоша в советском стиле: все перевернуто вверх дном - стол, стулья,

* Ныне покойного. Я бы не стал тревожить его память, если бы он при жизни не был так агрессивен в отстаивании своей версии, которая была, безусловно, ошибкой сердца. От таких ошибок, к сожалению, не свободны многие талантливые люди, каким был В. Коротаев как поэт.

посуда. Из всех деталей, перечисленных в протоколе, отмечу три самые характерные и, бесспорно, символические: разбитая икона, разбитая пластинка песен А. Вертинского и 18 порожних бутылок из-под красного вина. Каждая из этих деталей - словно срез жизни Рубцова и одновременно знак трагедии, знак беды.

Когда сегодня иные мемуаристы пишут о том, что Рубцов был «почти непьющим» или «пил, как все», это нельзя назвать иначе, как фарисейством. О пьянстве его еще со времен Литинститута сложились красочные легенды, которыми он и сам, кажется, гордился - до поры до времени, пока не понял, что дело зашло слишком далеко. Я не сторонник морализирования по этому поводу: нет пьянства без причин, тем более у поэта, по факт остается фактом: у Рубцова были все симптомы того, что называется хроническим алкоголизмом. Напомню, что задолго до трагедии на собрании писательской организации (по требованию блюстителя правоп - обкома КПСС) Рубцова в очередной раз «разбирали», и было предложение направить его на лечение в ЛТП. Убогая совдеиствительность - о кодировании тогда и не слыхивали. Между прочим, этот факт - об ЛТП и ему подобные - были обойдены на суде, и в этом отчетливо ощущима тенденция к обелению Рубцова, которая взяла верх.

Скажут: вот представил поэта алкоголиком, а он ведь стихи писал чудесные. В минуты просветления, «в минуты музыки» - да, писал. Но таких минут становилось все меньше. «Я пропил уже целые тома своих стихов», - не раз говорил Рубцов Дербиной...

Как можно было полюбить такого человека, приехать к нему из другого города - чтобы мучиться, терпеть, жить на грани разрыва, во имя чего? Многим это до сих пор непонятно. Русская любовь - всегда жалость, тут и отгадка. Людмила понимала, что Рубцова надо спасать и делала многое для этого. «Все восхищались его стихами, а как человек он был никому не нужен. Он был поэт, а спал, как последний босяк - без подушки, обедал прямо из кастрюли», - это строки из ее следственных показаний. Она жила с дочерью в деревне за городом, Рубцов умолял переселиться к нему, расписаться в загсе. Она приезжала, наводила порядок в квартире, но на последний шаг долго не решалась: любовные порывы с его стороны слишком часто чередовались с пьяными оскорбительными выходками, с приступами непонятной ревности. Наконец, в очередной период просветления, после клятвенных обещаний Рубцова не пить, они все-таки пошли в загс и подали заявление...

Отчего облака обгагрнели?

Или был в том нерадостный знак?

Прочитанья январской метели

И внезапно сгустившийся мрак

Над Софийским осмеркнувшим храмом,

Над заснеженной мертвой рекой -

Все вещало нам грозную драму,

Все вещало конец. И какой!..

Это стихотворение Л. Дербина написала уже в тюрьме. Предчувствия по пути в загс, через Соборную горку, оказались не случайными. Но была еще «сила влюбленного взгляда» Рубцова (строка из того же стихотворения), и то,

о чем Людмила говорила на суде: «Он был талантливый поэт, имел надо мной власть, и я ему все прощала».

А она была не просто «жалостливой бабой». О стихах, которые она писала тогда, есть отзыв самого Рубцова: «То, что стихи Л. Дербиной талантливы, вряд ли у кого может вызвать сомнения». В Вологде почему-то говорят о поэтической ревности, о каком-то «сальризме» Дербиной, но забывают о главном: поэтесса - это прежде всего личность, это обостренное чувство человеческого, женского достоинства. Именно это чувство, на мой взгляд, - ключ к пониманию январской трагедии.

...Начиналось все с дружеской пирушки. Гуляя в центре города, Людмила и Николай встретили друзей. Рубцов был в хорошем настроении, Людмилу представлял как «жепу» (хотя заявление было только подано). Зашли в одну компанию, потом, взяв с собой вина, поехали домой. Людмила не пила, а Рубцов постепенно хмелел. Ему показалось, что один из друзей - ныне покойный журналист Н. Задумкин (в книге В. Коротаева он оскорбительно назван Заумкиным) оказывает повышенное внимание Людмиле. «Ты почему пристаешь к моей жене?» - грозно прокричал Рубцов и прогнал Задумкина. Прогнал он и другого гостя, когда тот пробовал запеть. Когда они с Людмилой остались вдвоем, Рубцов уже был пьян. Экспертиза потом будет сформулирована несколько страшно: «средняя, близко к сильной степень опьянения». Те поступки, которые совершал Рубцов, говорят о другом - о полной несменяемости. Это был какой-то припадок ревности и дикого буйства.

«Он ломал мне руки, плевал на меня, бросал стаканы, зажеженные спички. Я хотела уйти, но он запер дверь изнутри и ключ положил в карман. Он хотел меня убить, искал молоток в ванной... Потом на какое-то время он стихал, просил прощения, говорил о любви. Я отвечала: «Вот так: «то люблю, то убью». Это продолжалось всю ночь, до утра. Мне было страшно, но я решила вытерпеть все и уехать. Мне не хотелось жить, я хотела, уехав, покончить с собой... Возможно, беды бы не случилось, если бы он, наконец, оставил меня в покое. Но он после всех глумлений повалил меня на постель спать с ним...»

Оборвем показания Л. Дербиной. Финал - известен. Она сама пришла в милицию. В деле есть фотографии трупа Рубцова, по которым можно судить, куда была направлена защитная реакция Дербиной. Горло Рубцова во множестве царапин, труп лежит спиной вверх. (Никакого «оторванного уха», разумеется, нет). Последними словами Рубцова, по показаниям Дербиной, были три фразы: «Люда, прости, Люда, я люблю тебя. Я тебя люблю». Соседи - изоляция плохая - все это слышали. В деле есть их показания о крике: «Люда, я люблю тебя!» - он прозвучал «как бы сквозь слезы, крик мольбы»...

Суд

Фабула дела, если взять ее существо, - не редкий, увы, в жизни пример взрыва человеческих страстей, взаимной утраты самоконтроля. Все юристы знают, сколь сложны эти дела, сколь большой деликатности они требуют. А если этого качества нет, то исходить хотя бы из беспристрастия. У Фемиды завязаны не только глаза, но и уши. К сожалению, «шум улицы» - эмоциональный

резонанс на убийство Рубцова в Вологде - сыграл в этом деле слишком большую роль.

Если бы следователю В. Меркурьеву пришлось разбирать аналогичное бытовое убийство с неприметными, рядовыми героями (из какого-нибудь окраинного рабочего общежития), то он бы, пожалуй, оказался на высоте положения. Ведь очевидно, что обвинение в подобном случае может быть предъявлено только по статье 104 УК, которая гласит об убийстве, совершенном «в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего». Нервный всплеск, аффект - потому что тебя довели, «достали», выражаясь новоязом. Вина тут делится поровну, и не только моральная. Максимальный срок по этой статье - пять лет (вдвое меньше, чем за умышленное убийство) - как бы предполагает, что вина потерпевшего учтена, ведь он все затеял. На практике же подобные дела часто обходятся без лишения свободы, ограничиваясь исправительными работами. Именно на этом и настаивала адвокат Л. Федорова - опытный и чуткий юрист (к сожалению, ее сейчас уже нет в живых).

Но Вологда - нет, не Вологда, а определенные круги в ней, прежде всего некоторые писатели - жаждали мести, «крови». Можно понять горечь утраты, горечь сожаления, но откровенную злобу?

Центр тяжести обвинения перемещался на Л. Дербицу - одинокую в городе, беззащитную. О том, как бы посмотрел на эту историю сам Рубцов («мы сваливать не вправе вину свою на жизнь») никто не думал. Его «душеприказчики», забыв о трагической стороне его жизни, начали лепить ангелоподобный образ Рубцова. В характеристике, представленной в суд из писательской организации, не было и намека на какие бы то ни было его слабости. А на Дербицу, наоборот, собирался всяческий компромат. Итог известен: Вологодским горпарсудом (председательствующий Ю. Гавриков) она была осуждена по статье 103 УК «за умышленное убийство в соре, на почве неприязненных отношений». Заметим, что по этой статье обычно судят за убийство в уличной драке...

Судебная казуистика ярче всего проявилась в следующем: одним из главных аргументов для вершителей правосудия стало стихотворение Дербиной из ее сборника «Сиверко» (1969 г.). В нем, в некоторых его строках («О, как тебя я ненавижу и так безудержно люблю», «я перепутаю все карты твоей блистательной судьбы» и т. д.) они увидели замысел убийства Рубцова... Между тем это стихотворение было написано десять лет назад и посвящено совсем другому человеку. Об этом на суде заявила сама Л. Дербина, подчеркнув (справедливо!), что ей «чрезвычайно страшен сам принцип следователя Меркурьева и судьи Гаврикова приобщать к уголовному делу лирические стихи». Сегодня, с высоты наших общественных «прозрений», это кажется и вовсе абсурдом, пережитком сталинщины. Зная, что советские служители Фемиды в массе своей всегда были далски от поэзии, можно предположить, что стихи были включены в обвинение с чьей-то подачи. Кроме «братьев-писателей» это сделать было, пожалуй, некому. Так что на суд они оказывали явное давление!

Подтверждением этой закулисной борьбы может служить и отказ суда от

требования адвоката пригласить представителя Вологодской писательской организации в качестве свидетеля. Это было бы логично, ведь дело касалось не просто «друга», а члена одной организации (по советским правилам такое приглашение было строго обязательным). Вместо этого на суде присутствовал в качестве «корреспондента газеты «Красный Север» В. Коротаев, чья задача, как теперь выяснилось, состояла в выискивании «козырей» для своей «Козыршой дамы».

Суд был, напомним, закрытым. Никаких сообщений в прессе о подобном давать было не принято. Кассационная жалоба в коллегии областного суда не дала результатов. В высшие инстанции решили уже не обращаться. Когда я спросил Л. Дербину: «Почему?», она ответила: «Я была раздавлена всем случившимся, у меня уже не было сил бороться. Я поняла, что это стена, которую не пробить»...



Понятие непробиваемой стены, увы, не исчезло и с провозглашением демократии. Есть инерция старого, есть равнодушие, остается и круг «заинтересованных лиц», которые употребляют свое влияние. Но закрывать глаза на всю эту прекрасную судебную историю просто безнравственно. Законодательство допускает пересмотр (переквалификацию) дела вне зависимости от сроков давности. Не пора ли, хоть и с запозданием, исправить судебную ошибку?

Скажут: а что это даст, что изменит? Ведь факт убийства никуда не денешь, неужели реабилитировать Л. Дербину? Но не о реабилитации речь, а об истине, о действительной степени ее вины. Не злодейка она, не леди Макбет, не Сальери и не «Дантес в юбке», а обыкновенная женщина, попавшая в роковой круг обстоятельств. Никогда не вынашивала она замыслов убить Рубцова, а только не выдержала на последней ниточке терпения. Есть тут разница или нет?

Случись подобное истории Рубцова и Дербиной где-нибудь на Западе, можно не сомневаться, что дело было бы разрешено гласно, объективно и с верными акцентами (даже без влияния феминисток). И те, кто распространял всевозможные небылицы о женщине, кто печатал книги и статьи, оскорбляющие ее, давно бы были привлечены к ответственности. Но наше правосознание, увы, по-прежнему на каком-то средневековом уровне. Мы до сих пор ищем «ведьм» и готовы их сжечь.

Огромную роль в этой истории, на мой взгляд, сыграли особенности нашей национальной ментальности, касающиеся отношения к женщине. Культура «прекрасной дамы» хватило лишь до революции, и с той поры идеалом у нас стал (я, конечно, упрощаю) образ «советской бабы», которой немого падо и которая все вытерпит. Этот идеал имеет глубокие исторические истоки - в «Домострое», в обычаях крестьянской страны. Я полагаю, что и в отношении к Дербиной у некоторых вологодских писателей сказались атавизмы мужской психологии, характерные для выходцев из крестьянства. (Эти атавизмы были свойственны и Н. Рубцову, что проявилось не только в быту, но и в поэтическом творчестве - отсутствие у него адресной любовной лирики очень знаменательно).

Наши писатели, как известно, очень гордятся своим крестьянским происхождением, близостью к народу. Когда это отражается в творчестве, в полноценном словесном искусстве - честь им и хвала. Но можно ли подходить к общечеловеческим моральным проблемам с мерками, скажем прямо, мужическими?

Или я не прав? Или корень этих пристрастий глубже? В таком случае желающие могут найти утешение в печальном умозаключении, которое сделал один современник Пушкина, бывший свидетелем ядовитых нападок на Н. Н. Гончарову после гибели поэта:

«Таковы всегда человеки! Снисходительны к тем, кои в счастье, и строго взыскивают с тех, кои и без того горем убиты» (из письма московского почт-директора А. Я. Булгакова П. А. Вяземскому 26 февраля 1837 г.).

«Русский Север», 20.11.96 г.
(автором восстановлены купюры).

Как мне стало известно, в 1997 г. Л. А. Дербина обращалась в Вологодский областной суд с заявлением о пересмотре своего дела, однако получила ответ, что для пересмотра «оснований не имеется». Ряд новых обстоятельств, связанных с гибелью поэта, сообщен в воспоминаниях Дербинной в книге: Николай Рубцов. Звезда полей. Собрание сочинений в одном томе. М. Воскресение. 1999. С. 600-607.

«Я - шантажеустойчивая личность»

Это было пятнадцать лет назад, на закате брежневской эпохи. Небольшая группа людей - человек сорок - провожала в последний путь писателя, почти забытого и отринутого современниками.

Многие считали его уже давно умершим. «Варлам Шаламов умер», - заявил тогда на весь мир А. Солженицын в Америке. А Шаламов в это время еще ходил по Москве - его встречали на Тверской, куда он иногда выходил за продуктами из своей каморки. Вид его был страшен: он был в грязной и рваной одежде, его шатало, как пьяного, он падал. Милиция «образцового коммунистического города» была начеку, Шаламова поднимали, а он, не бравший в рот ни грамма спиртного, доставал справку о своей болезни - болезни Мепьера, обострившейся после лагерей и связанной с нарушением координации движений. (Эта справка, которую писатель всегда носил при себе в последние годы, есть в музее Шаламова в Вологде).

К тому же он был почти слепой, глухой, и в 1979 году, когда ему было уже 72, его поместили в интернат для инвалидов. Он был одинок, без семьи, и его навещали редкие друзья и знакомые, а также иностранные корреспонденты. В связи с этим не дремало и КГБ. В больнице он продолжал писать стихи. В них не было никакой политики, а было его, шаламовское, упорство:

Как всегда, обойдусь без свечи.

Как всегда, обойдусь без домкрата.

Агенты в штатском были и на кладбище, когда хоронили Шаламова. А всего на похоропах было, повторю, человек сорок.

Зачем об этом вспоминать сейчас? Ведь многие детали известны. У всех, кто прочел «Колымские рассказы» Шаламова и оценил его писательское и человеческое величие, эти детали до сих пор вызывают чувство жгучего стыда за его судьбу. Как и за судьбу всех, кто был уничтожен и изуродован сталинским режимом. Тогда, в первые годы «перестройки», верилось, что этот стыд может стать очистительным для нашего общества. Что мы научимся хотя бы понимать чужие страдания и ценить стойкость тех людей, кто их вынес.

Увы и увы. Стыд притушился или исчез вовсе. Лагерная тема для многих осталась только «темой» - чем-то отвлеченным и далеким. Трагедия переосмысливается как фарс - в том числе и новой литературой. Все банализируется и опошляется. Горькие примеры тому на каждом шагу.

Минувшим летом, в дни 90-летия Шаламова, в Москве проходила конференция по его творчеству. «Конференция» - сказано громко, потому что собралось всего человек 15. Не было ни одного московского писателя. Можно сослаться на то, что в этот день хоронили Б. Окуджаву, а можно на то, что столица, ставшая теперь «образцовым буржуазно-демократическим городом», была занята своими делами.

В телепрограмме Н. Свапидзе «Зеркало» показывают бывшего лагерника. Он с улыбкой говорит, что эски в сталинское время даже не голодали - «треска валялась на снегу, ее никто не ел». Здоровый труд на свежем воздухе... Ведущему не приходит в голову поправить лагерника-оптимиста, сказать хотя бы о Колыме, где за один 38-й год погибло 10 тысяч человек, сослаться на Шаламова.

А сколько псбылиц печатается об авторе «Колымских рассказов»? Особенно, как ши страшно, в нашей местной прессе. Не всегда есть возможность возразить, уточнить, по один случай, касающийся вопросов важных и принципиальных, обойти не могу.

Наш земляк, доктор филологии И. Шайтанов, живущий в Москве, в одном интервью «Красному Северу» (от 6 декабря 1997 г.) сделал сразу несколько открытий. Он утверждает, что «в отношениях советского человека со сталинским государством преобладала такая схема: государство хватает, сажает, убивает - человек либо ломается, либо героически идет на смерть... **Шаламов хватался за жизнь, как за соломинку, и все-таки сломался**» (выделено мною - В. Е.).

Откуда вдруг такой вывод? Это Шаламов-то сломался? Где? Когда? Доказательств не приводится. «Сломался», и все - утверждает не кто-нибудь, а известный литературовед, председатель жюри Букеровской премии. Он считает, что Шаламову на каком-то этапе жизни не хватило силы духа и он сдался обстоятельствам. Именно это означает на русском языке слово «сломался» в приложении к человеку. Филолог знает, что говорит. Тем более, что он приводит (в противовес Шаламову) пример своего родного деда, «здорового человека с крепким крестьянским духом, который восемнадцать лет провел на Колыме и не сломался» - потому что действовал по другой схеме, «по третьему

пути»: «государство меня убивает, а я обману, ускользну от него»...

Что-то здесь сильно запутано, и очень серьезно, не правда ли? На чашу весов поставлена честь большого русского писателя. С другой стороны, воздается - хочешь-не хочешь - хвала обману и приспособленчеству.

Пойдем по порядку.

Вытекающая из рассуждений И. Шайтанова мысль, будто Шаламов «сломался» в лагере - грубая ложь. Ни одного поступка, за который бы ему было стыдно, писатель не совершил. В заметках «Что я видел и понял в лагере» (они печатались в «Красном Севере» и вошли в «Шаламовский сборник», вып. 2) он писал: «И физические, и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал - в этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса». Он гордился и тем, что не стал в лагере бригадиром - что его воля не служила «угнетению других людей - таких же арестантов, как я».

Отчего же вдруг появляются сомнения? Откуда эта дилемма: «человек либо ломается, либо героически идет на смерть»? Что за максималистская, пионерско-комсомольская логика в приложении к лагерной действительности? Олгов Кошевых и Александров Матросовых захотелось увидеть за колючей проволокой? Но лагерь, увы, не фронт. Там находились заведомые «враги народа», низведенные до положения рабов. «Это были мученики, а не герои», - не раз подчеркивал Шаламов. Не случайно тема героики в «Колымских рассказах» почти отсутствует - она звучит лишь однажды, в рассказе «Последний бой майора Пугачева».

Между прочим, и этот рассказ некоторые считают лишь красивой легендой. Магаданский писатель А. Бирюков, работавший в архивах НКВД, установил, что единственный случай вооруженного побега на Колыме был совершен так называемыми «бандеровцами» в 1947 г. А Пугачев у Шаламова - русский офицер, побывавший в немецком плену. Но писатель тоже опирался на реальный факт. В воспоминаниях близкого знакомого Шаламова, бывшего колымчанина А. Яроцкого приводится такой случай: «Мимо нашего поселка гнали этап, один из заключенных все время хромал и отставал. Конвоир его подгонял прикладом. Заключенный сказал: «Не толкай меня, я Берлин брал», а когда его все-таки еще раз толкнули, он обернулся, выхватил винтовку и з рук конвоира и проломил ему череп прикладом. Потом он схватил две запасных обоймы и побегал в сопку. Здесь бывший фронтовик принял свой последний бой. Когда его взяли, он уже умирал от нескольких ранений, рассказывал один боец, участвовавший в этой операции, но был «такой злой», что зубами вырывал вату из телогрейки, затыкал рапы и стрелял до последнего дыхания».

«Это был бессмысленный акт, - добавляет А. Яроцкий. - Никуда от опергруппы с собаками он уйти не мог, но у человека было сознание солдатской чести, он не позволил себя оскорблять и умер в неравном бою как мужчина, как личность».

Не этот ли случай лег в основу рассказа Шаламова? По крайней мере, писатель точен в том, что способными на героизм, на вооруженное сопротивление

могли быть только люди военные, бывалые, не раз смотревшие смерти в лицо.

А что могли сделать интеллигенты или крестьяне? Непременно «ломаться», т. е. идти на компромиссы, продавать душу дьяволу ради выживания? Или - лучше - обманывать этого дьявола-государство?

Последний способ был действительно очень распространенным. И упаси Боже его осуждать, морализировать. «Лагерная этика позволяет обманывать государство», - подчеркивал Шаламов. Но это перевернутая этика - может ли она быть универсальным правилом жизни? Разве не растлевают она человека? (Следы этого растления можно отыскать, между прочим, и в тотальном воровстве госсобственности времен «застоя», и в повейшей «прихватизации» - чем тут не лагерная этика?).

Недаром Шаламов много раз повторял: «Лагерь - целиком отрицательный опыт для человека. Ни один человек не становится лучше после лагеря». Исключения он не делал и для себя - двадцать лет за колючей проволокой наложили отпечаток и на его характер. Писатель в жизни часто бывал резок, нетерпим, безжалостен. Можно говорить о лагерьном синдроме (подобно афганскому, чеченскому), в конце концов - о надломленности характера. Но ведь нас же пытаются убедить в сломанности? Чувствуете разницу?

У поэта Василия Федорова есть прекрасное стихотворение, начинающееся такими строками:

*Упадет голова - не на плаху -
На стол упадет.
И тотчас завздыхают, заахают:
Дескать, этот упал,
Он уже не дойдет...*

Одна из не лучших черт нашей психологии - готовность «завздыхать» по сильному человеку, допустившему какую-то слабость. В то, что человек может быть силен до конца, мы не верим. И радуемся: вот и этот упал, значит, он такой же, как все... Такими весьма банальными мотивами и объясняются, на мой взгляд, все измышления вокруг имени Шаламова. Возникли они не сегодня, а если быть точными - в 1972 г., когда в литературных и околосредствительных кругах заговорили, что Шаламов «не оправдал надежд». Тогда же его объявил «умершим» А. Солженицын.

Речь идет о письме Шаламова в «Литературную газету», в котором он протестовал против публикации на Западе своих «Колымских рассказов», увидев в этом политическую спекуляцию. Однако многие тогда посчитали это письмо знаком гражданской слабости писателя перед лицом власти.

Что же было на самом деле? Шаламов никогда не принадлежал ни к каким партиям и группировкам. А его имя и его творчество пытались использовать в «холодной войне». Это был шаггаж. Диссидентствующая московская публика желала видеть его, инвалида, «геросм» - литературным Александром Матросовым (или майором Пугачевым из его же рассказа). Эту публику он глубоко презирал. С придыханием рассуждавшая о Мандельштаме, она между тем без угрызений совести защищала диссертации о самых

ортодоксальных поэтах советской эпохи. Не способная сама на какой бы то ни было поступок, она шельмовала писателей (не одного Шаламова) за якобы недостаточное мужество. «Они затолкают меня в яму, а сами будут писать петиции в ООН», - говорил Шаламов.

Письмо в «Литературную газету» было вызовом этой либеральной публике. Писатель не желал служить ни правым, ни левым, он желал остаться самим собой. «Я - шаптажеустойчивая личность», - записал он тогда в своем дневнике. И это было выражением его сущности. Но после письма от него все отвернулись и поставили на нем крест...

Так уже бывало в России. И с Пушкиным в 1830-е годы, когда считали, что он «скопчался» как поэт. И с Некрасовым в 1860-е годы, когда его подвергли обструкции за «неверный звук». И с Достоевским после «Бесов» (между прочим, многие тоже считали, что Достоевский «сломался» после сибирской каторги). Все это носит название - «либеральный террор». Иногда он бывает страшнее, чем террор государственный. Но время расставляет все по своим местам. То же и с Шаламовым.

Тщета московских сплетен вышла наружу, когда стали широко издаваться его произведения, письма и дневники. Весь мир увидел, что одинокий, большой и нищий писатель был человеком огромного художественного таланта и негибкого духа. «Холодная война» кончилась, и стало ясно, что публицистика не может заменить настоящей литературы. На Западе стали называть Шаламова «великим русским писателем» и вовсе забыли о его письме в «Литгазету», которое, как стало очевидно теперь, было актом защиты прав человека и писателя. Для многих простых читателей личность Шаламова стала символом подлинного мужества - «символом сопротивляющегося русского народа, который выпрямляется, несмотря ни на что», как сказал мой друг, французский журналист. Над его рабочим столом в Страсбурге - портрет Шаламова, который придаст ему силы...

А у нас? Пережевывают старую жвачку о том, кто в какое время был либеральнее, кто где «сломался». Суется вокруг премии Букера, ни один из соискателей которой, на мой взгляд, не годится в подметки Шаламову. Но на них делают ставки, как в казино, «болеют», как на скачках. Шаламов, кстати, писал: «Большая литература создается без «больельщиков».

Будем помнить об этом. Придем в памятный день к дому, где родился писатель. Сомкнем уста, думая о его судьбе.

Эта статья была опубликована в вологодской газете «Зеркало» в январе 1998 г. Все цитаты из интервью И. Шайтанова приведены дословно. Каково же было мое удивление прочесть в той же газете неделю спустя бранчивый, с переходом на личности, ответ своего оппонента. Привожу его целиком - ради объективности и ради иллюстрации того, как ведут себя некоторые «столичные штучки», наезжая в провинцию.

Можно ли назвать полемикой ответ, который уважающий себя человек может дать на уличную брань? Тем более если она исходит от человека,

которому вы не подасте руки? Именно таковы мои отношения с г-ном Есиповым. Почему?

Избрав своим журналистским жанром пасквиль, этот господин не сумел понять, чем свобода слова отличается от правительственной разнузданности. Свою репутацию он строит, прилепляясь к чужим, чаще хулой, реже хвалой. Второе оказывается самым страшным. Жертвой любви г-на Есипова пал В Шаламов. Это требовательное и ревнивое чувство. Требовательное в отношении к своему объекту, который, будучи однажды избранным, считается вогципным владением. Ревнивое же по отношению к каждому, кто бывает заподозрен в желании что-то изменить в установленном г-ном Есиповым ритуале шаламовских празднеств. В результате то, что могло бы приумножить славу Вологды, тенью ложится на ее репутацию

Шаламов в исполнении г-на Есипова противопоставлен городу и миру. Ему курят фимиам, стараясь живых задеть кадиллом - побольше, пооскорбительнее. Сами же шаламовские чтения превращены в любительские посиделки, на которых писатель или ученый - редкий гость и которые есть лишь повод для главного действия - заплочных возлияний. Печальная слава и тем более печальная, что сам Шаламов не терпел этой, как и любой другой, мерзости.

Здесь не место говорить подробно (я сделаю это на журнальных страницах) о научных и литературных достоинствах выпускаемой г-ном Есиповым продукции, но о чем может идти речь, если единственная возможность для самого организатора сказать свое - поносить сказанное другими. Шаламов превращен в икону, которую, однако, самым непочтительным образом опускают на головы живых и мертвых. Так произошло и со мной, когда я в своем интервью сказал, что для Шаламова лагерь - ад, неизбежно ломающий человека, в котором сам он, хватаясь за жизнь, как за соломинку, «все-таки сломался».

А разве нет? Шаламов вернулся физически и духовно потрясенным. Он прожил оставшуюся жизнь с лагерным ужасом - в памяти и в душе, окончил дни в страшной лечебнице, по лагерной привычке пряча под матрац куски пищи. И где тогда были радители его посмертной славы? Шаламов - Кафка лагерной жизни, подобно австрийскому писателю явивший ужас бытия в середине XX столетия. В этом его величие как писателя и человека.

Это я имел в виду, не делая поправки на то, что под словом «сломаться» пьяница может разуметь уйти в запой, подлец - подличать, мерзавец - делать гадости. В других обстоятельствах я мог бы поспорить, какое слово точнее: «сломаться», как у меня, или «падломиться», как это мне предписывают... Но это в других обстоятельствах, когда возможна полемика, предполагающая доверие и уважение к оппоненту. Ничего подобного я не испытываю.

Все это говорить крайне неприятно, но я все-таки взялся за перо, ибо происходящее кажется мне событием, имеющим общественное значение. Много ли у Вологды имен, подобных Шаламову? Невозможно с легким сердцем наблюдать, как его наследие самовольно приватизируется, как шаламовская горка превращается в шаламовскую грядку расторопным огородником от

литературы. Продолжив метафору, скажу, что и мелкая червоточина опасна, особенно в таком тонком и общем деле, как культура. Дело должно быть общим, а пока оно делается так, что разъединяет людей.

**С искренним уважением
Игорь Шайтанов.**

В добавление к этой, с позволения сказать, «полемике» хочу напомнить, что приватизация, монополизация и т. д. в литературоведении не могут иметь места, т. к. здесь все основано исключительно на сердечных привязанностях. Человек, имеющий такую привязанность к Шаламову, никогда ни при каких обстоятельствах не станет бросаться такими словами, как «сломался», по отношению к нему (равно - к кому бы то ни было, не имея фактов на этот счет). Добавлю также: пинать мертвых легче, как и делать иконы из живых. Что касается огородничества и садоводства, то этим почтенным занятием не брезговали, как известно, классики русской литературы - от Чехова до Пастернака, что, помимо прочего, помогало им избавиться от излишней желчи и высокомерия к труду простых и скромных людей.

«Чужое - мое сокровище»

(Подражание критике времен Пушкина)

Провинция не чужда просвещения. Доказательством сего служат книги, издаваемые в Москве при попечительстве некоторых губернских меценатов, доброхотствующих словесности и местным литераторам. Таково сочинение г. Арипина «Неразгаданные тайны Пушкина», коему суждена, по-видимому, пешуточная слава. Щеголеватая обложка и множество картинок не суть основание нашему пророчеству. Весьма оригинален метод г. Арипина, долженствующий остаться в истории.

Без обиняков скажем, что автор заявляет себя крайне смело, без тени провинциальной робости. Он - не просто пылкий поклонник нашего национального гения, но и, как сам заявляет, на «дружеской ноге» с ним. Сей пассаж из бессмертного «Ревизора», коему посвящены также страницы книги г. Арипина, свидетельствует, что увлечение Хлестаковым и его прототипами вроде Платона Волкова, не прошло даром для автора. Равно как и его увлечение авантюристами наподобие Романа Медокса. Наукою доказано и здравым смыслом подтверждается: героев мы выбираем по собственным

наклошностям. Книга г. Арипина являет собой в некотором роде гимн авантюризму, коего не был чужд, как он утверждает, и сам Пушкин. (Русский язык богат: то, чему не был чужд Пушкин, называется смелость и бесшабашность, но никак не авантюризм, синонимами коего являются интриганство и обман).

Вторая страсть г. Арипина (или первая, как рассудит беспристрастный читатель) - эротизм. Свою привязанность к сей щекотливой теме он объясняет тем, что в недавние времена «у нас эротизма не было», жили скучно, пресно, видели литературу и историю как бы оскопленной. Например:

«При описании Аракчсева всегда акцент делался на том, что он являлся реакционером, а оказывается, каким **мужиком** (выделено нами - автор) он был, как умел любить женщину».

Вот истинный перл г. Арипина! Аракчсев бы в гробу перевернулся, узнав, что его, графа, назвали мужиком. Если же дело касается до мужских достоинств графа, то вернее бы поставить тут многоточие, как делал Пушкин. Читателю остается только гадать, как же удавалось создателю военных поселений утолять сластолюбие вампирши и садистки Настасьи Мипкиной, которой столько страниц посвятил г. Арипин, раскопав это презренное имя, с содроганием отвергнутое обществом, в старых журналах.

Мы хотели сказать о методе г. Арипина - он перед вами. Листая старые книги и журналы, наш архивариус аккуратно выписывал из них все, что называется клубничкой, скабрзностью и проч. Называет он все это популяризациєю, ибо пишет в интересах «широких читательских масс», которые всего этого не знали. Но правильнее, уважая точность, труды г. Арипина следовало бы назвать компиляциєю. Таковую в словарях обозначается переписка чужих трудов без какой-либо новой, оригинальной (научной или художественной) идеи.

Нельзя сказать, что г. Арипин избегает указывать источники, коими пользуется - правила журнализма известны ему, слава Богу. Но все его так называемые «находки» и «открытия» давно известны не только ученым мужам, но и мало-мальски образованным людям. Не считать же открытием версию г. Арипина о том, что Идалия Полетика была вдохновительницей убийства Пушкина - на том основании, что Пушкин якобы отверг ее любовные притязания? Версия сия основывается на весьма тривиальном суждении о жестокой мстительности отвергнутых женщин, и только. Неужели красавице так хотелось войти в «донжуанский список» поэта? Неужели он в сию пору (унизительного камер-юнкерства, повергавшего его в мрачную тоску; утраты живости, красоты - см. портрет Линева) еще вызывал несобуданную страсть женщин?

Рассуждать о сих предметах довольно рискованно. И все, что будет написано о происшествии в карете, где сидели Пушкин с Идалией Полетикой, будет фантазиєю. Ибо под сиденьем кареты никто не прятался - такие тайны никогда не разгадать никаким сыщикам, а тем более литераторам.

Мы не были бы так суровы к г. Аришину, если бы его труд был простодушною сказкой для детей. Однако же почтенный автор имеет претензию считать себя Колумбом «запретных тем». Он слишком нескромен в сем убеждении. Пушкин, заметим, был весьма чуток к «выходкам авторского самолюбия», терпеть их не мог. (См. его заметки об «Истории» Н. Полевого). Будучи иногда фриволен в стихах, поэт почитал за главное достоинство литературы ее безупречную нравственность. Напомним одно из его обличений новейших литературных нравов:

«Вот до чего довела нас жажда повизны и сильных впечатлений... Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями. Но мы не остановились на бесстыдных записках Геприетты Вильсон, Казановы и Современницы. Мы кипулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменого каторжника... Не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний...»

Ай да Пушкин! Он и через 200 лет - «наше все».

Время садовника (Вместо послесловия)

Эти строки я дописываю на веранде своего полудеревенского дома, посреди книг и рассыпанной на полу картошки, и предвижу вопрос:

«Все история да литература! А почему нет ни одного садово-огородного совета?» - спросит читатель, который привык видеть автора этих строк в дачной папаме, в роли ведущего местной телепрограммы «Грядка». И действительно, странно получается: как будто одно хобби (ученое, серьезное) не может сосуществовать вместе с другим, вполне земным.

Впрочем, называть иностранным словом «хобби» занятие, к которому вынуждены обратиться теперь тысячи и миллионы наших соотечественников, чтобы прокормиться, - совершенно неправильно. Это уже скорее способ и образ жизни - выходить по весне с лопатой и, не разгибаясь, трудиться над своими грядками до самой осени.

«Вся Россия стоит кверху задом», - так обычно называю я это явление, которое прямым образом коснулось и интеллигенции (по отношению к ней тут в пору вспомнить про «толстовство», правда, на этот раз вынужденное).

Как ни печальна эта картина - возвращение к сельскохозяйственному труду, к натуральному хозяйству на пороге XXI века - в ней есть что-то неизъяснимо родное, русское и, может быть, даже целительное.

Я не уверен, что дачно-огородный образ жизни России скоро сойдет на нет: так, как идет у нас реформы, какую политику мы видим, - дело может протянуться еще очень долго. И люди, становящиеся по весне кверху задом, - они ведь таким образом выражают еще и свое отношение к политике и конкретным политикам, не правда ли?

Но главное, что и обнадешивает, - они, эти люди, учатся, наконец, сами решать свои проблемы. Без оглядки на вечно непредсказуемого, капризного и жестокого барина-государство. С опорой только на себя.

Когда-то, в пореформенной России XIX века, Глеб Успенский, открывший, сколь много значит «власть земли» для русского мужика, с горечью писал, что тот «еще и не пробовал жить в собственных интересах». Сейчас, впервые за многовековую нашу историю, все люди - и крестьяне, и рабочие, и интеллигенты - получили, наконец, такую возможность. Не отбывать повинности, не

растворяться в «общем деле», а попытаться самому строить свою судьбу. И для многих это оказалось, увы, тяжелейшим, невыносимым испытанием...

Здесь, пожалуй, корень современных проблем России. Обсуждать их детально я не берусь. Ясно, что всем надо учиться жить по-другому, более разумно, более рационально, прагматично, если угодно. Не скажу, что и у меня это хорошо получается, но я тоже учусь - куда денешься? И не считаю, что жить в собственных интересах - это обязательно жить только для себя, «в свое пузо», как почему-то считали некоторые классики нашей великой «антибуржуазной» литературы, большие моралисты. Лично мне тоже глубоко отвратительна та «сытая печасвщина», на существование которой указал прописительный И. А. Дедков и которая сменила у нас голодную коммунистическую печасвщину. Но я не думаю, что в конце концов она возьмет власть над нами - все-таки чему-то нас научили последние десять лет и предыдущие семьдесят? По крайней мере большинство русских людей уже не проведешь щедрыми посулами. Особенно тех не проведешь, кто хорошо поработал эти годы с лопатой.

И здесь самое время перейти к огородному совету. Я нашел его в старой книжке с длинным названием «Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наиболее выгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства». Эту книжку - как пособие для телепрограммы - мне подарил знакомый вологодский художник. Я ему очень благодарен, потому что иметь у себя труд Рихарда Ивановича Шредера, выдержавший до революции десять изданий (а мне досталось петроградское издание 1918 года), - большое счастье. Между прочим, автор этой книги - датчанин по происхождению - долгое время был главным садовником Петровской сельскохозяйственной академии в Москве - той самой, где происходила печасвская история. Шредер считал Россию страной неисчерпаемых возможностей, к которой нужно приложить только науку и труд.

Один из главных его советов касается обработки земли.

В то время как в России истари повелось перекапывать огороды на один штык лопаты, по всей западной Европе, пишет Шредер, принято перекапывание на 2, иногда на 3 штыка глубины. Но, несмотря на все старания, ему мало кого удалось тогда убедить работать по-европейски. Может, привести еще раз его аргументы?

«От неопытных по части обработки почвы людей часто приходится слышать, что такой перевал, который обращает низ почвы в верх и верх в низ, непременно портит землю; и действительно, поле, имеющее на своей поверхности одну жесткую глину, имеет зловещий вид; но с другой стороны нельзя забывать, что корни растений всегда стремятся вниз, где они при перекопанной почве находят питание; далее, разрыхленная глина вовсе не лишена питательности, к тому же мы ее, находящуюся на поверхности, всегда имеем возможность улучшить. Стоит только навалить в первый год побольше навозу и развести капусту, которая на такой почве даст великолепный урожай, и на

будущий год почва становится удобною для всякой другой культуры...»

Глубокая обработка почвы, так называемая «штыковка на перевал», требует, конечно, гораздо больше труда и производить ее надо, подчеркивает Шредер, далеко не каждый год. А убедиться в преимуществах этого метода может каждый современный дачник, который осенью попросит тракториста вспахать участок поглубже и не забудет про павоз.

Только ли для огорода этот совет? Не знаю.

Уж что-что, а пахать глубоко, т. е. рыть, корсжить, ломать землю (и жизнь вместе с нею - ради «коренных» перемен), мы научились очень хорошо.

Когда же за дело с любовью, умом и терпением - возьмется садовник?

СОДЕРЖАНИЕ

Другая жизнь (Вместо предисловия)	3
ЖИТИЕ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА	
(Из книги об Иване Гавриловиче Прыжове)	
Приговор.....	11
Закружились «Бесы».....	18
Рядом с Нечасвым	39
Путь к гроту	74
Судьи и адвокаты - I	102
Судьи и адвокаты - II	120
Судьи и адвокаты - III	142
По следам «Истории кабаков»	163
СТАТЬИ О ВАРЛАМЕ ШАЛАМОВЕ	
Первопроходец	172
Традиции русского Сопротивления	182
«Карфаген должен быть разрушен!»	190
«Пусть мне «не поют» о народе...» (Шаламов и Бунин)	196
Секрет истины (Шаламов глазами Солженицына)	208
ВОЛОГОДСКИЕ СПОРЫ	
Василий Белов как зеркало смуты	214
Разбитая икона (о гибели Н. Рубцова)	220
«Я - шантажеустойчивая личность» (полемика с И. Шайтаповым)	226
«Чужос - мое сокровище» (о книге В. Арипина)	232
Время садовника (Вместо послесловия)	235

Валерий Васильевич Есипов
Провинциальные споры в конце XX века

Издательство «Грифон». 160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 18, оф. 10.

Лицензия ЛР № 061950

ISBN 5-87913-020-7

Формат 60x84/16. Печать офсетная. У.п.л. 13,95.

Тираж 2000 экз. Зак. 6926.

Отпечатано в ПФ «Полиграфист».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

**Автор благодарит всех, кто помог изданию этой книги.
Особая признательность -
руководству АО «Череповецкий Азот».**